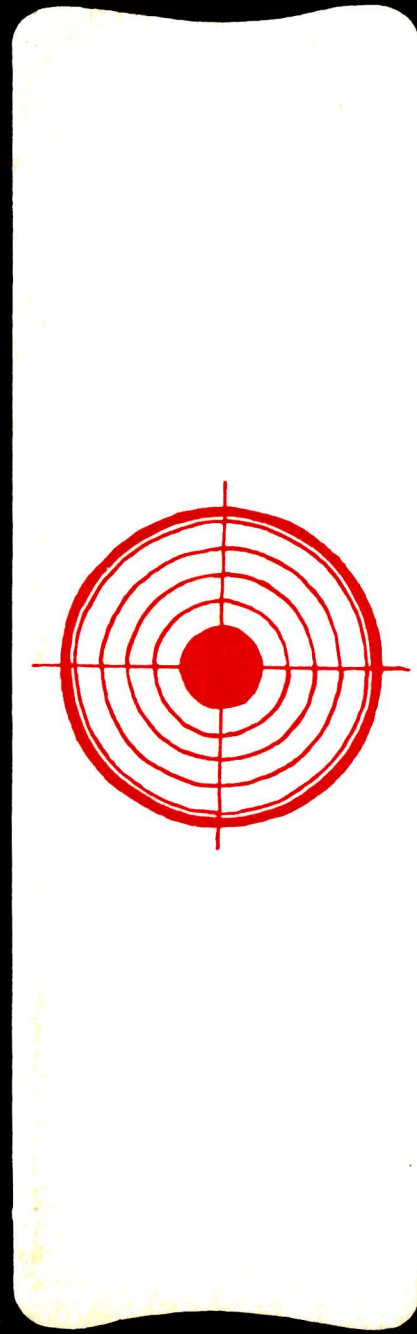
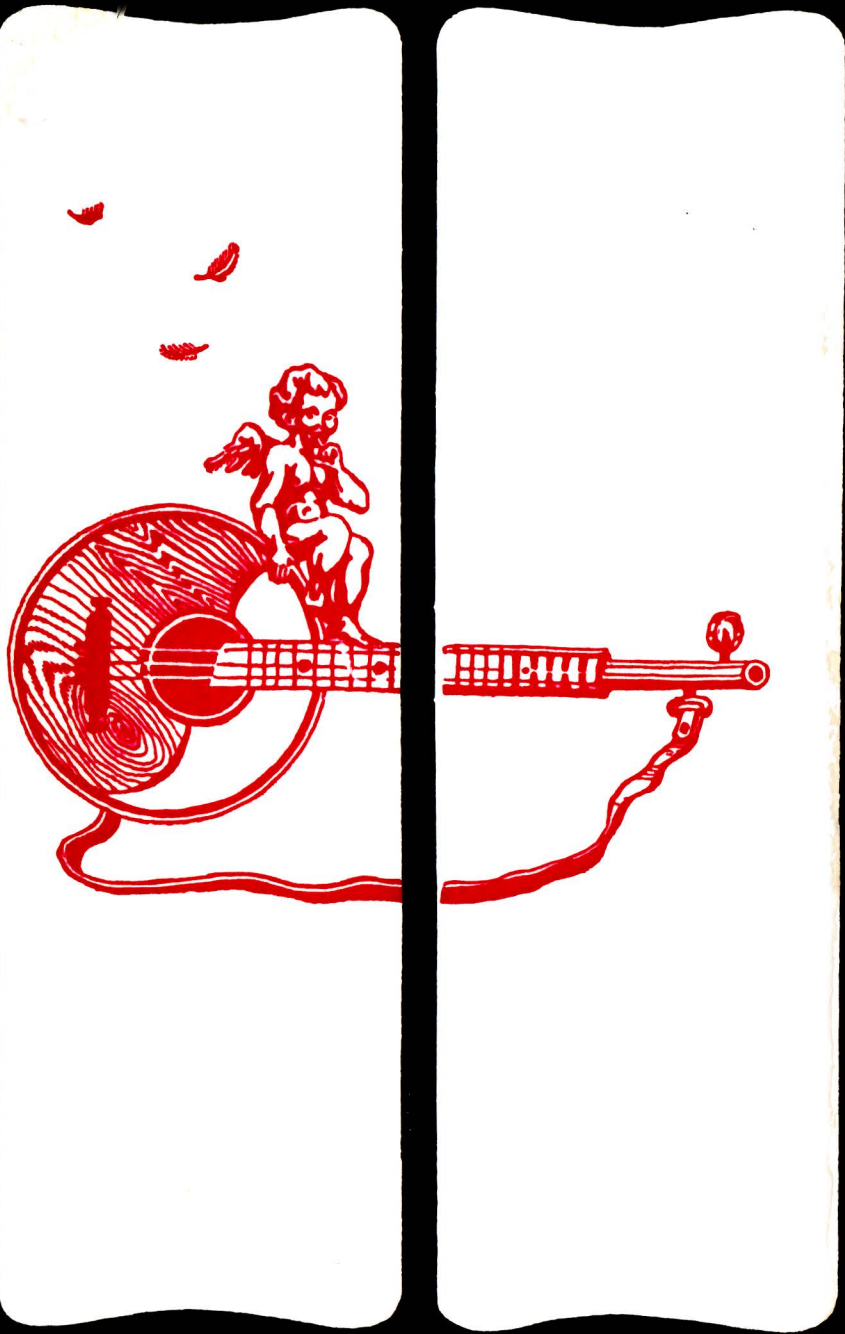


ПЕР ЛАГЕРКВИСТ



ПЕР ЛАГЕРКВИСТ

В
МИРЕ
ГОСТЬ



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1 9 7 3

PÄR
LAGERKVIST

**GÄST
HOS
VERKLIGHETEN**

STOCKHOLM

ПОВЕСТИ

В МИРЕ ГОСТЬ

ПАЛАЧ

КАРЛИК

МАРИАМНА

РАССКАЗЫ

**ПЕР
ЛАГЕРКВИСТ**

КРАСНЫЙ ОТСВЕТ

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ГОСТЬ

**В
МИРЕ
ГОСТЬ**

**А ЛИФТ СПУСКАЛСЯ
В ПРЕИСПОДНЮЮ**

ЗЛОЙ АНГЕЛ

В ПОДВАЛЕ

**ПРИНЦЕССА И
КОРОЛЕВСТВО В ПРИДАЧУ**

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

ЮХАН-СПАСИТЕЛЬ

СВАДЬБА

ПЕРЕВОД
СО
ШВЕДСКОГО

И (Швед)
Л14

Предисловие С. БЕЛОКРИНИЦКОЙ
Редактор перевода К. ФЕДОРОВА
Художник Ю. СЕЛИВЕРСТОВ

7—3-4
343—72

4

ВСТРЕЧА С ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ ГОСТЕМ

Пер Лагерквист — крупнейший писатель нынешней Швеции. Его лучшие произведения, переведенные на многие европейские языки, можно отнести к классике современной мировой литературы. Творчество этого большого художника, являющегося неотъемлемой частью мировой культуры (и, следовательно, «культурного багажа» всякого образованного человека), до сих пор было практически неизвестно советскому читателю — на русский язык переведено всего несколько коротких рассказов Лагерквиста, вошедших в наши весьма немногочисленные антологии скандинавской и шведской новелл. Впервые на русском языке выходит книга, которая даст нашему читателю представление о творчестве Лагерквиста. Книга «В мире гость» — своего рода сборник избранной прозы писателя, куда вошло лучшее, значительнейшее, что создано им в этом жанре.

За свою долгую жизнь (писатель родился в 1891 г.) Пер Лагерквист написал очень много. Произведения его разнообразны по жанрам: он и поэт, он и драматург, он и прозаик — автор изящных миниатюр и больших эпических циклов. Его вещи отличаются мастерством, простотой и отточенностью формы, отмечены особым насыщенно-лаконическим и наивно-мудрым стилем. Лагерквист не только признанный мастер, оказавший большое литературное влияние в особенности на поэзию своей страны, но и учитель, воспитатель умов, который, сам находясь в непрестанных поисках истины, заставляет и читателя напряженно думать о самых важных — вечных и актуальнейших — проблемах. Нелегко назвать другого современного западного писателя, в творчестве которого с такою же силой, как у Пера Лагерквиста, проявилось бы мучительное стремление познать смысл жизни, разрешить средствами искусства и философской мысли серьезнейшие, кардинальнейшие проблемы человеческого бытия и человеческой души — с силой, приводящей на память русскую классическую литературу. Не случайно он смолodu знал и высоко ценил эту литературу: еще в 1913 году он напечатал в журнале «Вперед», органе Социал-демократического союза молодежи, статью о Достоевском, в котором видел величайшего мастера-психолога.

Стремление поэтически и философски осмыслить те самые «вечные» вопросы, на решение которых претендует религия, определило своеобразное богоборчество, являющееся отличительной чертой творчества Лагерквиста. Это также сближает его с такими великими русскими писателями, как Толстой и Достоевский, хотя в отличие от них Лагерквист еще в юности порывает с традиционной

верой. Несмотря на это он сводит счеты с религией (и одновременно пользуется ее символами) на протяжении всей своей жизни. В 1950 году он выразил свое отношение к религии такими словами:

«Бог — ничто для меня. Более того, он мне ненавистен... он отнимает у нас то, чего мы ищем, думая, что ищем мы его».

Несмотря на чрезвычайно ответственное, «требовательное» отношение к жизни (ср. рассказ «Требовательный гость», посвященный попыткам человека найти в ней свое место), на непримиримость к разного рода темным сторонам жизни, на ужас перед тем, как «неполно и неподлинно» живут подчас люди, еще одна отличительная черта творчества Лагерквиста — любовь к жизни. Способность любить жизнь — постоянный спутник, а может быть, и основа доброго, светлого начала в человеке. Положительные герои Лагерквиста любят жизнь вопреки всему — будничности, страданиям. Они радуются тому, что есть в ней прекрасного, замечают и ценят неброскую красоту родной природы, скрытую красоту души в окружающих людях. Так любит жизнь Андерс, герой автобиографической повести «В мире гость», в душе которого постоянно словно бы «пелся гимн жизни». Так относится к жизни калека Линдгрэн — герой рассказа «В подвале». Отрицательные же персонажи Лагерквиста, такие, как Карлик, не любят жизнь — писатель отчетливо подчеркивает это.

В 30-е годы, активно выступая против фашизма, Лагерквист определил свою позицию как «воинствующий гуманизм» — с ударением на обоих словах. Его любимые герои — те, кто не остается пассивным, но пытается как-то помочь окружающим, не щадя при этом себя (пусть даже делают они это «невпопад», как Юхан-Спаситель, герой одноименного рассказа). Симпатии Лагерквиста на протяжении всего его творчества были отданы простым, «маленьким» людям, бедным и обездоленным — в этом легко убедится читатель сборника.

Все эти особенности творчества Лагерквиста нашли свое выражение уже в первой вещи, в которой в полную силу сказался и его талант, — в автобиографической повести «В мире гость» (1925 г.). Некоторые шведские исследователи творчества Лагерквиста называют эту повесть ключом ко всему его творчеству, содержащим в зародыше все основные темы и образы писателя. С ними, впрочем, нельзя согласиться безоговорочно: наряду с «вечными» темами Лагерквиста волновало все то новое, что несла с собой его бурная эпоха, и в связи с этим в его творчестве появлялись новые мотивы.

Герой повести Андерс растет в семье начальника железнодорожной станции в шведской провинции. Через восприятие подростка очень ярко и точно показана атмосфера мелкобуржуазной семьи, честной, набожной и ограниченной. Андерсу тесно в этих рамках. Традиционная религиозность родителей гнетет его. Он мечтает вырваться из своего окружения, и действительно вырывается, не только физически, но и духовно, отвергая религию и становясь адептом материалистического «нового учения, отметающего бога и все упования на него, принимающего жизнь во всей ее неприкрашенной обнаженности, с ее планомерной бессмыслицей» (как объяснял впоследствии сам писатель, он имел в виду дарвинизм).

С тонким психологизмом проникает Лагерквист в постоянно взбудораженную, растревоженную душу Андерса — ребенка, подростка, потом юноши, тонко чувствующего, наделенного поэтическим воображением, ранимого. Андерс

переживает первые столкновения с горькой правдой жизни — болезнью и смертью близкого человека, собственной болезнью и страхом смерти, сомнениями и разочарованиями. Повесть построена на противопоставлении косного, застойного быта и взволнованности формирующейся души. Лагерквист выступает здесь не только как тонкий психолог, но и как зрелый реалист-бытописатель, дающий живые зарисовки провинциального городка и деревни.

Композиционно несколько особняком стоит в повести заключительный эпизод — молитвенное собрание, организованное Армией спасения, на котором присутствует Андерс. Но логически этот эпизод — необходимое завершение повести: это последнее разочарование, знаменующее окончательное освобождение Андерса от посягательств религии на его душу. Девушка — офицер Армии, предмет восторга и первой юношеской любви Андерса, так вдохновенно и лирично говорившая на собрании о своем «спасении», в сущности, оказывается, имела в виду лишь спасение от материальных трудностей: дома она не могла себя прокормить, а в Армии ей гарантировано обеспеченное существование.

Через несколько лет в творчество Лагерквиста вторглась тема борьбы с фашизмом. Лагерквист посвятил ей десять лет жизни и ряд произведений, в частности повесть «Палач», и, по признанию шведских исследователей, внес самый большой вклад в антифашистскую борьбу средствами искусства в Швеции. Эта тема оставила заметный след и в его позднем творчестве, введя в круг занимающих его проблем новые — поиски истоков мракобесия и кровожадности в мире и в человеке (ср. повесть «Карлик»), поиски сил, им противостоящих («Мариамна»).

В 1933 году в Германии фашизм официально пришел к власти. В том же году выходит повесть Лагерквиста «Палач» — отклик на «коричневую чуму». Лагерквист, как многие честные и прогрессивные художники европейских стран, с горестным недоумением констатировал, что буржуазное общество не только не ужасается и не возмущается фашизмом, но спокойно и даже радостно приемлет его, что культ силы импонирует и льстит обывателю. Этим чувством и рождена повесть. Она построена в виде двух остро драматизованных эпизодов. Место действия первого — средневековый кабачок. Среди выпивох сидит Палач, которого все тотчас узнают по одежде. Палач на всех наводит ужас. Во втором эпизоде действие переносится в современный ресторан. Палач сидит на том же месте, но веселящаяся публика нисколько не боится его, напротив, он — предмет ее восхищения и подобострастия. Повесть прозвучала как острый памфлет.

Показательно, что она была переделана в драму и шла в театрах. Яркость персонажей-масок, смесь быта и фантазмагории, сочный диалог — все это так и просится на сцену.

Можно удивляться политической дальновидности писателя, написавшего такую остроразоблачительную вещь о фашизме в 1933 году, ведь в основном передовая скандинавская интеллигенция разобралась в сущности фашизма много позже, когда разразилась вторая мировая война и сама Скандинавия стала жертвой агрессии; мы знаем по этому поводу много свидетельств, исходящих от самих скандинавских писателей, горько упрекавших себя за близорукость, за то, что они своевременно не поняли всей опасности фашизма и не включились в активную борьбу с ним. И так же достойна удивления полити-

ческая дальновидность, проявившаяся в сцене избияния негров, — это памфлетно-резкое выступление против расизма уже направлено как бы непосредственно в наши дни.

Описывая отношение к Палачу в две разные эпохи, Лагерквист показывает, как в средние века, несмотря на темноту и суеверие (с этой точки зрения, кстати сказать, повесть тоже представляет большой интерес — вряд ли еще где-нибудь в шведской литературе можно найти такую «энциклопедию» средневековых народных преданий и поверий), реакции людей естественны, человечны. Палач как олицетворение своего ремесла внушает страх и отвращение. Палач как человек внушает еще и жалость. По общему мнению, это ужасное ремесло не может не быть в тягость ему самому. «Он, поди-ка, сам муку принимает от того, что творит. Известно же, палач всегда прощения просит у осужденного, прежде чем его жизни лишить». У людей же, веселящихся в современном ресторане, все представления сместились, черное считается белым, белое — черным, они говорят вещи абсолютно дикие, не укладывающиеся в сознание нормального человека: «Всякий сильный народ радуется занесенной над ним плетке и чувствует себя при этом превосходно!», «Окопы — вот единственное место, где порядочный мужчина чувствует себя хорошо. Надо бы и в мирное время жить в окопах, а не в домах, они только изнеживают людей», «Война равнозначна здоровью», «Слава убийцам! Слава убийцам!»

В вопросе о том, какие свойства человеческой психологии помогли идеологам фашизма заставить такое большое количество людей принимать черное за белое, а белое за черное, Лагерквист попытался разобраться в написанной в 1944 году повести «Карлик».

Действие повести отнесено к периоду Ренессанса и происходит при дворе итальянского князя. Фон повести условен. Это некие страшные времена беззакония и злодеяний. Произведения Лагерквиста нередко сюжетно прикреплены к прошедшим эпохам, но это почти всегда только условность: история интересует его как подсобный материал, помогающий разобраться в острых, больных вопросах сегодняшнего дня. Несмотря на ренессансные декорации, повесть «Карлик» не менее актуальна, чем «Палач».

Многие прогрессивные писатели — буржуазные гуманисты — видели психологические истоки фашизма в том или ином комплексе неполноценности. Неполноценность, ущербность являет собой и Карлик. Это не значит, что сам он чувствует себя в чем-то обделенным, «богом обиженным», наоборот, он говорит: «Так я создан, и мне нет дела, если другие созданы иначе». Скорее можно предположить, что автор для того и сделал его безобразным карликом, чтобы подчеркнуть, образно выразить его объективную неполноценность. А заключается она в том, что Карлик олицетворяет тот ограниченный, заземленный, чуждый всему высокому и отвлеченному обывательский «здоровый смысл» (или его оборотную сторону — снобистский интеллектуальный скептицизм), которому непонятно все, что не измеряется, говоря словами пушкинского Моцарта, «презренной пользой». Все вокруг он пытается объяснить исходя из низменных, эгоистических побуждений, лишит ореола. Ему непонятно, зачем люди наблюдают звезды, спорят о высоких материях, ему непонятны ни художественный энтузиазм, ни жажда познания, ни нравственные ценности, ни человеческие чувства, а более всего непонятна и ненавистна любовь. Люди сложны и про-

тиворечивы. Карлик же прост, однолинеен, всегда одинаков. Сам он считает это мудростью своего карличьего племени — тех, кто рождается стариками, кто ничему не радуется, кого ничем не удивишь, в чьих глазах никто не велик. Он гордится этим. Таким, как Карлик, в обыкновенной жизни скучно. Они не знают, чем себя занять. Для развлечения им необходимы катаклизмы. «Страшен тот, у кого нет музыки в душе», — писал в свое время В. Г. Белинский.

Позднее, в повести «Мариамна», создавая образ Ирода, воплощающий в обобщенном виде черты единовластного диктатора — главы фашистского (или близкого к фашистскому) режима, Лагерквист подчеркнет в нем все ту же сосущую пустоту души, которая гонит его в военные походы и толкает на злодеяния.

В повести «Карлик» прозвучала с особенной силой и еще одна тема, очень важная для всего творчества Лагерквиста, намеченная уже и в «Палаче», а в позднем творчестве писателя приобретающая особое значение — тема любви. Страницы, посвященные любви княгини к дону Рикардо, или трогательному чувству княжеской дочери Анжелики и Джованни, хотя чувства эти и даны через восприятие Карлика, перерастают в гимн любви. Любовь делает жизнь драгоценной, а человека — счастливым. «Я и не знала, что существует такое чувство, как любовь, — пишет Анжелика в своей предсмертной записке. — Но когда я увидела Джованни, я поняла, что любовь — это единственное, что есть на свете, все остальное ничто».

И в рассказе «Свадьба», где любовь выступает не в роскошных ренессансных одеждах, с такими романтическими атрибутами, как ночные прокрадывания в замок, кинжал и яд, а в самом что ни на есть обыденнейшем облике (в рассказе описывается замужество старой девы, провинциальной лавочницы), она остается великим чувством, «великой, божественной любовью, не подвластным разуму дивом, которое все собою освящает».

Простая человеческая любовь (не религиозная любовь к ближнему) — та альтернатива реакции, мракобесию, насилию, злу, которую находит Лагерквист в своем позднем творчестве, и в этом — смысл его повести «Мариамна».

В 1950 году Лагерквист стал лауреатом Нобелевской премии и с тех пор написал еще ряд прозаических вещей. Стиль его окончательно оформился, и творчество отмечено все тем же благородством и богатством содержания. Проникнутая редкой поэтичностью повесть «Мариамна» представляет в сборнике этот период его творчества. Сюжет ее заимствован из древней истории — это рассказ о любви царя Ирода к простой девушке Мариамне. Этот сюжет, как скажем, история Саломеи, соблазнял уже не одного писателя и до Лагерквиста, но Лагерквист интерпретирует его по-своему. Он сталкивает две силы — господствующие силы реакции, мракобесия, антигуманизма в лице Ирода и воплощенную человечность в лице Мариамны. Сначала посещая страшного, нелюбимого тирана, затем согласившись стать его женой, Мариамна приносит себя в жертву, чтобы защитить от него осужденных, гонимых, весь страдающий от беззаконий режима народ. Жертва ее оказывается в конце концов напрасной, ибо ее влияния хватило ненадолго. Более того, одержимый манией преследования, Ирод начинает подозревать Мариамну в связях с заговорщиками, покушающимися на его жизнь. Он подсылает к Мариамне наемного убийцу, и она гибнет от его руки. Но любовь гонит злодея к умирающей, и он горько

кается в своем поступке. Любовь в конечном итоге побеждает. Повесть, несмотря на грустный фон и несчастливый конец, исполнена веры в будущее торжество светлых идеалов.

Разумеется, наивно было бы видеть в концепции Лагерквиста о любви, побеждающей все, о любви — альтернативе мировой несправедливости — действительное решение проблемы. Однако же его гимн любви звучит отрадным диссонансом в современной западной литературе, на страницах которой, пусть даже и у самых прогрессивных авторов, столь широко и полно отражается девальвация и деформация этого чувства, характерная для западной жизни. Серьезное отношение к чувству, непримиримость к предательству в любви (ср. рассказ «А лифт спускался в преисподнюю»), придают творчеству Лагерквиста особую привлекательность.

Заключая свою автобиографическую повесть, Лагерквист говорит о юности, как о самой сложной и ответственной поре в жизни человека. Думается, что и наша молодежь в эту ответственную пору найдет в предлагаемом сборнике повод для раздумий и по достоинству оценит большого, интересного писателя, художника высокой нравственной чистоты и непримиримости.

С. БЕЛОКРИНИЦКАЯ



Как во всех прочих, был и в этом шведском городишке при станции ресторан. Само здание станции подступило так близко к рельсам, что все закопчилось от паровозного дыма, а то дом был бы белоснежен и словно предназначен на роль сказочного дворца, волшебного замка; весь он был в башенках и зубцах, в балкончиках, на которые никто не выходил; весь он был разубран резьбой и лепкой и разукрашен нишами, где бы стоять цветочным вазам; а на крыше торчали голые флагштоки. И все же это был просто-напросто облезлый и закопченный дом. Однако же он не пустовал, и было в нем даже что-то праздничное; проезжающие заходили сюда выпить кружку пива, подкрепиться перед отходом поезда, а по вечерам в саду играла музыка. Да, дворец использовался не по назначению, а может, он просто пришел в упадок оттого, что пир в нем шел без начала, конца и края. Линолеум обшарпался, плюшевые диваны прода-

вились и залоснились, в кафе третьего класса взбурвился щербатый пол, стулья расшатались, продырявились сиденья, но никто на это не смотрел, никого это не останавливало, посетители валяли сюда и требовали, чтоб им тотчас подавали еду. Никто не приглашал их на пир во дворец, но они являлись, пили и ели, покуда поезд поджидал их, меняя путь, и покуда колокольчик на перроне не звал их опять в дорогу. Покою тут не было, вечно сновали тут суетливые проезжающие. А замок стоял себе в убранстве башен и зубцов, флагштоков, балконов, пустых ниш — неуместный, сказочный, всех и всегда призывающий на пир.

Верхний этаж дома отвели под квартиру, где местилась многодетная семья. Наверное, тут собирались устроить вокзальную гостиницу, вдоль длинного темного коридора вполне вышло бы несколько номеров, но из этой затеи ничего не получилось, так что ограничились всего двумя комнатами и кухней, и одна семья занимала их с незапамятного времени. Сперва помещенье было даже велико для молодоженов, но потом один за другим пошли и повырастали дети, и квартира сделалась мала. Но никто над этим не задумывался, тут было гнездо, а гнездо не бросают. Тесные комнаты плохо освещались; по три оконца в каждой комнате сидели под самым потолком; так их вырубил красоты ради, все для той же необычности фасада. Старую мебель не слишком тонкой работы купили, по всей видимости, где-то в захолустье.

В зале стоял большой круглый стол под вязаной скатертью, за ним собирались по воскресеньям, в прочие же дни ели на кухне.

На одной стене висела олеография с изображением Лютера, на другой — со множеством завитков вышитый по канве алфавит под стеклом и в рамке. Над комодом висела полочка, и на ней стояли старая затрепанная библия, проповеди Арндта и две новые библии, подаренные старшим девочкам к конфирмации, обернутые в вошеную бумагу. Вот, собственно, и все. Пестрые лоскутные коврики покрывали почти весь пол и заглушали шаги. Дома почти всегда было тихо, несмотря на тесноту.

Под окнами стена делала выступ, тут любили устроиться младшие и, как птенцы, выглядывали наружу. У каждого была своя скамеечка, не то чтобы своя, но переданная за ненужностью в наследство от старших. У каждого ребенка бывает своя скамеечка. Но здесь скамеечка давала возможность выглядывать из окна. А там, под окном, непрестанно приходили, меняли пути и уходили поезда; свистел паровоз и тащил к вокзалу вагоны, из вагонов прыгали на перрон проводники, размахивая руками. И чего только, бывало, не увидишь в это окошко! Иногда ветер прямо на него гнал дым, и тут бы только успеть поскорей закрыть его. Тогда вдруг заметно делалось, как тихо дома, и уже словно из далекого далека неся вокзальный грохот. А видно было все то же: поезд стоял у перрона, трогался, исчезал, мелькнув белой бляшкой последнего вагона, паровоз менял пути, как всегда. На окон-

ную раму густо садилась сажа, и сколько мать ни стирала ее тряпкой, она нарастала опять.

Такая тишина редко где бывает. Отец заходил домой поесть. Он был железнодорожник, и оттого-то они тут и жили. Зато мать всегда была тут, она все хлопотала по домашности и редко выбиралась из дому. Она была светлая, с ясными серо-синими глазами и поредевшими волосами, убранными на прямой пробор. Светлые люди не такая уж редкость, но есть такие, у кого это не только внешность, у кого этим проникаются вся повадка и жизнь, и в самой этой светлости своей находят они помощь и опору. Такие люди часто кажутся хрупкими, того и гляди ветерком сдует. Но если одно неловкое движение могучей и не в меру суровой руки сотрет их с лица земли, уничтожит, мир проснется как от сладкого сна и увидит одну неприглядную явь. Но вот эти-то люди и несут в себе удивительный запас прочности, не бледными тенями ходят они по свету, но спокойно и твердо, словно знают, что ничем их не возьмешь, что они задуманы навсегда и никакой пагубе недоступны. Они словно принадлежат старинному, извечному, изначальному роду, пережившему древние испытания. Они были и будут, покуда стоит жизнь. И мир никогда не проснется от своего сна.

Из этой породы была и мать. В ней не было ничего примечательного и необыкновенного, она хлопотала в комнатах и на кухне, успокаивала детей, мыла посуду, стирала и гладила. Когда ей выпадал свободный час, она штопала чулки, латала одежду. За хлопотами она с удовольствием прислушивалась к шуткам старших детей, но, когда ей случалось присесть отдохнуть, она клала руки на колени и, глубоко вздохнув, отделялась, отгораживалась от них. По вечерам она читала библию или молитвенник, негромко, шепотом, почти про себя. Лицо ее бледнело в свете лампы, тонкие губы шевелились. Но ничего необычного не было в ней. Ведь таких, как она, много.

Отец, приходя по вечерам домой, снимал мундир, гасил фонарь, обтирал его тряпкой и ставил в прихожей, потому что он горел на ворвани и потом чадил. Затем, записывая номера вагонов, он рассказывал, какие надо грузить, какие разгрузать, какие дела вообще будут завтра. А после еды он брал библию и читал. И мать и отец читали, никто не смел проронить ни слова, и это было трудно и странно. Дети слушали затаившись, и полнота тишины стесняла их и давила. Снизу, из третьеклассного кафе, неслись выкрики выпивающих, грохот, но это в счет не шло, это не задерживало внимания. Если же к станции подходил поздний поезд, отец с библией в руке подходил к окну, потягивался, выглядывал наружу. А потом возвращался к столу и продолжал читать.

Перед сном детям разрешалось погулять, они выскальзывали в тесный коридор, как стайка крыс, и, спускаясь по лестнице, по-

степенно повышали голоса. Весенний вечер сиял и пахнул угомнившимся дождем. Через калитку своего двора они проникали в парк. Там царил музыка, все мыслимые инструменты гремели, трещали, ревели и пели, повизгивали флейты, ухали трубы. Немного глубже в парке горел свет. Набравшись храбрости, они пробрались между стволов туда, где стояли старые ели, свесившие ветви до самой земли. Там, под елями, было совсем темно, и туда-то они и забирались, стараясь не запятнаться смолой. Совсем рядом сияла, светом площадка, музыку слушало много народа, на самых нарядных были красивые пледы. Официантки разносили по столикам напитки в красивых бутылках и видны были только по поясу, мелькая белыми блузками, как голубки. В павильоне, представляющем как бы дом в разрезе, старался полковой оркестр. Блестели мундиры. Потолок изображал небо с золотыми звездами. Инструменты сверкали, звуки выкатывались, выливались в тишину вечера, под конец пьесы по каплям стекая с басовой трубы.

Дети стояли не дыша, с сияющими глазами, не смея шелхнуться. Каждый раз все бывало удивительно, ошеломляюще и прекрасно, хоть на этом они росли.

Когда совсем темнело, они бежали домой и засыпали с мыслями о странных вещах, недоступных их разумению.

А по утрам кухня встречала их старым жестяным ведром парного молока. Его привозили поездом 7.15, и ехало оно прямо на паровозе, рядом с машинистом. Молоко было еще теплое, пахло выменем, и пили они его вволю. Под крышкой всегда обнаруживали записку, всю мокрую, оттого что молоко плескалось на ходу. В записке было написано о том, как идет сев, о коровах, о том, что произошло, а чаще о том, что ничего особенного, что все кланяются и все слава богу.

Ведро привозили с хутора. Там был их настоящий дом.

* * *

Дети с шумом носились по парку. Парк был такой большой, что казался ухоженным лесом. В одном уголке, правда, деревья разрослись как попало и разбушевалась трава. Тут они больше всего любили играть. А так бегали где придется. В боярышнике, обросшем холм ближе к вокзалу, в заброшенной беседке, где кучей громоздились консервные банки и осколки стекла, возле муравейника неподалеку, где трава доходила до колен, как будто муравьи холили ее, чтоб спрятать свой дом от чужих глаз. И там, где буйная сирень обросла всю долгую, примыкавшую к парку улицу. Они играли, они прогуливались, гонялись друг за дружкой, а то, затаясь, слушали птичий гомон. День был неслыханно ясный и яркий. Облака привольно раскинулись в небе, и солнце беспрепятственно ласкало траву. Все удавалось и ладилось.

В дневные часы парк целиком оставлялся им. Старик разгребал граблями дорожку, но далеко, почти неслышно, да к тому же они его прекрасно знали и не боялись.

А что, если поискать в сирени «счастье»? Одна девочка всегда нападала на счастье. Стоило ей нагнуться к кусту, перебирая гроздь, как тотчас же в глаза ей кидалось множество счастливых цветков. Ее звали Сигне, и о ней еще пойдет речь дальше. Найдя особенно большое «счастье», она даже смущалась, отчего всегда именно ей такое везенье. «Ой», — говорила она, еще не зная, как идут дела у остальных. А потом хлопала в ладоши и съедала свое «счастье», потому что иначе оно ни за что не сбудется.

Ну а потом началась настоящая игра. Старшие мальчики хлопали одну из девочек по спине и бросались за деревья. Это были пятнашки, или салочки. Они носились под каштанами и кленами, среди кустов бузины, где землю не взрыхляли, и потому можно было сколько угодно ее топтать. Они в мгновение ока обегали весь парк; потные, запыхавшиеся, на бегу хватались за ветку и бежали дальше; девочки быстрее уставали, чаще «водили», но, отдышавшись, тотчас же припускали снова.

Вот неожиданно всей гурьбой они выбежали к площадке кафе. И, с трудом переводя дух, замерли на подводящих к ней тропках, забыв об игре. Просто удивительно, до чего же переменилось днем это место. Столики стояли пустые, заляпанные, противно пахли подсыхающим на солнце пивом и пуншем, под ними валялись спички и жеваные окурки, рядом кого-то вырвало. Эстрада заброшенно, покинуто зияла скелетами попитров в углу и обвисшими ключьями звездного неба. Ни радости, ни праздника. Нет, днем тут совсем не интересно.

Они вернулись к прерванной игре, «салочка» гнал перед собой остальных, как стадо испуганных овец, забивавшихся в кусты; из-за стволов неслись отчаянные девчачьи взвизги. И опять они разбежались по всему саду, горланя на солнцепеке.

Но самый маленький, Андерс, не побежал за всеми. Да он и не умел так быстро бегать. Он остался возле садового кафе, не в силах оторвать глаз от этой картины запустенья. На том самом месте, где вечерами так неопишимо красиво, — и вдруг такая грязь и тоска. Непонятно. Он-то верил, что все взаправдашнее — и небо в блестящих звездах, и музыканты, непонятные, как ангелы, и музыка, такая замечательная, что в нее даже страшно влущаться. Все это еще стояло в памяти. И вдруг ничего не осталось, и ничего узнать нельзя. Как же так все исчезает, и остаются только тоска и пустота?

Ему стало страшно и грустно, даже трудно дышать. И почему он вдруг замерз, ведь солнце печет вовсю?

Потерянно глядя в землю, он зашагал прочь. Крики братьев и сестер неслись со всех сторон, но ему не хотелось к ним. Он

брел один, не зная, что с собою делать. Потом он сел прямо на широкую, пересекавшую сад дорожку, она была плотно усыпана гравием, а на другие гравия, видно, не хватило, из-под него сквозила черная земля. Одну ногу он засыпал песком, утрамбовал песок руками, а когда поднял ногу, на дорожке получился целый погреб, в таком погребе можно держать картошку или еще что-нибудь, что надо долго хранить. Он сделал еще несколько погребов, работа шла быстро, он очень старался. Потом он уселся поудобней и стал копать настоящую большую яму. Разгребал ее пальцами, глубже, глубже, песок стал тонкий и мокрый, а яма — узкой, так что пальцы в ней уже почти не помещались. Работа так поглотила его, что он не слышал и не видел, как к нему приблизился хозяин кафе, до тех пор, пока тень от круглого брюшка не упала на ямку. Хозяин кафе был добрый старик, но дети относились к нему с чрезвычайной робостью, полагая, что все вокруг — его владения; на самом же деле владения его были невелики, потому что он всего-навсего арендовал парк на десять лет, и просто срок не вышел покуда. Он покачал головой и поиграл часовой цепочкой, широкой дугой лежавшей на его жилете.

— Этого делать нельзя, — сказал он.

И помягче добавил:

— Когда маленькие дети копают ямы, значит, кто-нибудь у них дома умрет.

Другим бы детям он просто и напрямик запретил, но этому, совсем малышу, надо было дать какое-то объяснение.

Андерс поднялся, бледный от ужаса. С застывшим лицом он не отрываясь смотрел на яму, потом бросился на колени и принялся ее засыпать.

Старику поведение мальчика показалось странным, он вынул из кармана кулек карамелек, он любил детей и обычно носил с собой что-нибудь сладкое, конфета — это все-таки конфета. Андерс дрожащей рукой взял протянутую ему большую липкую карамельку. Но, поклонившись в знак благодарности, он тут же пустился бежать по траве, задевая за кусты, к дому.

Кто же умрет? Кто умрет? Неужели мама? Или он сам? Нет, сам он еще маленький, он пока еще не умрет. А мама такая бледная и часто жалуется, что устала. Из официанток никто не умрет, они все такие здоровые и сильные. Нет, конечно, это мама. Ой, неужели мама!

Он бросился в траву, вскочил, побежал снова.

Ох, да это же папа! Это папа! Он переводит поезд с пути на путь! Его задавит! Конечно, это папа! Теперь понятно!

Он побежал к своим. Остаться одному ему стало невозможно. Но их не было слышно. А, ну да, они там, у боярышника. Он взобрался вверх по холму, бледный и запыхавшийся, упал прямо в объятия к Сигне.

Остальные почти ничего не заметили, только, что он бежал со всех ног. Сигне сразу взяла его на руки.

— Что это с тобой? — пыталась она.

Он не мог слова выговорить. Он уже заметил, что кое о чем говорить нельзя, все равно не получится, лучше уж терпеть и молчать. И он молча жался к Сигне.

Остальные тем временем, повиснув на заборе, смотрели на станцию. Там был отвесный спуск, там взорвали холм, чтоб провести колею.

— Ой, — крикнул Хельге, старший. — Вон папа!

И все его увидели — он стоял на подножке паровоза, крепко держался за поручень одной рукой, а другой им махал. Сигне как можно выше подняла Андерса. Вот отец спрыгнул с подножки и полез под буфера, не дожидаясь, пока остановится поезд. Андерс замер. Вот отца не видно, его уже долго не видно. Сигне стало больно, так крепко вцепились руки Андерса в ее шею. Но наконец-то отец появился, дал сигнал машинисту, и состав пошел на запасный путь.

Сестра спустила Андерса наземь. Его била дрожь.

— Правильно, — сказал самый старший, все еще сидя на заборе, — там они и будут стоять, пока Юханссон не погрузит их досками. Ну а теперь куда? — и он соскочил вниз.

И все стали хором, наперебой, решать, куда теперь идти.

— Мне надо домой, маме немножко помочь, — сказала Сигне. И взяла Андерса за руку, чтоб повести с собой.

И они пошли вдвоем прочь от остальных. По траве, мимо поляны, куда громом доносилось уханье паровоза. Откуда ни возьми им навстречу попался запыхавшийся толстяк в жилете, со стаканом в руке.

— У черт, ну и погодка, — сказал он, — добрый день, детки.

Они шли молча. Сигне чувствовала, как еще дрожит его рука, но не знала, отчего. Так они прошли под деревьями, дошли до садовой калитки.

Тут сестра остановилась.

— Андерс, на тебе счастье, — сказала она. И вытащила цветок из кармана фартука. Он смялся, облип крошками, но она на него подула, и он расправился и отряхнулся.

— Как же, это ведь твое, — сказал он.

— Ой, ну что ты! Да бери, бери. Я столько их нахожу.

Он сунул цветок в рот и затих, добросовестно жуя Сигнино «счастье».

* * *

Было в союзе Сигне с матерью что-то необычайное. Это кидалось в глаза всякому, кто видел, как они хлопочут по дому, а хлопотали они непрерывно. Они словно жили одной какой-то общей

жизнью, не такой, как у других, а лучше. Обе были тем центром, к которому теснились все остальные, источником, питавшим всех. Не покладая рук возились они на кухне, в комнатах, мыли посуду, стирали пыль, а то лушили в саду горох, а вечером по субботам, начищали ножи. И дом жил и дышал их заботой. Всех в семье объединяло доверие и близость, отгораживающие от остального мира, но все это не шло в сравнение с теми узами, что связывали их двоих. Они представляли собой какое-то нерасторжимое целое, и различие их состояло лишь в том, что одна была гораздо моложе другой. Это были звенья одной цепи, нескончаемой цепи, потому-то так и устроилось, что одна уже поблекла и устала под тяжестью материнских забот, а другая только вступала в жизнь. И вот на короткое время оба звена существовали совместно и радовались этому. Сами они вовсе не ощущали исключительности своей роли и как ни в чем не бывало болтали про всякую всячину и с самым будничным видом.

Вот сегодня, например, они затеяли стирку. Стирка дело нехитрое и обычное. Обе быстро и ловко складывают в кучку отжатое белье, сливают воду, наливают опять, бегают за синькой, вешают чулки сушиться прямо на окно, тем временем переговариваются, прыскают и, вставши за стиральные доски, снова углубляются в работу. Сигне — кругленькая девчужка, с умным не по годам личиком, веселая и смешная. Волосы у нее густо кучерявятся, глаза блестят. Она вся вспотела. Она так истово трет белье, что над лоханью взлетают хлопья пены. От старательности она даже голову наклонила к самому плечу, щеки покраснели, на кудряшках каплями оседает пар.

— Ой, мамочка, — говорит она, распрямляясь, — смотри-ка. Линяет!

— Ну и ну! — говорит мать. — В жизни такого не видывала. Только б на другое не перешло.

— Ой, что ты, мама! Видишь, тут белое уже покрасилось. Мама, мама, что же теперь будет?

— Вот уж незадача! Не вынуть ли? Ну и ну. Делать нечего, попробуем прокипятить, может, и отойдет!

— Ой, ой! Что натворили-то! Как же это мы так!

Так они поговорили еще некоторое время. И снова склонились над корытами, полоскали, отжимали.

Весь дом замер, опустел. Был один из тех дней, когда ясно, что сегодня уж точно ничего не произойдет. И только на кухне кипела работа. Солнце ненадолго заглядывало в окна и тотчас скрывалось, потому что небо то и дело затягивало облаками.

Дети были в школе или кто где по своим надобностям.

— А куда Андерс подевался? — спохватилась мать.

— Да у окна сидит, наверное, вот его и не слышно, — отвечала Сигне.

Он в самом деле сидел у окна. Сидел, сжавшись в комочек, на выступе и рисовал на покрывшей оконные косяки саже. Покончив с одним косяком, он приступал к следующему, все их тонко покрывала сажа. Поездов на вокзале он не видел. Но он знал наизусть, как они ползут, и ползут, и сменяются. Он это видел не глядя. Только когда тронулся паровоз на ближнем пути, он выглянул посмотреть. Паровозик этот был меньше всех и такой смешной, что Андерс чуть не расхохотался. Загудев, он пустился в дорогу и тотчас скрылся в дальнем березняке, распустив кудрявый дымок над березами. Паровозик был совсем свой, и Андерс долго махал ему вслед. А потом снова принялся рисовать по саже.

Как же все сейчас странно и пусто! Весь мир словно запрятался куда-то, затаился, и вещи не знают, что им делать. Это заметно по домику у вокзала, по всему. Все как будто оборвалось, кончилось, задохнулось и вымерло.

А он сидит тут и рисует.

Хватит рисовать! Скорей в сад. Там найдется во что поиграть. Да, скорей в сад, лучше не придумаешь.

Он прошел комнату, вышел в коридор. Там была дверь в кухню, он приник к ней ухом, вслушался. Мать и Сигне разговаривали, но слов он не разбирал, потому что, разговаривая, они терли белье, и вода в корытах плескалась. Он различал только мирный шелест голосов. Нет, сюда входить не надо. Только еще немножко постоять и послушать. Ага, вот слышно, как мама говорит:

— Сигне, детка, не глотнуть ли нам с тобой кофейку? Уж, кажется, заработали!

— Еще бы, мама!

— Ну тогда поставь, а я пока полотенца прополошу.

— О-хо-хо, — сказала Сигне. — До чего приятно распрямиться!

И она захохотала.

А потом начала что-то с грохотом двигать на плите.

Он проскользнул дальше по коридору, по темной лестнице, во двор.

Весь двор был обнесен сараями. Солнце припекало, но Андерс почти не замечал его. В сточной канаве стояли помои, потому что пробка или лимонная корка застряли в решетке. Рядом, в ведре, среди кофейной гущи и золы валялся букетик вялых незабудок. Андерс пошел вдоль сараев. В углу громоздились пустые бутылки, они еще пахли опивками. Андерс пересек двор и, стараясь держаться подальше от некрашеного дома посередине, перешел к сараям по другую сторону. Андерс старался не глядеть на этот некрашенный дом. В нем не было окон, только черная дыра в одной стене, и, если сунуть туда руку, будешь весь дрожать. Потому что там полно льда. Нет, уж лучше поглядеть, что в дровяных сараях делается. Во всех трех сараях двери стояли

настежь, чтоб просыхали дрова, и оттуда так пахло березой, как будто в каждый привезли по целой роще. В третьей березовой роще стоял старичок и пилил. У старичка была большая седая борода, пожелтевшая от табака, и сощуренные глазки. Больше в сумраке сарая ничего нельзя было разглядеть.

— Здравствуй, милоч, — сказал старик, — ты чего сюда пожаловал?

— Я так, ничего, — сказал Андерс.

— А, ну да. А вот старый Юнссон знай себе пилит. И начал он свое дело делать, когда немногим больше тебя был. С утра до вечера, день денской, день денской, так вот, видишь, и состарился. Гляди, какой старый стал. А все для чего? Чтоб люди от холода не поумирали. Думаешь, если б старый Юнссон весь свой век не пилил дрова, многие б уцелели? Да тысячи и тысячи умерли б от холода. И отец твой, и мама твоя, и Сигне, и официантки все, и хозяин кафе — все бы как миленькие давным-давно окоченели. Так ведь никто же об этом не думает. Ну разве кто придет, поблагодарит меня за то, что не умер от холода? А? Никто не идет. Думают, не за что тут благодарить. Но погоди, в один прекрасный день Юнссону это надост, наскучит, устанет он, слишком старый сделается, не будет больше ради них спину гнуть. Вот они все и перемерут от холода. Как думаешь, поделом им?

Андерс не мигая смотрел на старичка.

— Да, им этого не миновать. Потому что зимой, я тебе скажу, стужа страшная, если не топить.

— Ну-ну, — заговорил он опять. — Чего стоишь тут, и глаза уже на мокром месте? А ну живей на солнце и грейся, покуда лето стоит, милоч, а до зимы-то ведь далеко, там еще поглядим. — И тут он вдруг широко ухмыльнулся.

Мальчик послушался, вышел из сарая и огляделся вокруг. Солнце и вправду ярко светило, трава меж булыжников блестела как Новенькая, в сточной яме плавали нежные одуванчики. Все было так мирно и спокойно, как будто сегодня воскресенье. Но почему же ему грустно? И какая-то тяжесть в груди? Может, пойти еще послушать под кухонной дверью? Нет, лучше уж остаться тут, погода замечательная, надо гулять и радоваться. Что бы такое придумать? Он пошел к въездным воротам и высунулся. Отсюда было видно солнечную поляну, дальше шла живая изгородь из боярышника, а на небе, покойно развываясь, лежали облака. И больше нигде ничего, только воздух, совсем пустой воздух, так иногда бывает. Андерс отпрянул от ворот.

А может, все-таки залезть в ледник? Да, лучше ничего не придумать. Конечно, надо туда залезть.

Он полез по доске, почти отвесно спускавшейся из пустого проема, крепко держась за нее, чтоб не свалиться вниз. Он избегал смотреть вверх, на черную дырку, втянул голову в плечи, изо всех сил вцепился обеими руками в края доски. Он уже затылком по-

чувствовал холодную струю, и вот он у проема. По-прежнему не глядя, прыгнул внутрь.

Внутри было черным-черно. Он ползком пробирался по мокрым опилкам, всем телом трясясь от холода. Лед лежал неровно, в одном месте много выбрали и оставили большие колдобины, в другом месте, наоборот, куски громоздились один на другой. По краям из опилок повывлез голый лед, и там пальцы цепенели.

Андерс полз по леднику, тут было черно, холодно и страшно. Сердце у него колотилось — нет, он не замерз, в висках стучало, как при сильном жаре. Ужас! Как будто тебя похоронили и ты не знаешь, на каком ты свете. Андерс весь дрожал...

Но кто это там ходит по двору, кажется, папа... Андерс подполз к дыре, осторожно выглянул. Ну да, это папа пришел домой. Он хотел бы окликнуть его, а там бы вместе подняться на кухню и на лестнице держаться за папину руку, а здесь ему надоело, но нет, лучше остаться тут, папа уже вошел в дом, и Андерс глядел ему вслед, открыв рот и не издавая ни звука.

До чего же тут холодно, противно и страшно. Черным-черно и жуткая холодина. Он отполз дальше от окна, и стало еще холодней. Ноги тонули в мокрых опилках, стены и потолок взмокли, затекли. Он затих и совсем заковенел. Даже пальцем не мог пошевелить.

Ой, он ведь тут уже долго. Сколько же времени прошло? Замерз он? Нет, голова горит, все тело горит. Надо добраться до окна, вдохнуть настоящего воздуха, поглядеть на солнышко. Запыхавшись, отчаянно вытянув голову, он перепуганно глядел во двор.

Вот из дому вышел папа с корзиной в руке.

— Папа! — крикнул Андерс. Ему казалось, что он кричит во всю глотку, но отец даже не услышал.

— Папа! — крикнул он опять. Тут отец поднял глаза.

— Андерс, что ты там делаешь? Спускайся скорей! Зачем ты туда залез? А мы ищем тебя, ищем. Хочешь к бабушке? Папа повезет тебя на дрезине. А?

— К бабушке! — крикнул мальчик и замахал руками. — Погоди, я сейчас, я сию минуточку!

И он тотчас вынырнул из окна и съехал вниз по доске.

Бросился к отцу, повис на его руке.

— А на какой мы дрезине поедем? У начальника возьмем или у Карлссона? Пошли, пошли скорей, а что у тебя в корзине, это для бабушки, а мы сразу поедем? — выпалил он одним духом.

— Что это с тобой? — спросил, разглядывая его, отец. — И что ты делал в леднике?

— Ничего, — ответил он, уставясь в землю. — Просто постоял немножко, посмотрел. Ой, я так хочу к бабушке. Мы ведь сразу поедем, правда, пап?

— Ладно, пойдем, — и отец взял его за руку.

Они прошли за ворота, на солнечную поляну. Мальчик дышал все ровней и ровней. Он поглядел вокруг, поглядел на голубое небо, потом на желтый песок, который недавно причесали граблями и теперь он нежился на солнышке, на живую изгородь из боярышника в цвету. Пройдя еще немного, он испытующе посмотрел вверх, в отцовское лицо.

— До чего хорошо, что мы едем, — и он сконфуженно хихикнул.

— А как же, — ответил отец.

И только пройдя еще несколько шагов, Андерс наконец высоко подпрыгнул. Забежал вперед, открыл калитку, что вела на станцию, сбежал по ступенькам вниз, снова взбежал вверх — забрать отца, потом стрелой — на пути и зашагал по рельсам, то туда, то сюда, то передом, то задом.

— Я вижу, тебе весело, — сказал отец.

— Ой, ну какая погода хорошая! Правда, папа? Вот смотри, я и бегом могу!

— Смотри не упали! — прокричал ему вслед отец. Но он не упал. Он и обратно прибежал бегом.

— Пап, а где наша дрезина?

— Сейчас увидишь, она у товарного склада стоит.

И они пошли прямо к складу. Дрезина была прислонена к стене — большая доска на трех колесах и длинный шест — трехколесная дрезина, вот и все. Сперва им пришлось идти сзади и подталкивать, а поехала только корзинка.

— Когда же мы поедем? — теребил отца Андерс.

— Погоди, — отвечал отец, — вот на рельсы только спустимся.

Андерс забежал вперед и следил, чтоб дрезина не качнулась, а то рассыпались бы бабушкин кофе, и сахар, и еще дрожжи.

Вдоль станции шло городское кладбище, могилы спускались к самым рельсам. Ему не хотелось смотреть на могилы, он от них отворачивался. Как же широко раскинулось кладбище! Но Андерсу не до него, ему надо следить за корзинкой, да и смотреть есть на что — хоть бы на штабеля дров по другую сторону путей. И можно разговаривать с папой, тогда это кладбище скорей кончится. Вот они прошли уже так далеко, что могил здесь больше нет, лишь молодые липовые саженцы на чистой зеленой лужайке, поджидавшей тех, кто пока еще ходит по земле. Он прижался к отцу.

— Ну когда же мы поедем? — шепнул он.

— Чуть-чуть еще потерпи.

И сразу же за калиткой они тронулись в путь. Андерс сидел ногами к маленькому колесу, крепко удерживая корзинку. Отец стоял на широкой стороне между двух больших колес и работал шестом.

Они быстро разогнались. Совсем немножко — и город остался

далеко позади. Шест четко, ровно бил о щебенку, колеса вертелись изо всех сил и стучали на стыках так, будто едет настоящий поезд. Хоть день был совсем тихий, сразу поднялся до того сильный ветер, что обоим пришлось низко на уши надвинуть шапки.

— Крепко держишься? — крикнул отец, приседая, чтоб надбавить скорости.

— Ага! — крикнул Андерс в ответ и счастливо засмеялся.

Сперва они ровно неслись вдоль луговины. Пестрыми точками летели вниз назад цветы, не разберешь какие, они ударили по насыпи общим, спутанным запахом. Потом начался лес. Крепко пахло елью, но можно было различить и тонкий, легкий запах берез, и ольхи, и сосны, и можжевельника, лес был смешанный. Потом слабо донесся запах земляники, тут были самые что ни на есть земляничные места, все красно было от ягод, в глазах так и стояли красные пятна, но им надо было дальше, дальше, дальше. А по склонам каких только не пестрело цветов: и льнянка, и лютики, и ромашка, и клевер тут оказался, и чего-чего тут только не росло. Все они пахли, сияли и, мелькнув, пропадали из глаз, а чуть поодаль все время сменялись ели, березы, можжевеловые кусты. Телефонные столбы бежали назад, будто торопились к себе домой, будто им не по пути с дрезиной.

Андерс смотрел во все глаза, боясь хоть что-то упустить, щеки у него слегка побледнели, но ему сделалось жарко, сердце, ликуя, колотилось. Он был сам не свой. Отец пригибался вперед, откидывался назад, следил, чтобы шест не бил о шпалы, не скользил, но это он просто так следил, для порядка, они ехали все быстрее, быстрее, быстрее.

Вот линия изгибается, чтоб обойти водный поток. Тут везде вода, речки, ручьи, лесные озера. То и дело им встречались мостки через какой-нибудь ручей. Тут отец разогнался так, что все с грохотом несло мимо.

— Гляди шапку не потеряй! — кричал он сыну.

— Не-е-е! — кричал в ответ Андерс, вцепившись сразу и в шапку, и в корзинку. Летели так, что свистело в ушах.

Вот дом обходчика станции Мыс, детвора удивленно выглядывает из-за сиреней, теребя переднички, приседая. А они уже на большом мосту через реку, и летят вперед, отталкиваясь шестом, а под ними, внизу, бурлит, бурлит поток.

И вот уже станция Мыс.

Тут они чуть-чуть сбавили скорость, но не особенно, потому что станция маленькая, всего по одной стрелке в каждом конце. Начальник прогуливался по перрону. Он отдал им честь, как настоящему поезду, который не останавливается на таких полустанках.

Потом они опять набрали скорость. Путь шел по полям и лугам, мимо большого заброшенного хозяйства, и снова лесом. По обоим сторонам блестел на солнце полный птичьего щебета лиственный

лес. Восемь мужчин работали на линии, меняли прогнившие шпалы. Пришлось им переждать, пока мимо них мчала дрезина. Несмотря на спешку нехорошо было бы не поздороваться, но снимать шапку тут даже думать было нечего, и Андерс, не выпуская из объятий корзинку, по примеру отца просто кивнул.

Потом начался подъем, но они так разогнались, что почти его не заметили. После этого подъема линия резко спускается вниз, и тут уж ехать совсем нипочем, только в ушах свистит. А на самом верху тоже домик обходчика. Обходчик сидел у трубы и смолил на солнцепеке крышу.

— Что тут еще за дополнительный поезд? — крикнул он им сверху.

— А это мы! — крикнул отец. Дрезина тем временем уже летела вниз.

Отец держал шест наготове, чтоб притормозить, если понадобится. В ушах шумело. Колесико под ногами у Андерса вертелось так скоро, что не видно было спиц, прыгало и скакало от радости. Как выпущенный поутру жеребенок. Рельсы вытянулись в черту, одуванчики, лютики, кашки тоже вытянулись в черту, телефонные провода тоненьким шнуром сверкали на солнце, воробьи исполошенно взлетали со шнура и спешили в лес, где кусты и деревья стояли так плотно, что сквозь их строй не могла пробраться перепуганная белка.

Всего несколько минут, и кончился длинный склон. И открылась широкая долина с заливными лугами, озерами, всякого рода водой, с полосками пашни, выгонами, бесчисленными делянками, маленькими огороженными пастбищами, болотами, лесами и дворами, разбросанными среди ржей и овсов. Все сияло и блестело на солнце, и видно было далеко, и виден был дедушкин двор под кленами. Теперь ехали медленней. Мирно пересекли широкую реку, заросшую по берегам тростниками и кувшинками, уткнулись в ухабистую дорогу, пересекавшую полотно, затормозили и оба попрыгали на землю. Приехали.

— Вот так мы! — смеялся мальчик, бегая вокруг отца и хлопая в ладоши. Отец удовлетворенно усмехнулся и оттащил дрезину в траву на обочине. А они пошли к дедушкиному дому, вместе держа корзинку.

Андерс от волнения с трудом удерживался, чтоб не пуститься бегом. Отец шел весело и легко, как двадцатилетний. Чтоб его насмешить, Андерс чуть дергал к себе корзинку, и оба радостно смеялись тому, что вот так идут вместе, рядышком.

Отец был немного странный человек. Казалось, по самой природе своей он человек жизнерадостный. Но это редко выходило наружу, обычно же он не мог сбросить с себя странную скованность, был словно чем-то стеснен. Забот у него было много, но не в том дело. Такой уж человек: скрывал и сдерживал веселость, как будто в ней есть что-то стыдное, и подавлял ее в себе.

Но сейчас оба радовались от души. Знакомые поля лежали вокруг во всей пышности предосеннего убора, колосились ржи, над оградями дрожал от жара воздух. Дорога отклонилась от реки, они миновали мельницу, и перепачканный мукой мельник помахал им вслед. Потом они перешли ручей, поднялись по изволоку и увидели двор и дом.

Дом был высокий и узкий, красная краска вся почти облезла, так что выступили серые доски. Клены бросали тень на крышу. Чуть поодаль стоял скотный старой стройки, только в одном месте чуть подновленной.

Они ускорили шаги, почти побежали, пристально вглядываясь в окна — не шелохнутся ли где шторы, но шторы не шевелились. Зато теленок бросился им навстречу, тянул шею, рвал колышек, тыкался мордой им в ладони и мычал. Тут уж и шторка шелохнулась. А они уже шли садом.

Сколько здесь было яблонь, груш, сиреней, а чуть Дальше цветочное царство пионов, георгинов, ярких ноготков, высоких мальв, гераней, выселенных из комнат по случаю лета, и еще издали пахучие левкой, лаванда, резеда. Вдоль дорожки шел низкий плетень, Андерс приподнялся на цыпочки и заглянул в смородинные кусты. Но на крыльце среди цветов уже стояла бабушка.

— Кто приехал! Мои детки!

Она была такая старая, что для нее оба они были детки. До чего же бабушка старая! Лицо худое, не в морщинках, а в бороздах, крепкое тело осело к земле, и серая, как сухая земля, юбка на бабушке. И все же она похожа на маму. Такие же точно глаза, такие же редкие волосы, хоть и седые. И так же вся она светится, несмотря на всю свою суровость. Она жала им руки, благодарила за кофе, за сахар, за все гостинцы, которые Андерс поспешил выложить. А потом втолкнула обоих в дверь, и сама, в одних носках, прошла в сени.

В снях странно пахло старым деревом, землей и сухим навозом. Запах шел от деревянных башмаков. А из комнаты несся запах лука, разложенного на пожелтелой бумаге.

Они подняли клямку и вошли в комнату.

Со свету здесь казалось почти совсем темно. Две большие, убранные шкурами кровати да стол посередине составляли почти всю мебель, только еще у окна помещался ткацкий станок с простынным холстом. В печи кипел медный котел с картошкой на корм свиньям. Дедушка сидел рядом и следил за огнем. Дедушка был старый, но крепкий. Лицо большое, широкое, гладко выбритое, строгий рот без зубов. На плечи свисали белые пряди. На дедушке были брюки из чертовой кожи и кожаный жилет на оловянных пуговицах. Он не двинулся с места, потому что больные ноги плохо слушались его. Ждал, когда они подойдут.

— Ну как дела, дедушка? — заговорил отец.

— Слава тебе, господи, — громко, оттого что сам был туговат

на ухо, ответил дедушка, — все хорошо. А вы-то как там, в городе?

— Спасибо, все живы-здоровы, — громко и отчетливо выговаривая слова, ответил отец.

— Ну а ты, малыш? Смотри-ка в какую дальнюю дорогу папа тебя взял.

Дедушка усадил Андерса к себе на колени и гладил по голове жилистой рукой. Андерс больше всего на свете любил сидеть у дедушки на коленях, он вглядывался в большое лицо, ощупывал куртку... Дедушка весь был удивительно крепкий и твердый.

Отец и дедушка долго говорили, медленно и громко, так что от стен гулко отдавались их голоса. Дедушке все хотелось знать. Разговаривали обо всем одинаково серьезно. Если речь заходила о чем-то радостном, то и об этом говорили серьезно и строго. Отец стал другой. Он сидел, сцепив пальцы, слегка сутулясь, и казался старше, совсем как дома по вечерам за Священным писанием. Картошка в котле уже сильно пахла, и от нее запотели окна.

Бабушка все сновала из кухни в комнату. Отдыхать она не умела и всегда выискивала себе работу. Но она ходила в носках и ступала совсем неслышно.

Вот подошла, попробовала картошку, нет, еще не готова.

— А ты бы, детка, пошел поел смородинки, — сказала она Андерсу.

Он встрепенулся, решил, что нечего ему тут сидеть со стариками, слез с дедушкиных колен и выскользнул наружу.

От пестроты сада заболели глаза, особенно от красно горевших пионов. Цветы доверчиво подставлялись шмелям, хлопотливым пчелам и прекрасным, гордым бабочкам, которые лишь чуть-чуть задевали их и улетали прочь, словно насытись одним запахом. Андерс забрался в смородину. Под кустами лежала теплая, нежная земля, ее разгребли побывавшие тут куры, повырнули себе, что ли, ямок для яиц? И всюду валялись перья. Он выковырял и отбросил сухие перышки, сел на бугорок побольше, запустил руки в кусты и принялся есть. Гроздья густо облепили кусты. Одни покрупнее, но кислые оттого, что выросли в тени, а другие на солнышке, помельче и послаще, так что на любой вкус. Он выбирал тщательно и раздумчиво, когда сладкие приедались, рвал те, что покислей.

Его было не видно и не слышно. Да и кто бы его увидел? Никого ни в саду, ни на дороге. Тишина и покой. Только на лугу у реки вдруг замычит корова, да прожужжит над кустами муха. И все. Ни ветерка, клены вздремнули на солнышке, даже осины затихли, а ведь они вечно дрожат. Время от времени он раздвигал кусты и поглядывал из-за гроздей на синь неба или на стоячее, запнувшееся облачко.

И как раз когда он наелся смородины до отвала, на крыльцо вышла бабушка. Она вынесла картошку и шла задать корму сви-

ням. Она прислушивалась, приглядывалась, чтоб его найти, да какое там!

— Куда ты запропастился, баловник, — кричала она, — не хочешь со мной свиней кормить?

А он тихонько пробрался за кустами к калитке и там немного попугал бабушку. Если б было темно, она бы здорово напугалась, а так почти ничего не вышло. И они отправились на скотный.

Матка лежала в хлеву среди присосавшихся поросят. Когда она поднялась, с нее закапали нечистоты, и во все стороны раскатились поросята, но все свиное семейство радостно захрюкало. Она набросилась на еду и вобрала в себя все одним духом, поросята тоже засуетились, но им ничего не досталось. Бабушка с Андерсом пошли дальше, у них были еще дела. Почистить стойла за быками и стельной коровой. Сложить навоз. С навозом летом плохо, весь пропадает зазря на пастбищах. Всего-то на скотном его осталась маленькая лужица, и ее сушило солнце. Стельная корова тяжело заворочалась в стойле, мыча, поглядела на Андерса. Наверху, на насесте, отчаянно закудахтала курица.

— Видно, яйцо снесла, — сказала бабушка. — Поди-ка, Андерс, погляди!

И он стал взбираться вверх по лесенке.

Наверху он сначала замер в полутьме, которая так хорошо пахла сеном. Сено только что привезли и свалили как попало, и все пахло им. Тут было темно, но ничуть не страшно. Свет пробивался в оконце. Андерс подошел к нему, выглянул, потом высунул ноги, поболтал ногами. Яйцо он тотчас нашел, и сразу же увидел еще одно.

— Возьми для мамы, — сказала бабушка.

Хорошо ходить с бабушкой, хлопотать, помогать, а то и словом с ней перекинуться. Бабушка серьезная и все понимает, и она добрая, это сразу видно. В точности как мама. И когда с ней идешь, все так ясно видишь, что ничего уж не испугаешься.

Когда покончили с хлевом, уже пора было идти на выгон доить коров. Вечерело, хоть солнце и припекало еще. На лугу было сыро, пришлось разуться, и Андерс поскакал с кочки на кочку следом за бабушкиными большими ногами в грубых мосягах от деревянных башмаков. Коровы выходили им навстречу и доились покорно, но Андерс все же придерживал им хвосты, чтоб, отбиваясь от докучливых слепней, они не ударили бабушку.

Тут было замечательно, вдоль реки далеко-далеко открывался чудесный, хоть и бедненький, вид. Земля отдыхала, дворы бросали в реку длинные тени. Построек было мало, и все перемежались выгонами, лесистыми холмами, пашнями. Здесь, в ложбине, земля почти не поднималась над руслом, и среди травы, в колдобниках, стояла веселая от солнца вода. Настоящий летний день, такой последнему червяку и то на радость.

Когда возвращались домой с молоком, на востоке загромыхало и стало немного трудней дышать. Дядя, мамин брат, тот, кто вел здешнее хозяйство, как раз пришел из лесу с дровами и заводил в стойло быков. Приятная встреча. Дядя был еще не старым, светлым, голубоглазым, коренастого и сильного сложенья, тяжело работающий человек. Кожа на его ладони была тверда на ощупь, как кора, и у него не хватало пальца: когда-то неудачно выстрелил в честь новобрачных на свадьбе. Ему помогли распрячь быков, отвести в стойла. Дядя сегодня почти не разговаривал, устал, наверное, он и вздыхал глубоко, как вздыхают только после трудной и изнурившей работы.

Потом втроем пошли по саду. Снова громыхнул гром, и стало душно. Непонятно, откуда взялась эта духота в такой день. Отец с дедушкой сидели в зале, и все уже ждали ужина.

Старик развел огонь и поставил на него сковороду со свиной. Потом принес и расставил тарелки и все прочее. Дядя с отцом разговаривали. В кленах засвистел ветер, и тотчас в комнате стало темно. Бабушка поставила сковороду на стол, на две чурки. Свиная шипела и вкусно пахла. Дед встал, громко прочел застольную молитву, и все, будто придавленные тяжестью упавших на них слов, сели и в молчании принялись за еду.

Пока ели, никто не разговаривал. Бабушка села подальше, на другом конце стола, и то и дело вставала, бесшумно шла на кухню и так же бесшумно возвращалась. Вот молния осветила стол. Все вслушались, но раскат грома раздался не сразу.

— И огня не надо, — сказала бабушка.

— Это далеко, — ответил дядя и подложил себе еще свиной.

Дерева снова качнуло, и опять все затихло, так что слышно стало каждый лист. Мальвы забились о стекла, и снова вспыхнуло окно. И сразу же новая вспышка.

— Я, пожалуй, поеду, — сказал отец. — Мне сегодня дежурить.

— Куда же в такую непогодь? — удивилась бабушка.

— Ничего не поделаешь. Как-нибудь доберусь. А вот Андерс пусть тут заночует, — решил он. — Утром мы приедем и тебя заберем.

Андерс не сразу понял, зачем им расставаться. Неужели ему спать тут, одному? Зачем? Ему домой хочется.

Но все решили, что о доме и думать нечего.

Отужинали, и отец распрощался. Он подходил по очереди к каждому, Андерс не спускал с него взгляда. Потом проводил его на крыльцо и там постоял, глядя ему вслед. В саду стало сумрачно и неуютно. Клены посерели, оттого что ветер перевернул им листья. Вот отец исчезает за взгорком. Вот совсем скрылся из глаз! А вдруг Андерсу больше его никогда не увидать?

Тут яркая молния озарила все вокруг — выгоны, вересковые холмы, делянки — земля лежала серо и пусто, небо горело огнем.

Андерс бросился в дом, дверь за ним захлопнуло ветром, он рванул на себя дверь в комнату и успел вбежать туда, бледный от ужаса. И тотчас ударило, загремело со всех сторон, и зазвенели стекла. Дедушка у печи поднял голову, огляделся, посмотрел в окно.

— Люблю слушать гром, — сказал он. — Рука господа чувствуется.

Потом неловко, тяжело встал и пошел за библией.

— Где моя щетка, Стина? — спросил он. Бабушка подала ему круглую самодельную щетку из конского волоса. Он расчесал и убрал волосы, так что они легли по плечам опрятными прядями. Потом отомкнул застешки тяжелой библии, раскрыл ее и стал читать:

«Знаю, господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, господи, но по правде, не во гневе твоём».

Читая, он все больше повышал голос, каждое слово четко и ясно отдавалось в комнате. Бабушка за хлопотами вслушивалась, стесненно вздыхала. Дядя сидел у окна и глядел наружу. Вся зала осветилась вспышкой, и стало отчетливо видно каждый листик за окном, и сразу же загремело. Старик, не шелохнувшись, продолжал чтение.

Бабушка уже убрала посуду и присела на стул, чтоб спокойно послушать. Все сидели не шевелясь. Молнии били в окна, и наконец полил дождь, он хлестал по стеклам, гром гремел не переставая, гроза разбушевалась вовсю.

Андерс не находил себе места, бродил по комнате, скорчась присаживался к ткацкому станку, переходил к столу, потом в угол, к кровати, ведь всюду могла угодить молния. Остальные тихо слушали. Андерс не спускал с дедушки глаз. Морщинистое лицо было спокойно, лоб почти гладкий, но на щеки и у рта легли глубокие борозды — отметины долгой жизни. Дедушка и правда когда-то давно, но, уже войдя в возраст, пожил безоглядно и буйно и себя не жалел, но про это в семье не говорили, и Андерсу ничего о том не было известно. Но в юности своей и позже, стариком, он жил всегда в страхе божьем и по всей строгости веры.

Гроза прошла, уходила все дальше. Дедушка читал. Бабушка слушала, сцепив пальцы, неотрывно глядя на него.

Дождь перестал, только еще шумели деревья. Часы на стене пробили девять раз. Тогда дедушка захлопнул библию и поднял глаза.

— Аминь во имя отца нашего небесного. Аминь.

Андерс встал со стула. Пора в постель. Дядя пожелал всем спокойной ночи и пошел к себе, наверх. Мальчик остался с дедом и бабушкой, старыми-старыми старичками. Как странно — ложиться вместе с ними спать. Они разделись, Андерсу пришлось помочь деду снять брюки с негнувшихся ног. Старик упал на колени под-

ле своей постели и громко прочел вечернюю молитву, поднялся с бабушкиной помощью, и оба улеглись, покрывшись шкурой, не смотря на летнюю пору.

Андерс живо разделся и скользнул в расстеленную для него постель. В огромной кровати оставалось еще много места, одеяло давило на грудь и налезало на лицо.

Он широко открытыми глазами смотрел в темноту, сился уснуть. Темно повсюду: в саду, у реки, на полях, а темней всего тут, а он лежит один со стариками. Он вслушался — ничего не слышно. Видно, спят. Не слышно и кленов, ни шороха, ничего. Но тише всего тут. Только сердце у него колотится.

Он думал про дедушку и бабушку. До чего же они старые. От старости они совсем сморщились. И запах у них старый. Все здесь так пахнет. Солома в постели, чехлы на перинах. Овечья шерсть, грудой сваленная на ткацком станке. Широкие стертые доски пола с черными щербинами. Сажа в открытой печи. Земля, облепившая деревянные башмаки в снях. Все пахнет старым. Все тут старое, старое.

Нет, никак ему не заснуть. Сердце так и бухает. Трудно дышать, одеяло давит на грудь. Как тут жарко...

Тсс... Нет, ничего не слышно.

Почему их совсем не слышно? Что же они не дышат? Сам-то он вон как сопит...

Что-то их правда не слышно. Все тихо. Ни звука.

Неужели не дышат?

Умерли? Наверное, умерли! Ведь они же такие старые, в любую секунду могут умереть. Наверное, они умерли!

Надо встать. В темноте. Они умерли!

Он встает, пробирается по полу к их кровати.

Вытягивает руку... щупает дедушку... морщинистую шею... раскрытый рот...

Нет, оба спокойно и мирно спят.

Он прокрался обратно к своей постели. Усталость одолела его, и он заснул. Иногда беспокойно ворочался, тяжело вздыхал. Ему приснилось, что повсюду темно: в саду, в полях, в лесу, на станции, у папы с мамой — повсюду. И тьма стала большой черной могилой, и там лежат вместе мертвецы и те, кто еще жив. А наверху, в пылающем небе, громовой голос читает непонятные слова о живых и мертвых.

* * *

Однажды осенью двенадцатилетний Андерс отправился к своему камню. Камень этот лежал в лесу. Дул ветер и падал дождь, скупое, по-осеннему. Он держался полотна, так было ближе всего к лесу. День стоял хмурый. На станции Андерс увидел отца, тот ходил от вагона к вагону и что-то записывал, спина у него суту-

лилась и вымокла на дожде. Андерс прошел за вагонами, чтоб отец его не заметил, а то бы непременно стал выпрашивать, куда это он собрался в такую погоду. Вот с ним, по ту сторону вагона, поравнялись отцовские шаги. Сам же Андерс старался ступать совсем неслышно.

Он в общем-то и не собирался сегодня туда. Так как-то само собою получилось. А то бы он и не вспомнил, у него были совсем другие планы. И погода сперва стояла хорошая, а в хорошую погоду к камню он не ходил. Ну а попозже все так одно к одному, он и надумал.

Дождь лил, но Андерс не ускорял шагов. Он брел сосредоточенно, невесело, сунув руки в карманы уже тесной ему курточки с медными блестящими пуговицами. Паровоз менял путь и на ходу обдал Андерса теплом.

Да, утро начиналось ясное, хоть и сырое. Встал Андерс рано, уже в шесть, потому что приехал поезд с матросами, пятьдесят парней везли к пристани. Им полагалось выпить тут кофе, и возле ресторана для них накрыли длинные столы на козлах. Они горланили, орали, набивая рот булочками, кофе дымился, и все прохладное утро пропиталось кофейным запахом. Потом они помахали мальчишке в оконце наверху, по всей видимости, очень довольные стоянкой. И, понюхав табак, снова забрались в вагоны.

Знать бы с вечера, можно бы и не ложиться и все как следует разглядеть. Потом он еще немного поспал и потом пошел в школу. На большой перемене он доучивал уроки и бегал в лавку за керосином для мамы. И ни о каком камне думать не думал. Он и всегда-то о нем вовсе не думал, а после вдруг накатывало. Погода испортилась, закрапал дождь. После школы он еще помогал Густаву таскать садовые стулья из кафе в парке, их убирали на год, до лета, складывали в сарае и запирали. Потом Андерс пошел домой, у кухонной двери постоял и послушал, там тихо разговаривали о чем-то мать и Сигне, не иначе как о том, что он болен и долго не проживет. У него, правда, ничего не болело, но год назад он уже что-то такое однажды подслушал. Потом он уселся у окна и смотрел, как поезда разъезжаются под дождем. И тут-то он понял, что ему необходимо сегодня пойти к камню. Сегодня туда идти трудно. Так значит именно сегодня.

И вот он уже у депо в конце вокзала. Паровоз набирал уголь, жарко дохнул на проходящего Андерса. А дальше плотно пошло по открытому месту, порывами налетал ветер, свистя, завывая. И хлестал дождь. Андерс вобрал голову поглубже в плечи и ежился, когда особенно надсаживался ветер. Ух, ну и погодка. И пускай! Даже лучше! Ведь идя туда, он приносит жертву, так пускай же и чувствуете, что это жертва.

А шушукались они, может, вовсе и не о нем? Тогда о чем же? Ему не раз случалось ошибиться: когда ему чудилось, будто они

шепчутся, они просто сидели рядом и молчали. Но сегодня он точно различил их голоса. Зачем же они понижают голоса, если не о том говорят, что он скоро умрет. Иначе бы громко говорили.

Ветер бушевал над полями, небо тяжело надвинулось, снизилось. В лесу, за деревьями, стало тише, только лило. Капли стекали с коры и падали в мох и чернику, елки низко свесили ветви и не могли поднять, так набрякли они от воды. Андерс, спускаясь с насыпи, все видел очень подробно. На телефонных проводах тоже висели капли, а сами провода бежали совсем в другую сторону, к городу. Он зашагал по шпалам. Просмоленные, они не впитывали влагу, и она пупырышками блестела на них.

Потом он сошел с полотна, спустился с насыпи и углубился в лес. Когда он раздвигал кусты, его обдавало дождем. Хоть еще и не смерклось, тут было сегодня совсем темно. Между двух кочек лежал, всего на несколько дюймов поднимаясь из травы, плоский камень. В камне этом не было ничего примечательного. Странно казалось только то, что камень лежит в таком странном месте, один-одинешенек на мшистой топи. Андерс осторожно огляделся, посмотрел в сторону полотна, хотя ясно было, что никто оттуда появиться не может. А потом он стал на колени подле камня и начал молиться.

Тишина была мертвая, только падали капли. Андерс не нарушал тишины, он молился совсем тихо. Но лицо у него разгорелось. Чуть подальше начиналась плоская поляна и посреди нее росла увечная, кривая сосна повыше человеческого роста. На эту сосну неотрывно смотрел Андерс, хоть она никакого отношения не имела к его молитве. Молился он, конечно, не ей. Нет, он молился тому же самому богу, какому всегда молились и все его домашние. Только тут, на этом месте, бог делался его собственным, он его чувствовал, почему — он и сам не мог бы объяснить. Не то чтобы ему когда приходило желание помолиться на лоне природы. От таких соображений он был далек. И все же. Дома у него просто не выходило ничего из молитв, ничего не получалось, не получалась та уверенность, та сила, которая одна только и дает надежду быть услышанным. Чтобы тебя услышали, многое нужно. По тому же самому не было смысла приходить сюда в ясную погоду, когда одно удовольствие прогуляться. Он и не приходил. Да, все так непонятно, так запутано, и отчего это вдруг ни с того ни с сего накатывало желание идти сюда, и мучило, пока он ему не подчинялся. И еще непременно, чтобы трудно идти, иначе ничего не получалось.

У него были свои заботы. Свой тесный мир нерушимых предписаний и представлений. Он ходил словно ошупью среди бела дня, пробирался и падал. Что уж тут поделаешь? Так оно было.

Щеки у него все больше разгорались. Он лежал, больно сцепив пальцы. А молился он всего-навсего об одном:

Только б не умереть, и чтоб никто из моих не умирал, никто! Ни папа, ни мама, ни братья, ни сестры (каждый по имени), ни бабушка с дедушкой! Пусть все живут, все! Пусть никто не умирает! Пусть все остается как есть. Только б ничего не менялось!

Вся его жажда жизни сосредоточилась на том, чтобы жизнь эта никогда не кончилась. Больше он ничего не вымаливал. Только бы жить. А там будь что будет, неважно, пускай, пускай, что уж тут поделаешь.

Он нарочно налегал на это «будь что будет». Так верней сбудется то, о чем он просит, единственно важное. Он в странной полудремотной сосредоточенности вызывал в уме образ того, о чем просил, и уже почти это видел. Он все просил и просил, чтобы все оставалось по-прежнему, чтобы никогда не кончалось. Пусть будет зима, а потом лето, и опять и опять, и только бы оставаться тут, только б оставаться!

Он взвинчивал себя до восторга, он дрожал и горел, он был сам не свой. В душе у него словно пелся гимн жизни, необычный гимн, без торжества, просто отчаянное перечисление всего, всего. И все-таки настоящий гимн.

А дождь все падал, и ударял по мху, и хлестал по дереву, на которое он смотрел. Ио в том местечке, где молился Андерс, было тихо и пасмурно, как поздним вечером. И от этой хмурой тишины было так хорошо, что лучше не надо. Он замер. Только у него отчаянно горело лицо, и он изо всей силы сжимал руки.

Помолившись, он проворно вскочил на ноги. Словно радуясь, что трудное дело позади, вытер мокрые коленки.

Прыгнул на кочку, потом на другую. Сегодня такая мокреть! Только по кочкам и пробираться. Ельник набух дождем, дождь блестел в хвое бусинами. Ольшаник вытянул тонкие, пустые ветки. Тут, в укромном уголке, на березах еще уцелели листья, они обратили деревья в большие желтые костры и искрами догорали на мхе и вереске.

Какое счастье жить, просто жить, хоть недолго. Конечно, он не умрет сразу, сегодня, и завтра он не умрет. Ведь он так молил, так просил! Березы, брусничник, цветики вереска — все кивали ему: здравствуй, малыш, спасибо, что пришел, что живешь на свете.

Он, как воробышек, прыгал с кочки на кочку. Задрал голову, всмотрелся, вслушался. Не белка ли промелькнула? Взял еловую лапу, отряхнул с нее дождь на бруснику, обрызгал кустики морошки, надо бы ее как-нибудь пособирать.

И он снова вскарабкался на насыпь.

Он ускорил шаги. Каплям на проводах теперь было с ним по пути, они тоже бежали домой. Он разглядывал верхушки деревьев, тучи в небе. Уже заметно прояснилось, в лесу ворковали голуби, им подпевали другие птицы.

Он вытянул руку. Дождь перестал. Небо лежало косматое, сквозное. Воробьи на деревьях стряхивали с перышек дождь.

Как все меняется, не уследишь, и никакого ни в чем порядка, все идет как попало. Зачем же просить чего-то, чего-то желать? Только бы жить, быть, а больше ничего и не надо.

Он шел и шел. Вот уже и лес кончился, вот уже и погребя, где держат порох и динамит, ну и грохоту будет, если все это взлетит на воздух! Теперь полотно бежало полями, но уже не так отчаянно дуло, и с насыпи было видно далеко-далеко. Вот уже и депо, и наконец-то вокзал. Паровозы меняли пути, пыхтели, дымили, два маленьких, узкоколейных свистели жалобно, как птенчики, формируя состав вечернего поезда, а большой, настоящий важно выпускал в небо серое облако. Проводники висели на подножках багажных вагонов и размахивали руками. Один паровоз тащил за собой пять вагонов с брусникой, другой, запыхавшись, тянул длинную вереницу платформ с ревущей скотиной. Он пробирался между вагонами, шел по шпалам, кивал кочегарам и машинистам, проводникам, контролерам, с фонарями спешащим к вагонам, думал обо всем сразу, очень было весело!

И с чего это он взял насчет смерти? Не умрет он вовсе! Почему именно он? Когда-нибудь, не скоро... Но ведь когда-нибудь и все умрут. А там, глядишь, и обойдется.

На этот раз совсем отпустило, на сердце стало легко. Наконец-то он дома.

По перрону прогуливались люди с чемоданами, сбегались женщины в страхе не опоздать на поезд. Ульсон прозвонил первый звонок, Карлссон вывез багажную тележку, он кричал, чтоб посторонились, дали ему пройти, кочегар зажег фонари на паровозе — все готовилось к отходу поезда.

Он поднялся по ступенькам, мимо ресторана, домой. В кафе третьего класса орали проворонившие поезд двое пьяных. А на дворе, среди сараев, стояла тишина. Андерс поднялся наверх, пробрался по темному коридору. У дверей кухни он замер и прислушался — нет, никто не шепчется. Он повесил курточку в темном коридоре, она вся промокла, а сам проскользнул на кухню.

Там была мать, она собирала ужин. Они поговорили. Она, видно, думала, что он был в парке. А ему было радостно, весело и он без умолку болтал об утрешних матросах. Мать, как всегда окруженная снопом света, была тиха и спокойна. Но она показала ему сегодня какой-то особенно серьезной.

Потом пришел отец, пришли все, сели за стол и поужинали. Зажгли большую лампу в зале, и отец с матерью сели к столу и почти шепотом, едва слышно читали молитву, пока сестры расстилали постели. Он сидел, сжавшись в комочек, у окна. Снова зарядил дождь, в темноте ударяя по стеклам. Вот просвистел последний состав и скрылся, сверкнув фонарем на заднем вагоне.

А тут, дома, все было тихо. Только вдруг вздохнет мать, и дрогнут у нее губы. И так страшно за нее делается, так жалко ее, так хочется прийти на помощь.

Бедные домашние, как им тяжело.

* * *

Как-то утром ведро с молоком приехало не само по себе. Из поезда вышла, неся его в руке, бабушка, одетая не по-будничному, в нарядном платке. Она перешла пути, осторожно оглядываясь, и пошла в сторону ресторана, где окна облепили девушки, высматривавшие гостей. Всем встречным она кланялась. Здесь, в городе, она казалась очень маленькой. Одежда на ней была черная, посветлевшая по швам, но не от носки, а от старости. Юбка длинная, до пят, и такая плотная, что почти не колыхалась при ходьбе. Платок черного шелка в набивных розах подарили бабушке еще к свадьбе. Под этим платком почти спряталось бабушкино лицо, бахрома падала по плечам, только над узлом резко выдавался старушечий подбородок. Вместо пальто на бабушке была накутана и завязана сзади темная шаль. Стоял зимний ясный день, приморозило, и идти было скользко. Бабушка ступала не по годам легко, только шаль немного стесняла ее. Она поглядела на башенки, на зубцы, на заснеженные ниши и балконы: нет, в оконцах над кафе третьего класса — никого. Ее не ждали. У ворот стоял сугроб, его намело ночью. Бабушка с трудом через него перебралась. Во дворе, где пахло пивом, она поклонилась хозяину кафе и Густаву, которые расчищали снег, вошла в дверь и поднялась наверх, к своим. На ее стук из кухни выскочили дети. Они уже причесывались, собираясь в школу. Мать варила кашу. Никто и думать не думал, что она приедет!

— Господь с вами, деточки мои, — сказала она и устало опустилась на табуретку. — Я вам молока привезла. Как раз вовремя поспела, я смотрю, у вас и каша на огне.

Мать помогла ей размотать шаль, и бабушка в узком шерстяном жакете оказалась совсем маленькой. Косынку она тоже сняла, и ее тонкие белые волосы блестели, и блестели добрые глаза, глубоко запавшие, как часто бывают глаза у стариков.

Оказалось, что все им кланяются, что, слава богу, все благополучны. У дяди Эмиля с дровами хлопот много, совсем умаялся, бедный, на быках да на быках, без лошади плохо. Дедушка жив-здоров. Коровы доятся хорошо, корму пока хватает. Словом, грех жаловаться. На будущей неделе собралось зарезать поросенка, да уж про это писали с позавчерашним молоком.

Но почему же бабушка приехала в город, а их не предупредила?

Да послали ее, чуть не силком послали. Она не хотела, зачем? Так, последнее время все неможется ей, пустяки, должно быть,

а вот им вздумалось, что надо ей к доктору пойти. Да, чуть не силком послали.

Мать села рядом с бабушкой, взяла ее за руку. Все притихли. Все смотрели на бабушку. Она была вроде такая, как всегда. Или немного похудела? Да нет, она и всегда была худая. Глаза уж очень запали. Но у старых это часто. Нет, она такая, как всегда.

А мать все трогала ее, расспрашивала, где у нее болит.

Да просто неможется что-то, работа из рук валится, видно, утомилась. А болей никаких у нее нету, пустяки все, так чуть поноет и отпустит. Вот послали ее зачем-то. Может, какое лекарство и поможет.

Она сложила руки и разглядывала детей, и улыбалась, правда, может, не совсем так, как прежде. Мать, затихнув, сидела рядом и не отрывала от нее глаз. Они были как две сестры — так похожи. Обе бело-бледные, и те же у обеих редкие волосы, и в чертах те же нежность и тишина. И ростом они были одинаковые, обе маленькие и крепкие. Мать только слегка поглаживала бабушкину руку, не давала себе воли при детях.

— Бабушка ведь уже старая, — говорила мать, — скоро ей семьдесят восемь, ясно, года уже не те. Конечно, надо пойти к доктору, как только он примет. И все обойдется.

— Все в воле божьей, — сказала бабушка.

Дети переводили взгляды с одной на другую, недоуменно, молча. Какая мама грустная... Андерс, с совершенно белым лицом, забился в угол и оттуда пожирал бабушку глазами, словно хотел заглянуть ей внутрь. Больше почти не разговаривали, девочки принялись хлопотать на кухне, поставили кашу и тарелки для обоих младших, которым пора было уходить. Андерсу пришлось сесть за стол, но еда застревала в горле. Он сказал «до свиданья» и бросился к дверям, длинно поглядев на бабушку.

По дороге в школу они с сестрой вывалились в снег. Морозило, и тишина стояла мертвая, город как уснул, от ступенек не бежали следы, как будто в домах и не живет никто. Они пробирались по снегу друг за дружкой и молчали.

Вот пробили часы. Андерс съежился — неужели в церкви колокола звонят? Но часы вызвонили всего один удар.

Уже с других улиц слышны крики, оттуда группками бегут ребята, толкаются, бросаются снежками. Возле церковного двора каждый находит себе под снегом ледяную дорожку, раскатываются, шлепаются, снова вскакивают. Андерс с сестрой тоже прокапались, но без разбега, им сегодня не до того. Перед большой переменной было два урока. Андерс старался следить за чтением, запоминать, быть со всеми вместе. Но без толку. Он слушал изо всех сил, а думал только о том, что вот он сидит и слушает — и ничего из этого не выходило.

О чем они толкуют — слова же только шлепаются об стенки, и отлетают, и ничего не значат.

Ну вот, о боге заговорили — мало, что дома, здесь тоже, везде! Да зачем? Слова и слова! Что от них, легче, что ли?

Не надо ему никакого бога. Хватит. Он и никогда-то про него не понимал. И на что ему?

Вот убежать бы сейчас в лес! Отпустили бы его туда, и он пустился бы что есть духу, летел бы, гнался, только бы поспеть вовремя, и, запыхавшись, валясь с ног, примчался бы он к камню...

Отпустили бы его, сказать бы им, что ему надо, непременно, обязательно надо бежать туда, скорей, скорей...

Да нет, разве они поймут? И как бы он сказал? «Мне надо бежать в лес?» Кто же поймет такое? Что ему надо упасть на колени и от всей души, изо всех сил умолять, просить у камня милости... просить, чтобы все были живы, чтоб никто не умирал!

Он уже не понимал, что делается вокруг. Не заметил, как прозвонили перемену, как снова начался урок, вошел новый учитель, и стал говорить совсем про другое...

До чего же много они говорят. Как будто нарочно не хотят думать про самое главное. Про то, что все люди умрут, умрут...

Вот опять прозвенел звонок, и, весело перекрикиваясь, тузя друг друга, детвора бросилась в коридоры. Во дворе бросались Снежками друг другу в головы — напоследок, перед завтраком.

Андерс с сестрой шли домой молча. Они не знали, спешить им или замедлять шаги. Под конец пустились почти бегом.

Но бабушка еще не вернулась от доктора. Все ждали маму с бабушкой.

Андерс съезжился у окна, сидел как на иголках. Сердце кололо, и веки горели, как бывает при высокой температуре.

Наконец они показались в воротах. Они шли очень спокойно и тихо. Они были как две старушки, обе в платочках, только мать была в пальто. Поклонились дежурному по вокзалу, кухарке, выглянувшей из ресторанного окна, потом скрылись в дверях.

Вошли в комнату, дети бросились к ним, они сели и стали рассказывать.

С бабушкой ничего не поделаешь. Поздно спохватились. Доктор долго ее осматривал, такой добрый, внимательный. Только сделать ничего уже нельзя. У нее рак, и запущенный.

— Да, да, — кивала бабушка. — На все божья воля.

Рассказывала больше мать, не она. Бабушка лишь иногда вставляла несколько слов.

Даже удивительно, рассказывала бабушка, какой он чудесный, какой внимательный. Говорили про него, будто он такой строгий, что к нему даже ходить бояться. А с нею он как с малым ребенком разговаривал. И денег с нее не взял, сказал, что ей это

не по карману. Вот какой добрый. А вообще-то он дорого берет, он такой ученый. Да, очень, очень хороший человек.

Дети, всхлипывая, сбились в кучку. Сзади, отдельно, стоял Андерс и бледный как смерть, застыв, смотрел, смотрел на старушку. Они с матерью сели у окна в ледяных узорах, и, глядя на них, казалось, будто не страшно ничего ужасного. Мать еще больше просветлела лицом и словно унеслась душой далеко куда-то. Только все время гладила бабушку по руке, ухаживала за ней, поправляла на ней косынку, расправляла складки на юбке. Что-то изменилось — бабушка стала теперь как ребенок, над которым хлопочет заботливая мать. Старушка казалась озадаченной и переконфуженной тем, что с нею произошло, и ее даже больше, чем главное, занимали иные пустячные мелочи. Она разглаживала на коленях косынку, подаренную к свадьбе, косынку в набивных розах. Потом, видно, решила, что детям хочется знать, сколько ей осталось еще быть с ними. И сказала, что спрашивала доктора, сама узнать хотела, надо же быть готовой, когда пробьет ее час. Но тот отвернулся и ответил, что ничего про это не знает. И ей стало совестно.

— Да, — говорю я доктору, — кто же про это знает...

Под окнами просвистел паровоз, настала та пора дня, когда сразу много поездов меняют пути. Дым мазнул по оконным стеклам, и узоры подтаяли. Мать сказала, что пора выпить по чашечке кофе.

— Да, хорошо бы, — сказала бабушка. Девочки бросились его варить.

Все сели к столу и стали пить кофе. Говорили мало. Дети вздыхали, уткнувшись в свои чашки, а то украдкой вынимали платки и всхлипывали. Андерс от кофе отказался, весь белый, он бродил по половичкам, от стола к окну, от окна к дверям. Глаза у него были совершенно сухие. Бабушка поймала его угасший взгляд, и кивнула ему, и чуть заметно улыбнулась. У него лицо даже не дрогнуло, но ее взгляда он вынести не мог.

Выпили кофе, и бабушка поднялась.

— Ну, мне пора домой. Вы уж, милые, к нам приезжайте.

Больше дети не могли сдерживаться. У матери тоже на глаза выступили слезы, но она удержалась, не расплакалась.

— Да, мамочка, — говорила она. — Мы теперь часто будем навещать вас, гораздо чаще.

— Вот и хорошо, что нас, стариков, не забываете.

Впервые к ним вплотную подобралась смерть, вошла в дом. Они чувствовали свою нерасторжимость, и не могли постичь, как кого-то заберут у них, отнимут навсегда. Вся горячая сила любви теперь выплеснулась наружу, заставив их еще острее понять, что все они — одно. И от этого было легче.

Только Андерс стоял вонне этого горячего, всех пронизавшего потока. Он проскользнул в другую комнату и оттуда смотрел

на них сухими глазами. Дети трогали, оглаживали бабушку. Все, кроме него. Как будто он ее меньше любит!

— У меня еще в городе дел полно, — говорила бабушка, пока на ней завязывали сзади платок.

Ей надо было в скобяную лавку какие-то гайки купить для соломорезки. А еще Эмиль просил четвертушку табака взять у Лундгрена, он говорит, лучше этого табаку нет. Потом еще полкило кофе надо им повезти, а то на будущей неделе поросенка резать будут.

Мать взяла с нее слово, что, когда будут резать поросенка, она останется в доме, шутка ли, какой холод.

— А как же, — сказала бабушка. — Обойдутся там без меня. Много ли от меня проку. Прямо и не знаю, — сказала она уже в дверях, — как они справляться будут, когда меня не станет. Чужие руки-то больно дороги.

Она завязала косынку, поправила ее на голове.

— Ну ладно, пойду я. Спасибо вам, милые.

И она ушла, унося молочное ведро.

* * *

Бабушка прожила еще год. Летом она помогала косить, помогала немного, когда жали рожь, а потом слегла. Они часто к ней заезжали, ненадолго, только взглянуть, как она, поздороваться. Андерс не ездил. Он ссылался то на одно, то на другое, и его почти всегда оставляли дома. Иногда он все же ездил. Когда подходили ко двору, он бледнел. Когда входили к бабушке, он через силу протягивал ей руку. Смотреть на нее он не мог, во всяком случае, не мог смотреть ей в глаза. Остальные держались как обычно, вели себя так, будто ничего не случилось, только старались быть с ней предупредительней. Для него же она уже преобразилась, уже как умерла. Иногда она внимательно на него глядела. Уж верно думала, что он, оказывается, не так-то сильно к ней привязан.

При первой же возможности он выскальзывал за дверь. И топтал садовые тропки. Цветы не пахли, не пах ни один из бабушкиных цветов. Он брел вдоль кустов смородины и вспоминал, как он укрывался в них от солнцепека, а она выходила на крыльцо. Заглядывал в шалаш, где она, бывало, лущила горох — как там теперь темно и пусто... Все переменилось, все стало другое. Солнце светило, как всегда светит. Но все тут меченое. Ненастоящее.

Он перебирался через кусты боярышника и смотрел вокруг. Все пусто Широко разбросались пашни, загоны, опоясанные частоколами. Но все пусто. А по сырым лугам будто рукой кто провёл и все стер, ничего не оставил. Все тут меченое. Ненастоящее.

Кто-нибудь выходил, звал его. Он прятался за живой изгородью.

Потом он пробирался на скотный, в шелку глядел на пустые стойла, там она доила коров. Сладко и тепло пахло молоком зимой, как войдешь с мороза... Подсунув ведро корове под вымя, она из-за пенья струи не слышала, когда он входил...

Обойдя скотный, он выходил на выгон, обросший по краям рябиной и можжевельными кустами. Обходил вокруг двора и заглядывал в окно той комнаты, где сидела она вместе со всеми.

Потом наступала пора ехать. Он входил и прощался с нею, как все. Она опять внимательно глядела на него. Уж верно думала, что он любит ее меньше, чем Другие.

Всякий раз это было такое мученье.

Особенно один день ему запомнился. Как-то летом он поехал туда с матерью. Когда еще шли по дороге, они увидели ее, она копала на огороде картошку. Немного, только в миску, к обеду. Она стояла на коленях, потому что не могла нагнуться, мешала боль. Накопав полную миску, она хотела подняться и не смогла, они с матерью бросились ей на помощь. Она сначала все шаталась, все клонилась, вот-вот снова упадет, и глаза у нее остекленели, как будто ничего не видели. Он весь затрясся, сам чуть не упал, ему было так трудно ее удерживать. А мать отряхнула с нее комья земли и ввела в дом.

И тогда-то он бросился прочь, выбежал на крыльцо, расплакался. Единственный раз, когда он мог выплакаться.

Какая-то жестокость была в этом ужасе перед смертью. И все перекрывалось ужасом. Он даже не испытывал к бабушке жалости. Каждый день, с утра до вечера, он неотступно видел ее перед собой. Но думал он не о ней, а только о том, что ей предстоит. О том, как это страшно — человек еще жив, но умирает, скоро умрет. А о ней самой как будто даже забывалось. Ее он вспоминал всегда прежней, еще живой, еще не обреченной. Теперь ее буд-то и не было, она где-то далеко. Можно только вспоминать.

Какая-то жестокость была в этой безумной приверженности жизни — что-то неестественное, нежизненное.

Зимой, когда уже слегла, бабушка стала медленно таять. Она постепенно от них отдалялась, уходила, уже плохо их видела и не все понимала, когда с ней заговаривали. Она уже не понимала, как идет хозяйство, иногда вдруг принималась расспрашивать, разузнавать, а когда ей отвечали, как будто и не слышала. Как-то вечером вдруг спросила, в какой ее комнате положили. Ей ответили, что в маленькой, а она удивилась, ей показалось, что комната такая большая.

Обо всем этом было написано в записках, сопровождавших молоко. Каждое утро приходило несколько строчек с хутора. Зима стала холодная и бумага намерзала, мать долго дышала на нее, прежде чем развернуть.

Мать все чаще туда ездила, а потом осталась. Вместе с дедушкой они ходили за умирающей. Он садился у окна и читал Библию. Она кормила больную, бесшумно выходила за дверь, снова входила, склонялась над больной, вслушивалась в ее шепот. Дедушка уже не мог его слышать. А она шептала, что хочет послушать, как он читает. И он тотчас садился у окна с Библией. Снег намело к окнам сугробами, а кое-где осталась голая земля, и много деревьев в саду в эту зиму побило морозом.

Потом все дети поехали к ней прощаться, но она не узнала их. Через несколько дней мать прислала с молоком записку, что все кончено.

Андерс почувствовал почти облегчение. Братья и сестры весь день только и говорили, что о бабушке, какая она была — особенно давным-давно, что говорила, в какую рань вставала по утрам, как растила цветы, какие у нее были пионы, о том, как еще девочкой она заблудилась в лесу, — обо всем. Андерс жадно слушал, говорил сам. О, он тоже помнил, чего только он не помнил! Он рассказывал, вспоминал, и, где бы ни шел разговор о бабушке — он был тут как тут. Щеки у него горели, глаза сияли...

Она ведь как будто снова ожила!

Мама вернулась домой кое-что сшить, собрать детей к похоронам. Девочкам, обоим мальчикам — всем хватало работы. Андерсу было конfirmоваться в тот год, ему сшили все черное раньше, чем сверстникам. Никогда еще он не ходил в черном. Шутка ли — все смотрели на него, на траурный креп на шапке. А уж когда выходили семьей, вместе с мамой, с ног до головы в черном — на них оглядывались и кланялись с ними как-то особенно. Андерсу делалось очень неловко: будто он не такой, как люди. В воскресенье поднялись рано, поехали на похороны. Снег у калитки устлал еловыми ветками. Сады дрогли на холоде, но в доме было тепло. Кое-кто уже пришел, больше старики, гревшие руки у открытой печи, где потрескивали еловые дрова, плюясь искрами на пол. Пол вымыли, и все осторожно ступали по половикам, здоровались шепотом, мяли в руках носовые платки. Когда приехали из города близкие, мать, отец, дети — в комнатах сделалось совсем тихо. Старики подолгу задерживали в руках их руки. Почти не разговаривали. Посреди комнаты стал рыжебородый мальчик, недавно обосновавшийся в этих краях, так тот говорил громко.

Приходили, приходили. К скотному подкатывали сани, и в дом заходили закутанные в шали женщины. Все шли и шли, больше старые. У кого не было саней, ковыляли по дорожкам. У самих хозяев тоже коней не было, их заняли на похороны. Входили, входили рослые тощие крестьянки, беззубые, сутулые, в пропахших нафталином черных платьях, и мужики с соседних дворов в мешковатых черных парях. Набился полный дом, даже и на чердаке,

расчистив пол от лука и яблок, толпился народ, и внизу отдавались шаги.

Наконец отворили двери в боковой покойчик, и по всему дому как ледяным ветром подуло. Все пошли туда. Пахло свежесмытым полом, он не просыхал на холоду, разбросанные по нему еловые ветки мокро пахли почти не подтаявшим снегом. Все хотели взглянуть на нее в последний раз, проститься. Старушки, трясшие головами от старости, знавшие ее сколько себя помнили, молодницы, помнившие ее только такой, какая лежала она сейчас, седой и серой, старики, отплясывавшие с нею еще с девушкой, работники с Большгорда и Ютаргорда, заглядывавшие к Эмилю пролотить чашку кофе или пропустить стопочку. Андерс держался сзади. Он заглядывал из-за спин стоявших ближе, и, когда кто-нибудь отодвигался, он видел лоб и редкие волосы, а когда увидел отвалившуюся челюсть и незакрытый рот, его передернуло, он забился за чужие спины и уже ничего не хотел видеть. Но Хельге, старший брат, не отходя стоял подле бабушки. Он любил ее больше всех из детей, чаще всех к ней ездил, и его не пугало, что она мертвая, это не отталкивало его. Он, бывало, помогал ей косить и пасти скотину, он полон с ней репу, лушил горох, удил для нее в реке окуней и плотву, он по утрам проверял сети и приносил угрей ей к завтраку. Он был чуть ли не больше деревенский, чем городской, и никто так, как он, не пошел в деревенскую родню. Он стоял рядом с нею и тихонько плакал, потому что он любил ее.

Когда стали закрывать гроб, Андерс метнулся было к бабушке. Вышла заминка, подождали, пока дедушка погладит покойницу по щеке. Долго, ужасно долго закрывали гроб. Когда его, наконец, закрыли, Андерс почувствовал, как ужасно, что он, единственный из всех, не простился с бабушкой. Но было уже поздно, и он успокоился и с облегчением смог наконец расплакаться, как все.

Якоб с Крестов, почтенный сутулый старик со снежно-белой головой, затянул псалом. Голос был надтреснутый, но не дрожал, он с незапамятных времен был церковным старостой и уже много лет пел по покойникам.

Потом гроб вынесли.

Лошади рвались, дергая сани. Возницы в мохнатых шапках кричали на них, удерживали за уздцы. Гроб поставили на передние сани, правил работник с Ютаргорда, лошадь взяли у них. В хлеву мычали коровы, куры совались прямо под оглобли и подбিরали овес. Все готово, пора трогать.

У калитки стоял дедушка, он был совсем плох и не мог поехать со всеми. Он все повторял:

— Ничего, теперь уж и мне недолго.

Он махал и махал им вслед, пока не скрылся из виду.

Дорога в церковь шла рекой, по краям замерзшей. И луга за-

мерзли. Дворы глядели голо, как бывает только зимой, когда нет зелени, к которой за лето успел привыкнуть глаз. Они будто опустели. Да ведь почти все и поехали хоронить, и сидели на саях, выстроившихся долгим рядом, словно один большущий, неповоротливый, тяжкий воз. Полозья гремели, вдруг врезаясь в голую землю, и тогда сидевших в саях встряхивало и они озирались. На передних саях рядом с работником качались скудные, из города привезенные цветы.

Завидя их, в церкви стали звонить, и колокольный звон расплывался по-над всей округой, над пустошами, над поселками, и дальше, дальше, до самых лесов. И где бы ни услышали звон, мужики по обычаю снимали шапки, а женщины крестились. В самом дальнем краю мелкими деревушками разбросанного прихода у окна сидела старуха, закутанная в платок, потому что окно было открыто. Она была старше всех в здешних краях, сутулая, скрюченная, много лет уже не выходила за порог. Однако волосы ее остались черны, как смоль, а карие глаза блестели. Это была бабушка, отцова мать. Может, в жилах ее текла валонская кровь, а может быть, и нет, но какая-то примесь была, потому что в здешних краях люди не такие смуглые. И что-то еще отличало ее от местных женщин, может быть, то, что девочкой она готовилась к конфирмации вместе с помещичьими барышнями. А сейчас она села с библией на коленях у открытого окна послушать, как звонят по старой Стине, и когда до нее донесся первый удар, она высунулась наружу и так всплеснула руками, что воробьи, пристроившиеся рядом в стогу, перепуганно разлетелись кто куда.

Церковь стояла на взгорке, небольшом, как и все холмики в округе. Сани оставили у изволока и на руках понесли гроб. Колокола гремели прямо над головой, между могил стояли готовые к конфирмации бледные мальчики и девочки и, ухвативши друг дружку за руки, смотрели на гроб.

Отпевали в церкви. Андерс знал — сейчас будет самое страшное. Вступил орган, и сейчас — он знал — начнут петь самый страшный псалом, самые ужасные слова, ужасней не бывает. Он весь сжался и уставился прямо перед собой. Но все запели как в странном восторге, на хорах звенели детские голоса, пели все, и орган гремел под сводами.

«Ко смерти весь мой путь земной...»

Как будто и нет никакой жизни, и не нужна она! Они всю душу вкладывали в эти слова, будто самые насущные и важные.

А пастор читал:

«Из земли ты вышел. Землею станешь...»

Скорей бы уж кончили, скорей бы! Долгий праздник в честь смерти — ведь это ужасно.

И вот пошли к могиле!

Весь причет, все, кто был в церкви, пошли за ними. Свежевырытая могила черно зияла издали, рядом громоздился холм нары-

той земли, пришлось поработать ломом, все промерзло на три фута. Все встали в кружок, и слышно было, как бабушку опускают в яму.

Оказалось, что это не так ужасно, как думал он. На вольном воздухе все всегда не так ужасно. Дул и насквозь пробирал холодный ветер. В галоши набился снег. Ребята, товарищи по играм, не отрываясь, смотрели на него. Тут не было спертой духоты и скованности. Бросив на могилу цветы, он с облегчением разрыдался.

А потом пошли к обедне и отстояли ее.

И поехали домой тем же длинным обозом. Намело снега, и сани шли теперь легче, лошади бежали весело, и обратная дорога вышла недолгой. На крыльце их встречал дедушка. Он сперва поглядел на сани, теперь последние в ряду и пустые. Мать ему рассказала все про похороны, все, от начала до конца. Он спросил, как дорога, она было забыла об этом упомянуть.

Обед уже дожидался их, два углом составленных стола ломились от снеди, а из кухонной двери валил вкусный пар. Женщины поглядывали на столы, мужчины потирали руки с холода и в предвкушении выпивки.

Как присели к столу, так и засиделись до самой темноты. Обносили блюда немудреные, но обильные. Полагалось отведать каждого понемножку, хоть многие яства почти не отличались одно от другого. Мужчины пили. В начале трапезы за столом царил дух торжественности. Но скоро языки развязались, переговаривались уже через стол, громко кричали, тянулись друг к другу стаканами. Стулья, принесенные от соседей, сдвинули тесно, ближе к двери приспособили простую доску и еще внесли скамью из беседки. Когда кому-нибудь из мужчин надобилось выйти, вставали сразу чуть ли не все, и женщины, сами не выходявшие из-за стола, добродушно ворчали. Нарастал общий шум, теплей делалось в комнате и на душе. В печи потрескивал огонь, и лица вспотели.

Стало весело. Болтали. Уже старались друг перед другом записные остроловы. Их слушали охотно, женщины внимательно склоняли головы набок. Прочие же вели серьезный разговор про стельных коров, суперфосфаты и дренаж. При этом каждый надсаживался так, чтобы все во что бы то ни стало услышали его мнение.

Был тут Масса-Яне, крошечного роста портной, здешний уроженец, обшивавший всех в округе. Снимая мерку, ему приходилось взбираться на скамеечку, и это так обижало его, что он сделался зол на язык. Был тут и мельник, единственный на похоронах толстяк, не вмещавшийся необъемным задом на стуле. Андерс сидел с ним рядом и подглядел, что волоски, торчавшие у него из ушей, были все в муке. А у дверей на садовой скамейке сгорбился Петер с Выселок, тощий безземельный мужичишка.

За все время трапезы он не проронил ни слова и сидел, склонивши патлатую голову над тарелкой. Говорили, что он по несколько дней куска в рот не берет, дожидаясь, пока его позовут в гости. Иногда, правда, его подолгу никто не зовет, и приходится ему тогда разговляться у себя дома. А если зайдешь к нему, он выставляет сухой хлеб и печеную картошку. Правда же была та, что Петер бедствовал и редко когда наедался досыта. Об этом, однако, говорить не любили и старались все перевести в шутку. Он забился в самый дальний угол, сознавая свое скромное положение, отчасти же потому, что там было темно, и никто не видел, как он то и дело наполняет тарелку.

К пяти, когда покончили с мясным, стали разносить сладкое. Пошли в ход и самые разные, гостями принесенные сыры. Они мало чем различались, но каждая хозяйка узнавала свой и потчевала соседок. Все покрякивали от сытости и довольства, угощались и Петер с Выселок, скромно поглядывая из своего закутка.

Андерсу очень нравилось, что тут так тепло и шумно, и что все болтают и сделались на себя непохожи. Стало уютно. Потрескивал огонь, жар убаюкивал. Андерс сидел у стены. Сзади были окна, черные как сажа, а в комнате свету хватало. Посреди длинного стола горела керосиновая лампа, с краю другая, а у самых дверей поставили еще свечу. На почетном месте рядом с пастором сидела мать, совсем бледная и тихая. Она, кажется, ни с кем словом не обмолвилась.

Трапеза шла к концу. В заключение подали торт из города, украшенный черным и белым кремом, с большим черным крестом посерединке. Когда торт приблизился к Андерсу, его передернуло, и он не взял предложенного куска, хоть понимал, что в жизни ему не отведать такой вкусноты. Мельник же взял себе большой ломоть и с аппетитом умял перекладину черного креста.

Наконец пастор прочитал молитву и стали выходить из-за стола.

Распахнули двери, все разбрелись по дому. В сенях было повешено столько пальто и тулупов, словно тут собрался весь приход, и от них пахло скотным двором и сеном. А в комнатах наверху было пусто, и после натопленного помещения казалось прохладно. Тут еще витал смутный запах лука и яблок, за зеркалом торчал пучок лаванды, бабушка пользовалась ею, когда ходила в церковь. Сюда и подали кофе, женщинам — с печеньями, мужчинам — с коньяком, и скоро здесь сталолюдно, тепло и шумно.

Андерс не знал, куда себя девать. Мальчишек его возраста тут не было. Он слонялся без дела, а то подпирал стены. Заглянул было по привычке на кухню, но там все были чужие. Они мыли, перетирали и расставляли горы посуды, тоже чужой, взятой взаймы, с розочкой на каждой тарелке. Делать нечего, он снова поднялся наверх и стал слушать разговоры. Мужчины и женщи-

ны разделились, в комнате у мужчин плавал дым, пили тобби, говорили разом, не слушая и перебивая друг друга. Тут ему понравилось. Но скоро он все-таки опять спустился. У двери на крыльце висела бесхитростная картинка, изображающая дорогу к церкви, дальние дворы, храм на холме, подле него кресты и березки. Но сегодня он на нее и не взглянул. Открыл дверь, вышел на крыльцо.

Тьма была кромешная. Холодно, но тихо, ни ветерка. Несколько мужиков громко, как лошади, мочились на кусты смородины. В темноте они казались огромными. На востоке вывездило, остальное небо плотно затянуло тучами. Мужики ушли в дом, и Андерс остался один в тишине.

Он заглянул в щелку на коровьи стойла, но увидел только неясный свет, весь прошитый паутинками. Вот кто-то вышел оттуда с подойником, в одной руке и фонарем в другой. Женщина пошла по тропке. Свет от фонаря падал на землю и на длинную, бьющую по ногам юбку. Подойдя к светлому шумному дому, она обогнула его и завернула к кухонной двери. И тогда он разглядел, что это старая, совершенно чужая женщина.

На реке трещал лед, Андерс вдруг это услышал и вспомнил, что холодно и что выбежал он за тем же, за чем и те мужики. И он пристроился возле старой знакомой яблони, почти у самого крыльца.

Из дому несся шум голосов. Набилось столько гостей, что казалось, дом вот-вот лопнет. Так могут расходиться лишь люди обычно неразговорчивые. Стоя спиной к дому, Андерс прислушался. К гулу голосов примешался одинокий ровный голос, невозмутимый, ни к кому не обращавшийся, не ждавший ответа.

Андерс обернулся. Совсем низко, рядом, светлело окно, странно тихое, будто за ним, в комнате, никого не было. Это было окно того бокового покойчика.

Оправясь, Андерс заглянул в окно. В комнатухе, на кровати, где умерла бабушка, сидел его дед и читал библию, разложив ее перед собой на овечьей шкуре. На дедушке была надета чистая замашная рубаха. Простыню на постели только сменили, она сияла и лежала гладко, без морщинки. Тщательно расчесанные белые волосы аккуратно падали дедушке на плечи. Сидел он торжественно, как на празднике. Пол устилали еловые ветки, по углам стояли можжевельные кусты.

Андерс надышал на стекло, оно запотело. Он хотел было уйти, но вытер стекло ладонкой и остался. Наст, намерзший поверх сугроба, уже не держал его, и он провалился. Под ногами оказались ветки, прикрывавшие клумбу.

Пришлось подтягиваться, снизу окно заиндевело, и ничего не было видно.

Старик сидел совершенно неподвижно. Наверху говорили, кричали, он не слышал, а может быть, просто не замечал. Читал

громко, всегдашним своим голосом, шевеля беззубым ртом. Андерс разбирает каждое слово.

Наконец он захлопнул библию, покрыл ладонью.

— Аминь. Во имя отца, и сына, и святого духа.

Укладывая книгу на столик перед постелью, он огляделся и опять заговорил:

— Господь наш разбудит тебя в судный день.

Потом дедушка лег и задул свечу, и тьма как проглотила его.

* * *

Андерс вступал в пору юности. Он теперь часто бродил по городу и далеко по округе с друзьями, один. Дома ему стало так тяжело. Общность домашних сковывала, связывала по рукам и ногам. Все тут было единое, неразрывное, ненарушимое. Старая мебель, самый воздух комнат, самый дух, и эти половички, тканые в деревне у бабушки, и те, кто ходит по ним. Стоило отворить дверь, поздороваться — и он оказывался дома, и всегда это бывало одинаково. И так же одинаковы были вечера вокруг лампы, за ужином: невысокое пламя лампы, и хлопоты сестер, и шум поезда за окном — все всегда неизменно, из вечера в вечер. А отец с матерью всегда читали библию серьезными строгими голосами. От этого теснило грудь. Но ведь такой мир был во всем этом, такой покой! Так отчего же теснило грудь?

Все у них было общее, все схожее. Уютная комната, отделенная от всего мира. Заведенный, неизменный порядок. Неизменная жизнь!

Это был род, семья, а ему уже хотелось вырваться, отделиться, оторваться, стать самим собой!

И он начал от них отделяться.

Совершалось это втайне. Никто ничего не замечал. У них у всех в семье редко что выходило наружу, только таилось в глубине и чувствовалось. И Андерс был такой же.

То, что совершалось, было грубо, как роды. И те же, как в родах, страх и муки, и тревога за новую слабенькую жизнь, и за старую. И боль разрешенья от бремени и оттого, что что-то мнется... Зачем?

Звери, чувствуя предродовые схватки, забиваются в свои норы, ищут, где потемней, стонут там, в укромности, в муках перегрызают пуповину. А слепой выводок чувствует впитываемую землей кровь...

Каждый принадлежит роду. Зачем?

Он мучился от того, что совершалось в нем. Прислушивался к малейшей перемене, чтоб ничего не пропустить. Он мучился и наслаждался...

Впервые он понял, как бессвязна, как беспорядочна жизнь. Как неполно и неподлинно живут люди, а им хоть бы что. Жизнь

сама их к этому понуждает и подстраивает так, чтоб еще они же и были довольны. Почва ускользает у них из-под ног — а им хоть бы что. Впервые он огляделся вокруг. Прежде он жил только в себе.

Так начиналась юность, самая страшная пора жизни человеческой. И это самая половинчатая, ненадежная, зыбкая пора. Не понимающий этого изолжестя и предаст самого себя. Детство, зрелость, старость легко прожить правильно и полно. Юность легко делается недостойна подлинного человека. В ней — беспорядочность, безоглядность, безответственность, человека это недостойно. Не потому ли пустые краснобаи так любят кричать о юности? Для них это самая приятная пора: приятно вспомнить, как мало от тебя требовалось и как много давалось. Но для Андерса только началась юность.

Он ускользнул от их бога, украдкой, тайком, никто и не заметил. И сперва он очутился в огромной пустой темноте. Его пробирала дрожь. Он чувствовал пустоту и темноту всем телом. Кругом все пусто. Он знал это давно, знал, пока себя помнил. Но иное дело — наконец ощутить, почувствовать пустоту. И ему сделалось легче под тяжелой ношей осознанной участи.

Только б никто не мешал. На судьбу он не жаловался, судьба казалась ему по плечу. Только б никто не тревожил его, не испугивал темноты.

Но он умрет, умрет скоро. Все это знают. Ведь знают же? У него больные легкие, и скоро он умрет. От него шарахаются, чтоб не заразиться, все шарахаются, даже брат и сестры, хотя и бояться, как бы он не заметил. Как их осторожность ударяет его по сердцу! Зря ведь стараются! Ему хочется взять и крикнуть им это в лицо.

Неужели же он не видит, как они норовят держаться от него подальше. Глаз у него нет, что ли! Неужели они думают, что от него укрылось хоть одно словечко или тон, каким оно выговорено, хоть один взгляд, хоть одна улыбка! Неужели же он не слышит, как они шепчутся на кухне или за закрытой дверью комнаты — и ведь никогда ее прежде не закрывали! Неужели он не понимает, что они принялись заживо его оплакивать... Ведь не укрылось же от него, как тяжело и тревожно стало дома — им тяжело, что среди них обреченный. Он все видит. Все понял. Нетрудно понять.

Только мать была такая же, как всегда, и его не сторонилась. Но ведь она была над болезнью, над смертью. Мать тут не в счет. Она такая добрая. Она боялась, как бы он чего не заметил, старалась, чтобы все было как всегда, чтобы он ни о чем не догадался, чувствовал бы только, как его любят, особенно теперь, как о нем думают — она думала о нем непрестанно, старалась все время быть рядом, словно дни его уже сочтены... Да ведь она же больше всех себя выдавала!

С весны ему начали подавать яйцо ежедневно за завтраком, а другим яйца не полагалось. Каждое утро за столом его встречало напоминание... Как будто он мог забыть... Она присаживалась рядом — а ведь вокруг стола стояло еще столько стульев. Они были вдвоем за завтраком, так отчего же она присаживалась рядом! Она говорила обо всем, кроме того, о чем они оба думали, пыталась его развлечь, развеять его мысли, и так ласково с ним говорила, что у него падало сердце. Ни упрека, ни резкого слова. Вот он теперь не молился перед едой, а она и это ему прощала, не замечала — он не мог вынести ее доброты! О, лучше б ему ее возненавидеть!

Эта атмосфера осторожной нежности и любви была ему несносна. Ни одно грубое дуновение не залетало в эти комнаты. Сидеть в тепле и уюте законопаченного жилья — как это трудно! Как мучительный душный жар, не разгорающийся костром! Как от него саднит в груди! И набожность родителей, их тяжелая, древняя вера — как давила она его, доводила до удушья. Скорее бы вырваться отсюда!..

Нет, новое учение, отмечающее бога и все упования на него, принимающее жизнь во всей ее неприкрашенной обнаженности, ее планомерной бессмыслице, куда больше ему подошло. И ведь это учение истинное. Никакой веры — только брать жизнь, как она есть.

Не все ли ему равно, ведь скоро умирать! Но нет, ему необходимо вырваться! Туда, где воздух разреженной и резче, где ветер бьет в лицо.

Да, хорошо знать, что ничего нет, небеса пусты. Можно привыкнуть к пустоте, и постепенно успокоиться, уgomониться и изжить ужас перед неизбежным...

О нет, к этому не привыкнуть! Но на новое учение он накинулся с жадностью. Оно словно для него было создано. Оно помогло ему, закаляло сердце. И оно объясняло его детство, и почему дышать. Он и раньше догадывался. Теперь он все понял.

Спокойным, счастливым он от этого не стал. Какое уж счастье! Все зыбко, все шатко, все скользит — скользит и он тоже. Ничего нет надежного, точного, постоянного, можно во что угодно уверовать. Лишь пустота неизменна. И ужас не отпускает, грызет, мучает, будто грудь сверлом сверлят...

В минуты усталости он думал, что все равно скоро умирать, и надо сдаться, и незачем тратить силы на попытки высвободиться, вырваться на волю. Не лучше ль обрести вечный покой дома, рядом с матерью — она будет держать его за руку и читать ему псалтырь, ей ведь так этого хочется...

Нет. Нельзя. Надо смотреть правде в глаза. Пусть он скоро умрет, но то, что ему отпущено, надо прожить по-настоящему. А дома душно, дышать нечем. Вырваться бы на волю!

Он понял, что для него это необходимо...

Он чувствовал себя затравленным, загнанным в угол. Часто он весь горел... Может быть, это все болезнь, лихорадка... Или это силы, усыпленные было детством, вдруг проснувшись, душили его? Он не знал. Никто не знал. Его тянуло куда-то, а он не знал — куда. И в нем появилась теперь грубость, которой одной он мог прикрыть то, что творилось в нем и что он хотел спрятать от самого себя и от других.

Но ведь он же скоро умрет! Какое ему дело до жизни, если он скоро умрет? Он словно уже выброшен за борт, он словно подслушивает под чужой дверью...

Так ему казалось.

Но жизнь великодушно бестолкова.

И он бывал беспечен, счастлив. И никто ничего по нему не замечал.

От любой мелочи у него вдруг радостно колотилось сердце. От того, что проглянуло солнце. От того, что после нескольких сухих дней наконец хлынул дождь. Или просто ни с того ни с сего, от того, что все тихо-спокойно и не меняется. Стоило ему только вылезти из своего подвала — и перед ним открывался широкий, вольный, ясный мир. И все светлое в этом мире приобретало особенную отчетливость. Да, стоило ему только высунуть голову из своей норы...

Это сокровенное в нем перемешивалось со множеством других впечатлений. Зимой, например, чуть не с утра до вечера катались на коньках по застывшим озерам. Озер было много, только кончился одно, начинается другое, и они перебирались с одного на другое. Когда школу закрывали, чтобы навести там чистоту, и занятий не было, бежали кататься с утра пораньше, когда поет под коньками лед. Можно было докатиться до самого дома обходчика на Мысе, со свистом налететь на кур, вспугнув их дикой скоростью. Тут, как и во многих других местах, было опасно, из озера вытекала речка и надо было глядеть в оба, так как вехи были не везде. Были в озере и островки, которые приходилось объезжать. А на северном берегу стояли купальни, зимой они выглядели так странно, а кустика, на котором развешивали одежду, бросаясь в воду, просто, не узнать.

Вечером, бывало, собирали тростник и разжигали костер, прикатывали из бухточек с большущими охапками, кидали их с разлету прямо в огонь. Пламя взмывало высоко в небо, разбрасывая искры. Лед подтаивал, трещал от тепла и оттого, что они стояли такой тесной гурьбой. Лед поддавался. И гулко стонал в темноте.

Красные, голодные, заявлялись они домой, долго сушились у печек. Их кормили разогретыми остатками давно миновавших обеда и ужина.

Чудесная жизнь. Бесспорно, чудесная. А у него? Но разве не катается он вместе со всеми?

Да, странно, какое-то раздвоение. Две совершенно разные жизни, будто и не связанные между собой. Он мог совершенно забыть, развеяться, веселиться напропалую... И потом вдруг спохватывался...

И все-таки как радостно жить. Как увлекательно. Особенно увлекательно, когда тебе так мало осталось.

Да и что у него за болезнь такая? Когда он о ней не думал, она его совершенно не мучила. Ладно, не стоит тужить, будь что будет...

Не переводились у него и приятели, друзья. Одного звали Юнас, он был из деревни. Зимой они решали важные проблемы, а летом вместе ловили щук. У Юнаса была деревянная рука, в детстве ему оттяпало правую руку молотилкой. Но он был ловчей всех, и своей одной рукой выделывал такое, что другому и двумя не под силу. Особенно силен он был по части щук, и ловил их во множестве, когда Андерс жил летом у него в деревушке неподалеку от города. Тут тоже хватает озерков, и особенно хорошо одно, с низкими росистыми берегами, где можно подстеречь щук, когда они спят на солнышке. Разуться надо еще на лесной опушке, далеко от берега, и идти тихо-тихо, и чем ближе к воде, тем это трудней. Юнас всегда шел первым, и ему по справедливости доставалась главная работа. Вот у Андерса под ногой вдруг чавкала мокрая земля, Юнас грозил ему своей единственной рукой, и Андерс замирал. Чего только не вытворял Юнас! Крался чуть не ползком, приседал на корточки, издалека примечал щук, дремавших под листьями кувшинок. Поддепал с головы специальным сачком — и готово дело. Скоро их набиралось полное ведро. А краем глаза он еще следил, не подсматривают ли с берега завистники да не притаилась ли в тростниках лодка. Юнас держал в страхе незадачливых местных рыболовов.

Но из всего этого вовсе не следует, что дома у него всегда ели досыта рыбы. Он почти всю ее раздавал по дороге. Иногда он домой вообще ничего не приносил, и мать ворчала, когда они, переминаясь с ноги на ногу, останавливались у крыльца, а потом выставляла им кофе и хлеб.

Деревня, где они жили, была на редкость унылое место, так, по крайней мере, казалось Андерсу, но, может быть, оттого, что он был нездешний. Дома все почти некрашенные, запущенные, окна большей частью без занавесок. Да и вокруг домов царил запустень, возле каждого — голый холмик колодца, а сада нет, лишь одинокая яблоня. Может быть, оттого так пусто и неприветливо зияли просветы между домами, хоть стояли дома довольно тесно. Казалось, будто в гости друг к другу тут никогда не ходят, да и вовсе друг с другом не знаются. Однако Юнас всех знал и весело со всеми здоровался — с девушками, которые поднимали воротом воду, с парнями, которые возили сено или навоз. И они привычно пожимали ему руку, разумеется, левую.

Вокруг деревни стояли леса. И Юнас ходил на охоту и был первым и тут. Быстро вскидывал ружье и стрелял почти не целясь. Стрелял уток, зайцев, вальдшнепов, всякую всячину. А осенью — глухарей, хоть отстрел их запрещался, но здесь не очень считались с этим запретом. Чего только не умел Юнас!

Они отлично ладили летом. Иное дело в городе, зимой. Приодевшись, бродя по освещенным улицам, они уже не ощущали такого приволья, разговоры делались скованной, принужденной. Но часто они забывались и начинали дурачиться, как в лесу. Беспечный человек был Юнас, все ему нипочем. Частенько он ощупывал свою деревянную руку, как бы для того, чтоб увериться, что она никуда не делась. И лицо его при этом освещалось добродушной ухмылкой.

В городе его начинало одолевать тщеславие. Деревянную кисть всегда облекала тончайшая лайка, и, как только перчатки чуть занасивались, он покупал новую пару. Одной прекрасной весной, пустившись ухаживать за девушкой, он купил какие-то немислимые светло-серые перчатки и в них щеголял.

Но он был горд. Он умел улыбаться смутной, тонкой улыбкой и мог бы далеко пойти, если б захотел. Но он уже увидел мир насквозь, оценил его нелестно и скоро вернулся к тихой жизни родного, прихода.

Ему на смену появился коротышка, ростом с тролля, по имени Мурре. Они с Андерсом знали друг друга еще по народной школе, окончив ее, Мурре стал зарабатывать тем, что чинил велосипеды. Встречались они только по воскресеньям, когда Мурре был свободен. Если они случайно сталкивались на улице в будни, Мурре, боясь запачкать Андерса, протягивал ему для приветствия только большой палец. Зато каждое воскресенье он надевал щегольскую крахмальную манишку, и они прогуливались, покуривая сигары по пять эре, которыми Мурре обеспечивал обоих.

Чаще всего отправлялись вдоль полотна в лес и там бродили, резвились, как мальчишки. Однако о детстве говорили как о давно прошедшей поре и снисходительно улыбались, обнаруживая, как хорошо служит им память. Когда же проходили мимо камня — того самого камня — Андерс глядел в другую сторону и принимался оживленно болтать. Это была его тайна, и в нее он никого не посвящал.

Были и еще приятели. Один в жизни не сказал разумного слова и слыл потому умником. Другой был слишком возвышен, чтобы его можно было понять. И со всеми велись долгие разговоры. О чем только не говорили, но главное он таил. И он никому не высказывал того, о чем больше всего думал, что тяготило, давило его.

Распростясь с воскресным приятелем, он частенько шел обратно к камню. Хоть он и находился за день, да и вообще туда ему вовсе не хотелось.

По дороге он вспоминал недавнюю прогулку с другом. Все осталось так же, даже не смерклось еще. Мысли его разбегались, о чем он только не думал, вспоминались день за днем, радостные, печальные. О, как он ко всему этому привязан! И не больше ли он извлекает радости из простых вещей, чем другие мальчишки? И до чего же переполняет его, вдруг нахлынув, ликование от самых ничтожных пустяков...

Да разве он не счастлив, вот хоть сейчас, бредя вдоль насыпи? Счастлив не меньше, чем другие. Ничуть не меньше.

А все тяготы свои он просто выдумал. Все это пустяки. Зачем, к примеру, ему идти к этому камню? Для чего? Прежде, в детстве, его тянула сюда внутренняя необходимость, он обращался к камню с глубокой, самозабвенной верой. Потом вера все истощалась. И самозабвенье выродилось в пустой обряд.

А нынче и того не осталось. Даже и обряд стал не нужен. И все же...

Он стал подле камня. На том же месте, что всегда, вон и трава примята. Он не упал на колени — этого уже давно не бывало. Но он изо всей силы сжал руки, так что во всем теле отдалась боль стиснутых рук, и погрузился в странное забытие. И стал молиться.

Только чтоб ему сохранили жизнь. Больше ни о чем. Жить, жить. Как прежде, как всегда. А в остальном — будь что будет. Только б не умереть.

Ни о каком боже он не думал. Он уже не верил. И ни мысли в нем не было о том, что молитва укрепит его, придаст ему силы. Ни единой такой мысли.

И неважна была сама молитва: всегда одна и та же просьба, одни и те же слова.

Он не верил. Просто душевное перенапряжение искало выхода. Только и всего.

Да, он высвободился. Вырвался.

* * *

Однажды осенью Андерс шел по городу. Ему надо было на северную окраину. День клонился к вечеру и хмурился. Недавно прошел дождь. Улицы намокли, в лужах блестели редкие фонари. Никто не попадался ему навстречу, только торчал на углу полицейский. В угловом доме горел свет, но за шторами; там играли на фортепьяно. Он прошел мимо этого дома и пошел дальше, торопясь и поднявши воротник.

Дойдя до Северной улицы, он вошел в ворота, во двор. Тут было темно, хоть глаз выколи, стояло несколько машин, в углу был свален какой-то лом, старые колеса и просто ржавые листы. За всем этим примостился низкий домишко, и там горел свет, но окна смотрели в другую сторону. В домишке пели, но почти не-

слышно, будто за очень толстыми стенами. Он вслушался, пошел на звуки пенья и нащупал дверь. Открыл ее и вошел.

И очутился в плохо освещенной оштукатуренной комнате с маленькими оконцами и сводчатым потолком. Посредине стояла колонна, так что видна была только часть комнаты. На некрашенных скамьях плотно сидели друг к другу старухи, несколько молодых людей с шапками на коленях, несколько женщин помоложе, а за колонной стояли мальчишки. Подальше была сооружена эстрада, освещенная двумя висячими керосиновыми лампами. Там, на свету, сидело несколько солдат Армии спасения, у стены стояли две женщины — офицеры и пели под гитару. Он вошел и сел на скамью.

Топили, но было холодно. Сидели не раздеваясь. Большинство устроилось в задних, темных рядах, передние скамьи, на свету, пустовали. У самой двери, свесив голову, сидел выживший из ума Юхан из богадельни, и глаза его блестели в темноте. Стены отсырели и там, где отстала штукатурка, были черны от копоти. Раньше тут была кузница, и тогда посередине помещался горн.

Пели звонко, пронзительно, истово, мужские голоса перекрывались женскими. Дребезжали гитары. Звук получался гулкий, как в погребе. Из хора выбивалось два чистых, лучше поставленных голоса обеих офицерш. Они стояли на ярком свету, задрав головы, сверкая глазами, и в отличие от прочих не заглядывали в книжки, знали текст наизусть. На обеих были доверху застегнутые плащи. Одна была темная, румяная, с пробивающейся в блестящем взгляде и в изгибе теплых, крупных губ сдержанной чувственностью. Вторая — хрупкая, почти девочка, в чем только душа держится. Было в ней что-то трогательное, что-то беспомощное и какая-то открытость. Лицо бледное, простые, почти крестьянские черты, которые не назвать тонкими, но зато в них нежность превыше красоты. Глаза ее не сверкали, но взгляд тихо и глубоко сиял. Из-под офицерского убора выбивались тонкие светлые пряди и мягко падали вдоль щек. Она казалась странно обесцвеченной и вместе с тем вся горела. Как свеча, питаемая воском.

Андерс смотрел на нее не отрываясь. Где-то он уже видел это лицо...

Пели все истовей, все больше разгораясь. Сперва они еще управляли собой, но вот уж сделались сами не свои, голоса уходили из-под их власти, не подчинялись им. Один закричал в экстазе. Другие что-то забормотали вслед за ним. Хвала тебе, Иисусе! Слава тебе и хвала! Аллилуйя! Слава и хвала! Они, вздыхая, молились, запрятав лица в ладонях. Какая-то женщина раскачивалась, как от боли. Того, кто кричал, все это еще больше разжигало, он торопился, захлебывался словами. Он был как в бреду. И общая волна затянула, подхватила всех, взвилась и всех накрыла. Кто-то уже стонал. Из темного угла у самой двери таращился полоумный Юхан.

Андерсу все больше делалось не по себе. Он чувствовал, что его вот-вот вырвет. И духота какая, дышать нечем...

А они все бормотали, бормотали. И если бы хоть о боге. А то все об Иисусе и об Иисусе, и Андерсу это было особенно не по нутру, отталкивало его, претило ему, было ему чуждо. В самом воздухе ощущалась тяжесть, давило грудь, Андерс задышался... Вся эта лихорадка, нагнетанье чувств — все это не про него.

Вот пришла очередь говорить той бледненькой, молоденькой, которую он, кажется, где-то уже видел. Она встала к барьерчику и, не поднимая глаз, заговорила. Андерс заметил, как неуверенно она держится, видно, не привыкла еще к тому, что она офицер. Но она вся светилась. Она говорила о том, как уверовала, как Иисус пришел к ней спасителем. Слава и хвала! Благословен еси, господи! Как он очистил ее от греха и подарил ей жизнь новую. И она сама стала лучше. Теперь у ней нет тех забот, которые скупают детей века сего. Все горести ее он возложил на свои плечи. Она выговорила это так просто, будто речь шла о вещи совершенно естественной. И вся сияла.

Андерс замер и неотрывно смотрел на нее. Мальчишки у барьерчика захихикали. Андерс вздрогнул, будто его разбудили. Но тотчас постарался отвлечься, не замечать их, ничего не замечать, кроме нее.

Она смущалась уже меньше, поднимала глаза, оглядывала зал. Бормотанье молитв, вздохи и стоны, раздававшиеся из всех углов, не сбивали ее, голос ее делался только глубже и теплей. До чего же чиста и проста была она в плаще из синего шевиота. Плащ был старый, местами совсем залоснился, особенно на левом боку, к которому она прижимала пачку газет, распродавая «Клич». Но сейчас, на тусклом свете, от потертости плащ блестел и выглядел прекрасно. Он был ей на редкость к лицу. Так, по крайней мере, казалось Андерсу. Он не мог отвести глаз от нее, от ее лица, когда она заговорила, лицо изменилось и стало совсем новым. Бледные губы будто улыбались. Она не смеялась, просто особенные нежные очертания рта создавали это впечатление улыбки.

Когда она умолкла, началась молитва необращенных. Молились, встав коленями на скамьи. «Солдаты» на эстраде время от времени принимались петь. Бренчали гитары. По залу проносились стоны. В полутьме почти ничего нельзя было разобрать, но Андерс увидел, что кое-кто почти распластался на скамьях. Эти-то и стонали.

Моление становилось все более горячим. Молились уже все посвященные. Бормотали пылко, заглатывая слова: «О Иисусе, спаситель наш! Не отврати лица твоего от грешника, научи его путям твоим! Спаси его, спаси сегодня же! О, спаси, господи, сегодня же душу грешную! И мы вознесем тебе хвалу! О Иисусе!

Да не останется молитва наша всеу! Дай небо узреть сегодня же грешной душе!»

И опять, и опять... Стало жарко, душно, нечем дышать...

Андерс побледнел, губы у него дрожали, глаза блестели... Он задыхался... Чего доброго, он тоже примется стонать... Или кричать!

Он обеими руками вцепился в скамью...

Почти рядом с ним юная офицерша Армии спасения молилась в обнимку с женой рабочего. Он вгляделся в лицо девушки. Оно было совершенно спокойно. Отчего же она-то не взволнована, не разгорячена, как он?

Сложив руки, она тихонько шептала. Молилась? Или просто что-то бормотала? Он не расслышал. Видно было, что слова она произносит простые, сдержанные. Просто и сдержанно было все в ней. Юбка чуть завернулась, из-под нее торчали ботинки. Зато красная повязка на голове пламенела, как огонь.

Молились, просили. Пели, пели — все одно и то же. Стонали, вздыхали, извивались. Стало душно, жарко, тесно... потолок давил, стены наступали, сжимались вокруг, стало нестерпимо тягостно, хотелось отсюда вырваться...

Наконец-то из темноты вышел юнец, он качался, как во сне, подошел к эстраде, закричал, что он спасся, пустое лицо не выражало ничего, кроме полной истомленности... И вдруг он забормотал, забормотал захлебываясь...

О, как все возликовали, как запели! Бренчали гитары!

— Слава и хвала тебе, господи! Благодарение тебе, Иисусе!

Собрали пожертвования. Снова пели. Слава тебе, Иисусе! Благодарствен еси, господи!

Но вот все кончилось. Андерс бросился к двери. И первым метнулся через двор, на улицу.

Поднял воротник, стал прохаживаться взад-вперед. Ему хотелось ее дождаться.

Он томился отвращением. Мучительным, совершенным отвращением. И его леденила злость, возмущение против всех посягательств на его душу... Вот из двери повалили старухи, и безобразные молодые женщины, и гогочущие мальцы, и полоумный Юхан, и тот парень, который объявил себя спасенным... Все они показались ему отвратительными. Он поспешил перейти улицу, чтоб никто его не заметил.

Когда улица опустела, вышла она. В форме! Значит, она так и ходит!

Они пошли к окраине, к восточному шоссе. Погода стала лучше. Небо очистилось, скоро взошел месяц, и стало так светло, что он ясно видел теперь ее лицо.

Он спросил, как это ей пришлось в голову вступить в Армию спасения. Она рассказала. Дома у них еще пятеро братьев и сестер, и все младше ее. Родителям не под силу всех тянуть, и ей

пришлось пойти в прислуги. Сил у нее маловато, а когда в людях живешь, нужны силы. Бывало, с ног валилась от усталости. Но теперь она спасена, и ей не в тягость никакая ноша... Верит ли она? Ну конечно! Иисус возьмет ее к себе. О, ей никогда не забыть того вечера. Да, она спасена, она это твердо знает. И нет ничего радостней этих мыслей. Ну и еще хорошо, что она обеспечена. Армия и кормит и одевает. Если уж чего-нибудь особенного захочется, надо только доложить, и обычно им не отказывают. Да, ей теперь намного лучше стало. Жизнь ее теперь в руках господя. Конечно, она б не отказалась жить дома, с матерью, если бы могла себя прокормить.

Андерс слушал. Она шла рядом, и за шапкой он не видел теперь ее лица. Но в голосе была она вся.

Она рассказала все так просто, так спокойно. Как это у нее получилось так просто?

Вышли к озеру. Перешли узкоколейку, вытянувшуюся вдоль берега. Поезда уже не шли, поздно было, и на повороте путей открывался вид на далеко убежавшие рельсы, и оттого особенно ощущалась пустыньность ночного часа. Только обходчик отправлялся домой, и все дальше и дальше из лесной темноты слышалась его дрезина.

Ближе к воде дорога пошла глинистая, липла к галошам. Они пробирались по травянистой обочине, плотно прижимаясь друг к другу. Он чувствовал ее тепло, слышал, как она дышит, и сжимал в руке ее беспомощную ладошку. Долго они шли и молчали... А вдруг он любит ее?

Вот навстречу показалась телега, потом другая, еще и еще. Лошади устало мотали мордами, клевали носами возницы. Это везли сельдь с берегового поселка, за одиннадцать миль отсюда, к завтрашнему базарному дню. Уложив рядом с собою еду и бутылки с вином, торговцы спокойно дремали, а сельдь блестела в свете луны.

Поздно уже. Пора возвращаться. Но они еще постояли на берегу, посмотрели на сверкающую рябь. Теперь стало совсем светло. Лунный луч упал прямо на ее лицо. И все ее лицо просияло. Снова ему показалось, будто она вся светится, опять засверкала даже потертая ткань ее плаща, как тогда, в молельне. Везде, во всем был свет, и она светила и выступала из света.

Он смотрел и смотрел, и ему казалось, что он любит ее. Но она вся была — чистота. Черты прояснились какой-то неземной отчетливостью. И не было в ее лице ни восторга, ни страсти, ни самозабвенья. Только тишина.

Земного ничего в ней не было. Почему, почему в ней не было ничего земного?

Он вдруг ощутил стесненность от этой ее чистоты, доброты, от самого окружавшего ее света. Ему все это показалось знакомо. Кого-то она ему напомнила...

Есть в иных людях что-то отпугивающее, оттого что слишком они напоминают о совершенном, о ненарушимом, блаженном покое и гармонии. Сталкиваясь с такими людьми, еще большей ощущаешь неприглядность мира. Они дарят жизни то тепло, какого сама она лишена, и жить оттого делается только еще тяжелее.

Ой, сколько же они тут простояли? Пора домой.

Они заторопились к городу. И ему уже хотелось убежать, спастись от нее. Или издеваться, попирать то, что для нее свято, кошунствовать, богохулить. Но они шли молча.

Город опустел. Он довел ее до бывшей кузницы. Там сзади была пристроечка, каморка, где она жила. Ему стало противно снова торчать у стены, за которой раздавались вечером все эти крики и стоны. Они простились. И она вошла в дом, как в обычное человеческое жильё.

С чувством странного облегчения он зашагал домой.

* * *

Так кончилась первая пора юности: в разброде, смятенье, запутанности.



Палач сидел и пил в полутемном трактире. В чадном мерцании единственной сальной свечи, выставленной хозяином, грузно нависла над столом его могучая фигура в кроваво-красном одеянии, широкая рука обхватила лоб, на котором выжжено палаческое клеймо. Несколько ремесленников и полупьяных подмастерьев из околотка галдели за хмельным питьем на другом конце стола, на его половине не сидел никто. Бесшумно скользила по каменному полу служанка, рука ее дрожала, когда она наполняла его кружку. Мальчишка-ученик, в темноте никем не замеченный, притаившись в сторонке, пожирал его горящими глазами.

— Доброе пиво, верно, заплечный мастер? — рявкнул один из подмастерьев. — Слышь, хозяйка-то магушка на виселицу бегала, палец ворюгин у тебя своровала да в бочку на нитке и подвесила. Уж она расстарается, чтоб ее пиво из всех лучшее было, все сделает, чтоб гостям

угодить. А пиву, слышь ли, ничто так смаку не придаст, как па-лец от висельника!

— И впрямь удивительно, — проговорил косоротый старикаш-ка-сапожник, раздумчиво отирая пиво со своей пожухлой боро-ды. — Что к тем делам причастность имеет — во всем сила таит-ся диковинная.

— Ого, да еще какая! Помню, в наших краях мужика одного вздернули за недозволенную охоту, хоть он и говорил, что неви-новен. Как заплечных дел мастер вышиб приступку-то у него из-под ног и петля на нем задернулась, он такие ветры выпустил, что весь пригорок зачадил, цветы окрест поникли, а луг, что к во-стоку от виселицы, будто выгорел весь и повял, дуло-то с запада, я вам забыл сказать, и в округе нашей тем летом неурожай вы-дался.

Все хохотали, навалясь на стол.

— А мой отец, так тот рассказывал, когда еще он молодой был, у них один кожевник со свояченицей блудил, ну и с ним точь-в-точь такая история приключилась, когда пробил его час, — оно и не мудрено, коли в этакой спешке земную плоть сбрасывать приходится. Народ как попятился от этого духу, глядь, а в небо облако поднимается, да черное, страсть глядеть, а назади сам черт сидит и кочергою правит, душу грешную уносит и ржет от удовольствия, что этакая вонь.

— Будет глупости-то болтать, — вступился опять старик, украдкой косясь на палача. — Разговор нешутейный, я вам исти-нный говорю, тут сила сидит особая. Да хоть бы Кристена взята, Анны мальчика, того, что наземь опрокидывался с пеною у рта, по-тому как бес в него вселился! Я сам сколько раз ходил, подсоб-лял держать его да рот ему раскрывать — жуть, как его трепало, пуще всех иных, кого мне видеть доводилось. А как взяла его мать с собою, когда Еркер-кузнец жизни решился, да заставила крови испить, все как рукой сняло. С той поры он ни единого разу не опрокинулся.

— Да-а...

— Я ведь им сосед, да и вы не хуже меня о том знаете.

— Против этого никто и не спорит.

— Как не знать, это всякому ведомо.

— Только надобно, чтоб кровь была от убийцы и покуда она еще тепло хранит, а то проку не будет.

— Это само собой.

— Да. Зло — штука диковинная, что и говорить...

— Опять же вот и дети, какие занедужат либо костоломом маются — все у них пройдет, коли крови дать с палаческого меча, это я еще с малолетства помню, — продолжал старик. — У нас в округе стар и млад про то знали, бабка-повитуха таскала эту кровь-то из дома палача. Или я что не так говорю, а, заплечный мастер?

Палач на него не взглянул. Не шелохнулся. Его тяжелое, непроницаемое лицо под заслонившей лоб рукою едва проступало в неверном, колеблющемся свете.

— Да. Зло в себе целительную силу скрывает, это уж так, — заключил старик. — Оттого, верно, люди страсть как жадны до всего, что к нему касательство имеет. Ночью идешь домой мимо виселицы, а там возня, копошенье, аж сердце зайдется с перепугу. Вот где аптекари, знахари и прочие богомерзкие колдуны зелья свои берут, за которые беднякам и страдальцам дорогие деньги приходится платить, в поте лица добываемые. Говорят, иной труп до костей обдерут, уж и разобрать нельзя, что когда-то человек был. Я не хуже вашего знаю, что сила в этом всем сидит, и, коли нужда припрет, никак без этого не обойтись, на себе испытал, ежели на то пошло, да и на бабе своей, а все же скажу: тьфу! Тьфу, скверна! Не одни свиньи да твари небесные мертвечиной живут, а и мы с вами!

— Фу, замолчи ты, право! В дрожь бросает от твоих речей. А ты что такое глотал-то, говоришь?

— Не говорил я, чего глотал, и говорить не стану. Я одно говорю: тьфу, бесовская сила! Потому как это от него все идет, верьте моему слову!

— А-а, пустое. Весь вечер нынче пустое мелете. Не хочу больше слушать вашу околесину.

— Ты чего пива-то не пьешь?

— Да пью я. Сам дуй, пьянчуга.

— А странно, однако ж, что оно помогает и этакую власть имеет.

— То-то, что имеет.

— Эта власть-то, она и одной и другой стороной обернуться может. С нею шутки плохи.

Они замолчали, задвигали кружками, отстраняясь от них. Некоторые отвернулись и, должно быть, перекрестились.

— Говорят, будто палача ни нож, ни меч не берет, — сказал старик, косясь на грузную молчаливую фигуру. — Правда ль, нет ли, не знаю.

— Брехня это все!

— Не скажи, бывают и впрямь которые «твердые» — ничем не проймешь. Я про одного слыхал в молодые годы, во твердый был! Привели его казнить за лютые злодеяния, а меч-то его и не берет. Они давай топором — так топор у них аж из рук вышибло, ну, тут их страх одолел, они его и отпустили на все четыре стороны, потому смекнули, что нечистая в нем сидит.

— Пустое!

— Ей-богу, правда, провалиться мне на этом месте!

— А-а, пустое болтаешь! Кто ж не знает, что заплечных мастеров тоже мечом да топором казнят, как и всякую подлую

тварь. Да хоть бы Енс-Палач— ему ведь его же секирой голову-то снесли!

— Ну, Енс — дело иное, он с силами этими в согласие не был. Попал в беду ни за что ни про что, горемыка несчастный, ну и вымолил себе жизнь, с бабой своей да с ребятишками расстаться не мог. Тут, брат, случай особый. Не осилил он это ремесло, он на помосте-то пуше грешника злосчастливого трясся. *Страх* у него был перед злом, вот что. Он и погибель на себя навлек оттого, что страх его одолевал, никак ему было с ним не совладать — так я полагаю, и тогда он взял да и порешил этого Стаффана, что был ему лучшим другом. Я тебе скажу, топор-то, он куда сильнее Енса был, он его будто к себе притягивал, а тот не мог супротивиться, вот и угодил под него, потому всегда знал, что так будет. Нет, в нем сила эта самая не сидела. А уж в ком сидит, того ничто не берет.

— Ясное дело, в палаче как ни в ком сила таится, даром что ли он подле самого зла обращается. А что топор и иное палачево оружие силу в себе таят, тоже верно. Оттого к ним никто и притронуться не смеет, как и ко всему, до чего он касался.

— Что правда, то правда.

— Зло — оно, брат, власть имеет, где его сроду не ждешь, это уж так. А попадешь ему в лапы — пиши пропало, не выпустит из когтей.

— А ты чего не знаешь, не говори, — сказал человек, до сих пор сидевший молча. — Не так-то просто с ним близкое знакомство свести, а узнаешь, какое оно, зло, так, может статься, и удивишься. Не то чтобы я сам все проник, а только я вроде как побывал однажды у него *в руках* и, можно сказать, сподобился заглянуть ему в лицо, к тайне его причаститься. Такое век помнить будешь. И что удивительно, после этого вроде и страха больше нету перед ним.

— О-о...

— Так-таки и нету? Что-то не верится!

— Правду говорю. Да вот послушай, коли есть охота, отчего у меня страха не стало. В памяти всплыло, пока вы тут сидели, говорили.

Случилось это еще в младенчестве, думаю, было мне от роду годов пять-шесть. Жили мы в отцовой усадбке, хозяйствовал он не худо, нужды ни в чем не знали. Я один был у отца с матерью, и, надо вам сказать, любили они меня, пожалуй, даже через меру, как уж водится, когда одно дитя в семье. Житье у меня было счастливое, а родители — каких добрее да ласковее и не сыщешь, оба теперь померли, упокой, господи, души их. Усадьба наша лежала на отшибе, на самом краю селения, и я приучился все больше в одиночку время проводить, а то так за матерью с отцом по подворью бегать. До сей поры помню, где у нас что

было: и дворовые службы, и пригород, и поля, и огород с южной стороны дома. И хоть теперь я всего лишился и никогда, верно, больше не увижу, а оно будто так и осталось жить во мне.

И вот как-то летом, когда все работали на сенокосе и мать понесла отцу обед на общинный покос, до которого со мною идти было слишком далеко, я остался дома один-одинешенек. Солнышко припекало, была жара, мухи роились у каменных ступеней крыльца и над тем местом на склоне, по дороге к скотному двору, где утром процеживали молоко. Я слонялся, смотрел, где что делается, в сад сходил и к деревянному сараю, к пчелам заглянул, сытые и разморенные теплом, они лениво вползали в ульи. Да, как уж оно там вышло, то ли заскучал я, то ли что, а только я перелез через изгородь и зашагал напрямик в лес по тропинке, по которой до того разу никогда далеко не хаживал, только самое начало знал. А тут понесло меня в места вовсе незнакомые. Тропинка поднималась вверх по косогору, а лес был частый, с громадными деревьями, я засматривал в просветы между стволами и обвалившимися замшелыми каменными глыбами. Внизу, в ложбине, шумно бурлила река, протекавшая через наше селение. Я шагал себе и радовался, и погожий день, и все меня тешило. Солнце дремало в ветвях среди листвы, дятлы стучали, смолистый воздух обдавал густым теплом, звенел от птичьего пересвиста.

Долго ль я так шел, не знаю, но вдруг послышался шорох, и впереди, в густом кустарнике, что-то зашевелилось и взметнулось с земли. Я прибавил шаг, чтоб посмотреть, что там такое. Дойдя до поворота, увидел я, что кто-то бежит, и припустился следом. Тропка пошла по более ровному месту, лес поредел, и, очутившись на прогалине, я разглядел, что это были двое ребят-шешек. Годами, должно быть, мне ровесники, одеты, однако ж, поиному. По ту сторону прогалины они остановились, оглянулись назад. И враз опять пустились бегом. Я — за ними, не уйдете, думаю, непременно вас поймаю! Но они то и дело сворачивали с тропинки и скрывались в густых зарослях. Сперва я подумал, они со мной в прятки хотят поиграть, потом понял, нет, непохоже. А мне охота была с ними познакомиться да вместе чуток поиграть, и я не сбавлял ходу и все больше их нагонял. Под конец они разбежались в разные стороны, и я увидел, как один заполз под упавшую ель и там схоронился. Я кинулся за ним, разгреб ветви и, гляжу, он лежит там, сжавшись в комок! Весь взмокший, я с хохотом навалился на него и прижал к земле. Он давай вырываться, головушку приподнял, глаза дикие, испуганные, на губах злобная усмешка. Волосы рыжие, коротко остриженные, а лицо — все в мелких грязных рябинках. Одежи на нем только и было, что старая дырявая фуфайка, он лежал почти нагишом и трясся у меня под руками, ровно какая-нибудь животинка.

Вид у него, по моим понятиям, был малость чудной, но я его не выпустил, потому как худого о нем ничего не подумал. Он было хотел вскочить, а я надавил на него коленкой и ну хохотать, все одно, говорю, тебе не вырваться. Он притих, лежал и глядел на меня; в ответ, однако, ничего не сказал. Но я и так видел, что теперь мы с ним вроде как подружились и он уже не станет от меня убегать. Тогда я его отпустил, и мы вместе поднялись с земли и пошли рядом, но я замечал, он на меня все время сторожко поглядывал. С ним была сестра, теперь она тоже показалась из своего укрытия. Он отошел от меня и что-то ей зашептал, а она слушала с широко раскрытыми глазами на бледном перепуганном личике. Но, когда я к ним приблизился, они не убежали.

Ну, затеяли мы игру, они, как уж до этого дошло, играли с охотою, прятались в разные места, которые им, верно, наперед были известны, а как найдешь их, тут же молча перебежали дальше. Там была почти что открытая равнина, только торчали кое-где каменные глыбы да валялись рухнувшие деревья, и они, видно, знали там все наперечет, а я подчас никак их не мог отыскать, потому что их совсем не слышно было. В жизни не видывал, чтоб детишки так тихо играли. Они раззадорились, шастали туда-сюда проворно, как ласки, но все молчком. И со мной они словом не перемолвились. Мы, однако ж, и так хорошо поладили, я, по крайности, был доволен. По временам они вдруг останавливались прямо среди игры и молча на меня глязели.

Должно быть, мы довольно долго резвились, покуда из лесу не послышался зов. Ребятишки быстро глянули друг на друга и немедля побежали прочь. Я им крикнул, что, мол, на другой день опять увидимся, но они даже не оглянулись, только слышно было, как шлепали по тропинке их босые ноги.

Когда я воротился домой, там еще никого не было. Вскорости пришла мать, но я ей не стал рассказывать, куда ходил и что видел. Уж и не знаю — вроде как это моя тайна была.

На другой день она опять понесла косарям обед, и только я остался один, как тотчас отправился на вчерашнее место и нашел там своих дружков. Они все так же дичились, особенно поначалу, и не понять было, рады они моему приходу или нет. Однако очутились они там в одно время со мной, будто нарочно меня поджидали. Мы опять разыгрались и вовсе упарились от своей молчаливой беготни — я-то ведь тоже не кричал и не гикал, как, уж верно, делал бы, кабы не они. Мне казалось, мы совсем свои, будто давным-давно знакомы. На этот раз мы забежали на лесную поляну, где я увидел домишко, прилепившийся к нависшей над ним скале. Был он невзрачный и какой-то угрюмый, но близко мы к нему не подходили.

Мать уже ждала меня дома, когда я воротился, и спросила, где я был. Я ей сказал, мол, просто в лесок бегал.

С той поры повадился я каждый день туда ходить. Домашние так были заняты сенокосом, что им было не до меня, и никто не мешал мне отлучаться из дому. Ребятишки встречали меня чуть не на полдороге и, похоже, перестали меня дичиться.

Мне уж очень хотелось поближе посмотреть, как они живут, но они как будто бы противились этому. Тянули меня туда, где мы всегда играли. Однако как-то раз я осмелел и подошел к самому дому — и они за мною следом, чуть поодаль. Все там было, как везде, только вокруг ни пашен, ни грядок, земля лежала голая и заброшенная, будто и не живет никто. Дверь была отворена, я подождал их, и мы вместе вошли в дом. Там была полутьма и стоял затхлый дух. Навстречу нам вышла женщина, не поздоровалась, ни слова не сказала. Глаза у ней были жесткие, так меня и буравили — не знаю, что-то в ней чудилось недоброе. Волосы прядками свисали ей на щеки, а рот был большой, бескровный, с какой-то злою усмешкой. Но тогда я не особо раздумывал, какой у нее вид. Разве что подумал, мол, это ихняя мать, и принялся оглядываться по сторонам.

— Как он сюда попал? — спросила она у ребятишек.

— Он приходит в лес с нами играть, — ответили они боязливо.

Она разглядывала меня удивленно и как будто бы маленько смягчилась или, может, я к ней просто присмотрелся. Мне даже на миг померещилась в ней схожесть с девчонкой, когда та появилась из-за деревьев со своими широко раскрытыми глазами.

Мало-помалу я привык к потемкам. Сам не знаю — как-то странно мне у них показалось. Вроде и не сильно их жильё от нашего разнилось, а все же что-то в нем было не так, не по мне. И опять-таки у каждого жилья свой запах, а в этом сырость была и духота, воздух затхлый и вместе холодный, может, оттого, что домишко стоял впритык к самой скале.

Я ходил, ко всему приглядывался, и странно мне было.

В дальнем углу висел огромный меч, широкий и прямой, обоюдоострый, на нем было изображение богоматери с младенцем Иисусом и множество замысловатых знаков и надписей. Я подошел поближе, чтоб получше все рассмотреть — никогда не доводилось мне видеть ничего подобного, — не удержался и потрогал его рукой. Тут послышался будто глубокий вздох, и кто-то всхлипнул.

Я оглянулся, пошел к ним.

— Кто это плачет? — спрашиваю.

— Плачет? Никто не плачет! — ответила их мать.

Она уставилась на меня, глаза сразу другие стали.

— Иди-ка сюда! — сказала она, взяла меня крепко за руку, отвела на то же место и велела, чтоб я опять к нему прикоснулся.

И тут снова послышался глубокий вздох, и кто-то всхлипнул, внятно так.

— Меч! — крикнула она и рванула меня назад. — Это в нем!

Потом выпустила меня и отвернулась. Пошла к печке и стала мешать в кастрюле, стоявшей на огне.

— Ты чей будешь-то? — спросила она немного погодя, и рот ее недобро перекосился, почудилось мне, когда она это говорила.

Я ответил, мол, Кристоффера из Волы сын, так звали моего отца.

— Вон чего.

Ребятишки будто застыли на месте и смотрели прямо перед собой дикими, испуганными глазами.

Она еще повозилась у печки. А когда кончила, присела на скамейку и усадила меня к себе на колени. Погладила по голове.

— Да, ну-ну... — сказала она и долго, пристально смотрела на меня. — Пойду-ка я с тобой к твоим, так-то лучше будет, — прибавила потом.

Она собралась, надела другую юбку и что-то чудное на голову, чего я прежде ни на одной женщине не видывал. И мы отправились в путь.

— Это вы, значит, здесь играете-то? — спросила она, когда мы вошли в лес. И еще несколько раз со мной заговаривала по дороге. Приметивши, что мне страшно, она взяла меня за руку.

Я ничего не понимал и спрашивать ни о чем не смел.

Когда мы поднялись на наш пригорок, мать выскочила на крыльцо, лицо у нее было белое-белое, я еще никогда ее такой не видел.

— Чего тебе надо от моего сына! Отпусти мальчонку, слышишь! Сейчас отпусти, паскудная тварь!

Она не мешкая выпустила мою руку, лицо ее покривилось, и вся она стала как затравленный зверь.

— Что ты сделала с моим мальчонкой!

— Он был у нас в доме...

— Ты заманила его в свое поганое логово! — закричала мать.

— Я не заманивала. Сам пришел, коли хочешь знать. А как к мечу приступился и коснулся до него ненароком, стало в нем вздыхать да всхлипывать.

Мать оторопело и боязливо глянула на меня своими разгоряченными глазами.

— А к чему такое — ты, надо быть, и сама знаешь, говорить не стану.

— Нет... Не знаю я.

— Смерть он примет от палаческого меча.

Мать испустила сдавленный крик и уставилась на меня, бледная как мертвец, с дрожащими губами, но ни слова в ответ не молвила.

— Я-то думала как лучше, пришла тебе сказать, да ты, я вижу, только злобишься заместо благодарности. Забирай свое дерьмо, и больше ты про нас не услышишь, покуда час не пробьет, раз сама так захотела!

Она в сердцах повернулась и ушла.

Мать, вся дрожа, схватила меня, притянула к себе и стала целовать, но взгляд у нее был неподвижный, чужой. Она отвела меня в дом, а сама бросилась во двор, и я видел, как она побегала через поле, что-то крича.

Они с отцом воротились вместе, примолкшие и понурые. Как сейчас помню, я стоял у окна и видел, как они вдвоем шли к дому вдоль межи.

Ни один со мною слова не сказал. Мать начала возиться у печи. Отец не сел, как обыкновенно, а расхаживал взад и вперед. Его худое лицо застыло и одеревенело, будто неживое. Когда мать вышла на минуту за водой, он поставил меня перед собой и стал глядеть прямо в глаза, хмуро и пытливо, потом опять отвернулся. Они и промеж собой не разговаривали. Немного погодя отец вышел, начал бродить по пригорку безо всякого дела, стоял, глядя вдаль.

Время настало тяжелое и мрачное. Я ходил совсем один, никому не нужный. И все кругом стало иным, даже зеленые луга были не те, что прежде, хотя дни стояли все такие же солнечные и красивые. Я пробовал играть, но из этого тоже мало чего выходило. Когда они оказывались поблизости, то проходили мимо, ничего не говоря. Точно я им чужой был. По вечерам, однако ж, когда мать меня укладывала, она так крепко прижимала меня к себе, что я чуть не задохнулся.

Я не понимал, отчего все переменялось и стало так безотрадно. Даже когда сам я, случалось, веселел, совсем не то было веселье, что раньше. Вся усадьба как вымерла, тишь была такая, будто никогда здесь не звучала живая речь. Но по временам, когда они не знали, что я рядом, я слышал, как они перешептывались. Я не знал, что я такое сделал, только чувствовал, верно, что-то ужасное, раз им даже смотреть на меня невозможу. Старался, как мог, заниматься сам с собой и не мозолить им глаза, видел, что им так лучше.

У матери щеки ввалились, она ничего не ела. Что ни утро, глаза были наплаканные. Помню, я выбрал место позади скотного двора и начал строить из камней отдельный дом для себя.

Наконец, однажды мать меня подозвала. С ней и отец был. Когда я подошел, она взяла меня за руку и повела к лесу, а отец стоял и смотрел нам вслед. Я как увидел, что она повела меня по тропке, по какой я раньше ходил, в первый раз взаправду испугался. Но все было до того безотрадно, что я подумал, хуже, чем есть, навряд ли может быть, и покорился. Прижался к ней и шел смиренно, осторожно ступая среди камней и корневищ, падавших на тропинке, чтоб только ей из-за меня не огорчаться. Она так осунулась в лице, что ее было не узнать.

Когда мы добрались до места и увидели дом, по ней дрожь прошла. Я изо всех сил сжал ей руку, подбодрить ее хотел.

Кроме ребятишек и их матери, а доме на этот раз был еще один человек. Кряжистый, могучего сложения мужик, толстые, будто вывороченные наружу губы изрезаны поперечными морщинами, лицо усеяно крупными оспинами, а в выражении что-то грубое и дикое, взгляд тяжелый, глаза налиты кровью и все как-то изжелта-красные. Отродясь ни один смертный столько страху на меня не нагонял.

Никто не поздоровался. Женщина стала у печи и принялась ворочать кочергой, так что искры взвивались. Мужчина сперва глянул на нас искоса, потом тоже отвернулся.

Мать остановилась у порога и начала униженно о чем-то просить — я только понял, что речь шла обо мне, однако не мог толком уразуметь, чего ей от них надо было. Она все повторяла, что, мол, есть ведь средство-то, только надо, чтоб они захотели.

Никто ей не отвечал.

Она была такая несчастная и жалкая, что мне казалось, никак они не могут ей отказать. Но они даже не оборачивались. Будто нас вовсе не было.

А мать одна говорила и говорила, все безутешней и просительней, глухим, отчаянным голосом. И мне было ужас как жаль ее, она говорила, мол, я ведь у нее единственное дитя, и слезы застилали ей глаза.

Под конец она просто стояла и плакала — ни к чему, видно, были все ее мольбы.

А на меня такая жуть нашла, я уж и не знал, что бы такое сделать, и побежал к ребятишкам, что стояли, забившись в самый угол. Мы пугливо переглядывались. А под конец уселись вместе на скамью у стены — мочи больше не было стоять.

Нескончаемо долго сидели мы так в жуткой тишине. Вдруг я услышал грубый мужской голос — и вздрогнул. Он стоял и глядел в нашу сторону, но звал он меня.

— Идем со мной!

Весь дрожа, я тихонько подошел и, когда он двинулся прочь, не посмел послушаться и потянулся следом. Ну и мать за нами вышла. Женщина у печи обернулась. «Тьфу!» — плюнула ей вдогонку.

Потом, однако, мы с ним пошли одни по утоптанной дорожке, что вела в березовую рощицу неподалеку от дома. Мне было не по себе рядом с ним, и я норовил держаться подальше. Но все же мы вроде как друг с другом знакомились, пока вместе шли. В гуще среди деревьев бил родник, они, верно, брали оттуда воду, потому что рядом лежала черпалка. Он опустил на колени у самого края и пригоршней зачерпнул прозрачной воды.

— Пей! — сказал он мне.

По всему было видно, что худого он не замышлял, и я с охотой сделал, как он велел, и нимало не трусил. Можно бы подумать, что близко смотреть — он и вовсе страшным покажется,

а вышло по-иному, в нем будто не было той свирепости, и он больше был схож с обыкновенными людьми. Он стоял на коленях, и я видел тяжелый взгляд его налитых кровью глаз и, помнится, подумал, верно, он тоже несчастлив, как и я. Трижды давал он мне воды.

— Ну вот, теперь снимет, — сказал он. — Раз из руки моей испил, можешь теперь не бояться. — И он легонько погладил меня по голове.

Будто чудо свершилось!

Он поднялся, и мы пошли обратно. Солнышко светило, и птицы щебетали в березах, пахло листьями и берестой, а у дома дождалась нас мать, и глаза у нее засияли от радости, когда она увидела, как мы согласно идем рука в руку. Она прижала меня к себе и поцеловала.

— Господь вас благослови, — сказала она палачу, но тот только отвернулся.

И мы пошли счастливые домой.

— Ну и ну, — протянул кто-то, когда он кончил.

— Да, вот ведь оно как.

— И впрямь зло — штука диковинная, против этого кто ж спорить станет.

— Вроде как в нем и добро вместе сокрыто.

— Да.

— А сила в нем какая! Выходит дело, оно тебя и сразить может, оно же и от гибели может избавить.

— И то.

— Удивительно, право слово.

— Да, это уж так.

— А я полагаю, твоей бы матери повиниться не грех перед палачевой женой за брань-то свою.

— И я такого мнения, да она вот не повинилась.

— Ну да.

Они посидели в задумчивости. Отпивали по глотку и отирали губы.

— Знамо дело, и палач добрым может быть. Каждый слышал, он болящих да страждущих и которые люди до крайности дошли, случается, из беды вызволяет, когда уж все лекари от них откликлись.

— Да. И что страданья ему ведомы, тоже правда истинная. Он, поди-ка, сам муку принимает от того, что творит. Известно же, палач всегда прощенья просит у осужденного, прежде чем его жизни лишить.

— Верно. Он зла к тому не имеет, кого жизни должен лишить, нет. Он ему вроде доброго приятеля может быть, я сам видел.

— Правда что вроде доброго приятеля! Я раз видел, как они в обнимку к помосту подошли!

— Да ну!

— Потому как оба до того пьяные были, еле на ногах держались: все выпили, что им поднесли, да еще и добавили, вот кренделя-то ногами и выделывали. И не то чтоб они уж очень друг от дружки разнились, а все ж, сдается мне, палач из них двоих пьяней был. Как взрвет: «У-ух!» — это когда голову-то ему отсекал.

Все расхохотались, приложились к своим кружкам.

— А тебя, стало быть, плаха дождалась. Да, всем нам эта доля не заказана.

— Это верно.

— Нет, но чтоб у него такая *власть* была, а? Это ж подлинно как чудо свершилось, что ты нам рассказал-то. Не сними он с тебя проклятия, пропала бы твоя головушка.

— О брат, он еще какие чудеса творит! Пожалуй что почище некоторых святых!

— Ну, самые-то великие чудеса святые угодники творят да пречистая дева!

— Да Иисус Христос, искупивший грехи наши!

— Само собой, дурья твоя башка, только не о том теперь речь. У нас-то о заплечном мастере разговор!

— У него и правда власть есть. Зло — оно власть имеет, это уж так.

— Власть-то есть, да только откуда? Говорю вам, от дьявола она! Оттого люди и падки до нее, как ни до чего другого, куда более, чем до слова божия и до святых таинств.

— Однако ж вот ему помогло.

— Да, что ни говори, а помогло же!

— Может, и так.

— А священнику, глядишь, и не совладать бы.

— Куда, и думать нечего, тут зло верховодило, у *него* он был под пятой!

— Тыфу, нечистая, сатана это все, его проделки!

— Ну-у...

— Сами же слышали, палач-то отвернулся, как мать его молвила, дескать, благослови, господь.

— Фу ты!..

— А-а, черт, выпьем! Что мы все сидим да всякую дьявольщину поминаем!

— И то верно, пива нам! Пива, говорю, еще! Да какого позабористей!

— Чтоб из самой лучшей бочки! Бр-р... только не из той, где палец ворюгин подвешен... А что, правда ль, что у вас ворюгин палец в пиве болтается?

Служанка, побледнев, покачала головой, что-то пробормотала.

— Чего уж отпираться, весь город знает! Ладно, давай хоть

и оттуда! Один черт, нам бы крепость была!.. У-ух! — как палач-то сказал.

— Ты не больно ухай! А то, не ровен час, без головы останешься, и захочешь допьяна напиться — да некуда лить!

— Вот и надо попользоваться, пока время не ушло!

— Это пиво сам бес варил, я по вкусу чую!

— Тут и есть сатанинское логово, зато уж пиво — лучше не съешь!

Они выпили. Навалились на стол, широко расставив локти.

— Я вот думаю, казни ль завтра быть спозаранку или как надо понимать? — спросил старикашка-сапожник.

— Кто ж его знает...

— Может статься, что и так...

— Я к тому, что мастер-то заплечный гуляет. Да в красное разряженный, в полном параде.

— Да... Похоже на то...

— Что-то не слыхать было, чтоб казнить кого собирались, а?

— Не-е...

— Ну что ж. Ужо услышим, как в барабан забьют.

— А-а, выпей-ка лучше, дед! Чем тарыхтеть-то попусту.

Они выпили.

Вошел парень и с ним две женщины.

— Гляди-ка, и шлюхи явились!

— Куда заплечный мастер, туда и вся его шатя.

— А ну, малый, вздуй-ка свечи, хоть полюбоваться на твоих потаскушек!

— О, да они красотки из непотребного дома, что ль?

— А то сам не видишь.

— Чего ж к мастеру-то заплечному не подсядете? Иль духу не хватает?

— Да-а... Вы с ним, видать, накоротке.

— Эй, девы непорочные, вы к виселице-то ходили? Там один висит, с него вчера ночью всю одежду до нитки стянули, болтается в чем мать родила, все творенья и чудеса господни наружу. Или вам уж такое не в диковинку? Ну-ну, а то бабы нынешний день с самого утра туда тянутся, как на богомолье, подивиться на такое благолепие, потому, слышь ли, у висельников эти штуковины особо приманчивые. Чего фыркаете-то? Смотрите, мастер вам задаст!

— Неужто он еще вас ни разу не взгрел у позорного столба?

— Да уж без этого небось не обошлось, им в колодках-то привычно, будто в башмаках.

— Дайте срок, вы еще от его розог вон побежите из города, да со всех ног придется улепетывать, а то задницы-то всю красу утеряют!

Одна из женщин повернулась к ним:

— А ты, Иокум-Живодер, придержи язык-то! Шел бы луч-

ше домой, к бабе своей, она не хуже нашего беспутничает, вечер к нам в заведение прибежала, примите, говорит, а то дома меня никак не удовлетворяет!

— Вы охальничать бросьте. А коли думаете, для меня это вновь, так зря, я и без вас все знаю про ее распутство! Она у меня добегається, живьем шкуру спущу!

— Думаешь, поможет!

— А то так и вовсе прикончу!

— То-то радость ей будет, хоть с самим сатаной блуди!

Он что-то проворчал в ответ, остальные над ним хохотали.

— Да, на баб нигде управы не найдешь, ни на том, ни на этом свете.

— Ну их, чай, тоже и жечь, и топить, и казнить можно, как нас с вами.

— Верно, заплечный мастер и их не милует.

— И то.

— Да, я примечал, много есть палачей, коим в охотку баб казнить.

— Еще бы, оно и понятно!

— Уж само собой усладнее, нежели поганых мужиков.

— Надо думать.

— Ну, это еще как сказать, в охотку. Нет, не всегда. Я раз сам свидетелем был, не мог он бабу кончить — и все тут.

— Неужто?

— Правду говорю, никак не мог, а все оттого, что влюбился в нее по уши прямо там, на помосте.

— Да ну?

— Вот те на!

— Ей-ей, каждому видать было, любовь в нем зажглась. Стоял и смотрел на нее, а топор поднять так и не смог!

Она и взаправду редкой была красоты, помню, волосы длинные, черные, а глаза — это ужас, кроткие, и насмерть перепуганные, и влажные, ровно у животной твари, я ее лицо как сейчас перед собой вижу, до того оно было особенное и прекрасное. Никто ее не знал, она пришедшая была, недавно только у нас поселилась, он ее в первый раз увидел. Да, странного в том не было, что влюбился он в нее. Бледный стал, как полотно, руки дрожат. «Не могу», — говорит. Кто поближе стоял — все слышали.

— Да ну?.. Подумать!

— Да, удивительно было на них смотреть, право слово, удивительно. А люди-то увидели любовь у него в глазах, умилились, стали промеж собой шептаться да разговаривать, приметно было, жалели его.

— Понятное дело.

— Да. Постоял он чуток, а потом топор отложил и руку ей подал. Ну, у нее слезы из глаз, и вроде так сделалось, что и на нее любовь власть свою простерла, да и что ж в том странного,

раз он так поступил, в таком-то месте, да еще когда сам же палачом ей был определен.

— Да-а.

— Ну-ну, и чем же кончилось?

— Он, стало быть, оборотился к судьбе и перед всем народом объявил, дескать, ежели дозволят, согласен взять ее в жены, в таком разе они, сами знаете, могут помиловать, коли будет на то их воля. И народ зашумел, дескать, надобно ей жизнь даровать. Всех эта картина за душу взяла: и людей, и судьбу, потому как открылась им чудодейственная сила любви прямо на лобном месте, и много было таких, что стояли и плакали. Ну на том и порешили. И священник их повенчал, и стали они мужем и женой.

Только выжгли ей на лбу клеймо, как уж закон того требует — виселица ведь свое взыщет. Хотя от казни-то она, я сказал, убереглась.

— Поди ж ты, какая история.

— Да, чего только не бывает.

— А потом-то что с ними было? Неужто и вправду счастье свое нашли?

— Да, зажили они в доме палача счастливой жизнью — это ихние соседи в один голос говорили. Дескать, никогда еще такого палача не видывали, любовь — она его другим человеком сделала, думается мне, раньше он ведь не такой был, и в доме жизнь пошла иная, само собой, в прежние-то времена там, как водится, всякое отребье околачивалось. Они мне много раз встречу попадались, когда она ребенку носила, и были они с виду, как и всякая любовная пара, она все такая же красавица, даром что на голове позорный колпак, какой положено носить супружнице палача, ну и, само собой, клеймо на лбу страховидное, а все пригожа была, я уж сказал.

Когда подоспело ей время рожать, хотели они, как все, позвать повитуху, они будто бы радовались ребеночку своему, как и всякие муж с женой, так, по крайности, люди говорили. Да не тут-то было, я помню, приходили они в дом, что напротив нашего, за одной такой бабкой, непременно хотели ее к себе залучить, потому боялись, как бы худого не случилось в родах-то, да она им отказала, и другие к ним не пошли, в них же как-никак скверна сидела.

— Ну, что там ни говори, а не по-христиански это, в таком деле отказывать.

— Да оно ведь заразливо, сам рассуди, а ей, глядишь, после них к честной женщине идти, роды принимать!

— Это само собой.

— Вот и вышло, что никого при ней не было, одна рожала, сам — и то не успел прийти, раньше времени у ней началось, опять и это не больно хорошо было, ну и толком-то никто не

знает, как уж оно там получилось, а только на суде призналась она, что удавила ребеночка.

— Да что ты?.. Удавила?

— Как же это такое?

— Будто бы сказала она там, дескать, как разрешилась от бремени и довольно оклемалась, чтоб ребеночка-то прибрать, кровь ему с лица отереть, увидала на лбу у него родимое пятно — по виду как есть виселица. Они ведь ей самой выжгли клеймо в то время, как дитя у ней во чреве зародилось, и у нее, дескать, сердце от этого изныло, надорвалось. И еще она будто бы сказала, не хотела она, чтоб ее дитя в этом мире жить осталось, на нем уже с самого первоначала метина была поставлена, а она, дескать, в нем души не чаяла. И еще она много чего говорила, да складу, слыхал я, мало было в ее речах, видно уж, на роду ей, несчастной, написано было злодейства творить, не иначе.

— А мне так жаль ее.

— Да, что ни говори, а жаль.

— Ну и приговор вышел такой, чтобы быть ей заживо погребенной — грех-то она немалый на душу взяла, и ему самому же выпало землей ее забрасывать. Я, надо вам сказать, тоже ходил смотреть, и, само собой, нелегко ему пришлось, он ведь ее любил, взаправду любил, хоть напоследок-то она небось оттолкнула его своим жестокосердием. Он кидал лопатой землю и на тело ее красивое глядел, как оно мало-помалу скрывалось, а когда до лица дошел, медлил, сколько мог. Она за все время слова не молвила, они, думается мне, загодя простились — лежала и смотрела на него любовным взором. Под конец пришлось ему, понятно, и лицо забрасывать, так он отвернулся, не глядел. Да, нелегко ему было. Да ведь никуда не денешься, коли такой приговор.

Говорили, будто он потом ночью туда ходил, откопать ее пробовал, может, думал, жива еще, да болтовня, поди, должен бы вроде понимать, что не могло этого быть.

Он, к слову сказать, вскорости прочь подался из наших мест, и никто не знает, что с ним потом случилось.

— Ну и ну. Да, жалко их.

— Однако ж они и сами бы должны сообразить, что ничего хорошего выйти не могло, что ихняя скверна и на ребеночка перейдет.

— Вот и я говорю, что ж странного-то, что метина у него была, как виселица!

— Да, такое, видно, накрепко пристает.

— И то.

— Что хочешь делай, все одно не отпустит. Это уж так.

— Стало быть, пришлось-таки ему стать ее палачом.

— Пришлось.

— Выходит, суждено ему было.

За дверью послышались выкрики, шум, в трактир с грохотом ввалился человек, заорал кому-то, шедшему за ним в темноте, грозя ему рукой, у которой была отрублена кисть:

— Брешешь, мужицкая харя! Сам же очки считал, сошлось, ну!

— Свинец в них был, в твоих костяшках, шельма ты!

— Черт в них был! Был свинец, скажи ему, Юке?

— Не, не, ни в жисть не бывало, — отвечал парнишка, следовавший по пятам за безруким.

— А этот бесенок, он тоже мошенству обучен, вот и шильничает за тебя, самому тебе и карты-то нечем держать, дьявол калечный! Крапленые были твои карты, ясное дело, так бы вам никогда у меня всего не отыграть!

— Да заткнись ты, мужичонка! — Он уселся, искоса поглядел по сторонам. При виде палача лицо его передернулось. Оно было тощее, с ввалившимися щеками, а глаза блестели. Парнишка подобрался к нему вплотную на скамейке.

— Никак Лассе-Висельник к нам пожаловал!

— Что, Лассе, и ты забоялся подле мастера заплечного сесть?

— А-а, пустое мелешь!

Он пошел вразвалку, сел дальше всех к концу стола. Парнишка шмыгнул за ним.

— Вот там тебе и место, сквернавец! — крикнул крестьянин. — Погоди, приберет он тебя к рукам со всеми потрохами!

— Да, брат Лассе, теперь виселица на очереди. Нечего им больше у тебя отрубать.

— Дрянь ты городишь, башка-то пустая. Меня никакая виселица не возьмет, понял!

— Где уж...

— Неужто не возьмет?..

Дернув плечами, он придвинулся к столу.

— Пива! — бросил служанке, и она поспешно налила. Парнишка поднес ему кружку ко рту, и он залпом отхлебнул изрядный глоток. Потом перевел дыхание, парнишка подождал и снова поднес. — Шильничая, говоришь!.. — Он медленно повернулся в сторону крестьянина, сидевшего где-то у самой двери.

— И говорю, а то нет!

— Больно мне нужно шильничать, чтоб выудить у тебя твои жалкие мужицкие гроши! Да они самосильно ко мне в карман утекают, им от вони невтерпез в твоих несуразных портах!

— Заткни свою поганую глотку!

Все расхохотались над крестьянином, не нашедшим ругательств похлестче.

— На кой они ему, крапленые карты да свинец в костяшках, Лассе-Висельник захочет, и без них обойдется.

— Он похитрей уловки знает, куда тебе с ним тягаться, мужичок!

— Да те же, поди-ка, ходы, что у всех жуликов. И не пойму я, Лассе, ведь уж как они тебя утеснили, а тебе и горя мало.

— А-а... Небось! Лассе не пропадет!

— Похоже, что так...

— Помню, они мне пальцы-то отсекли — я тогда вот с этого был, — сказал он, кивая на парнишку, — да гвоздями их к перекладине и прибили. Хе! Я потом ходил на них поглядеть — умора! Они мне: ага, вон, мол, где теперь пальцы-то твои воровские. А я ржал, мне это тыфу, мне, говорю, это хоть бы хны! Лассе, говорю, не пропадет! Так и вышло!

Он несколько раз резко моргнул, лицо задергалось. Ткнул Юке культей, требуя еще пива. И тот с готовностью поднес ему кружку. У парнишки была смышленная мордочка, а глаза так и шныряли из стороны в сторону. Ничего из происходившего вокруг не ускользало от него.

— Однако они и до рук добрались, а это, надо быть, дело иное!

— А-а, да мне это тыфу. Не-е...

Он утер себе рот рукавом.

Старикашка-сапожник на другом конце стола наклонился вперед:

— У него корень мандрагоры есть, слышали! — прошептал он, присвистывая от возбуждения.

— Не-е, это ништо, — громко отчеканил Л а с с е . — Мне все нипочем, понял! Да и малец вон есть. У него голова варит.

— Оно и видать!

Парнишка, довольный похвалой, замигал глазами.

— Уж не сын ли тебе, а, Лассе?

— Почем я знаю! А похоже на то, ей-ей, нравом он вроде в меня.

— Ну-ну, ты, стало быть, и сам не знаешь.

— Не. Он Ханны Гулящей сын, да вот удрал от нее, лупила, говорит, а жрать не давала, он ко мне и прилепился, у меня кой-чему подучится, что в жизни потом пригодится. А уж смекалистый — поискать. Как, Юке, отец я тебе иль нет?

— А-а, мне, чай, все одно, — хихикнул Юке.

— Дело говоришь. Плевать! Хорошо ему со мной — и ладно. Верно, Юке?

— Ага! — осклабился парнишка.

— Ну, одним-то этим сопляком тебе бы ни за что не обойтись. Никогда не поверю.

— Да неужто?..

— Правда что!

— Нет, ты, брат, силы иные на выручку призываешь, ясное дело.

— Это какие же, ну-ка?

— Мне-то откуда знать!

— Ага, не знаешь! Чего ж тогда языком попусту мелешь? Все на мгновение примолкли. Вертели свои кружки, двигали ими.

— Стало быть, неправда, что этот корень-то у тебя есть?

— А-а, пустое...

— И то. Нешто тебе, какой ты есть, корень выдернуть!

Блестящие глаза ярко вспыхнули в полутьме, а тощее лицо искривилось на сторону.

— Эка дерьма, Лассе и не с таким управится, случись нужда!

— Может, оно и так.

— Не скажи, вырвать этакий корень из-под виселицы — дело не простое. А тем паче, ежели рук нет.

— Да. И опять же известно, как крик услышишь — кончено, пропала твоя душа!

Они покосились на Лассе. Он резко вскинул голову и весь задержался.

— А я вам скажу, у него и корень этот есть, и еще кой-чего! Я так полагаю, ты давно уж сатане запродался, а, Лассе?

— Знамо дело, а то нет!

— Ну вот, я же говорю!

— Ого, слышали!

— А что ж, злые духи тебя по ночам не проводывают?

— А-а... Кто с самим дьяволом в дружбе, того они не трогают. Тому спится сладко, ровно младенцу.

— Ну, это уж ты, Лассе, прихвастнул!

— Да, брат! Это уж ты привираешь! Кабы так, не пришлось бы тебе увечным по жизни маяться!

— Мастер-то тебя отделал, будто своей почитал добычей, а не бесовой!

Они хохотали над собственными шуточками. Злоба зажглась в обращенном к ним горящем взоре.

— Да мне это тьфу, понял!

— Так уж и тьфу!

— А ведь они с тобою как с последней палаческой поживой обошлись, ей-богу!

— Ну и что! Все одно не обломать им Лассе-Висельника! — Он выкрикивал слова, свирепо обводя всех глазами. — Чего захотели! Не так это просто!

— Неужто! Однако ж начать-то они все же начали!

— Да ничего им у меня не отнять, нету у них такой власти! — крикнул он, вскакивая. — Понял! Нету — и все! Не в человеческой это власти меня одолеть, вот тебе и весь сказ!

— Да что ты! Беда да и только!

— Ни в жисть им до меня не добраться! Чем я владею, ника-

кая в мире сила не отымет! А от меня потом — к мальчонке вон перейдет, он мой наследник!

— Ба! Так у тебя и наследство есть, а, Лассе? Ну и ну, слышали?

— А ты думал, знамо, есть! Да побольше вашего! Ему от меня и корень, и вся преисподняя в наследство достанутся!

— Выходит, есть у тебя корень-то?!

— Есть! Душу можешь дьяволу прозакладывать, что есть! Показать тебе, что ль!

— Не, не!..

— Вот он где, на груди у меня! По виду — будто как человек, и с ним хоть воруй, хоть чего хочешь делай — все тебе в руку пойдет, пусть даже и рук нету, во как!

Они разинули рты. Воззрились на него со страхом.

— Как же ты раздобыть-то его ухитрился, пропащая твоя душа? Неужто на лобном месте?

— А то где ж! Под самой виселицей, куда они трупы закапывают, как их ветром снесет!

— И ты посмел туда пойти! Да ночью!

— То-то и есть, что посмел! Это тебе не дома в постельке лежать да «Отче наш» перед сном бубнить! Ты бы сроду не посмел!

— Не, не!..

— Они там вздыхали да стонали — ну, жуть...

— Это кто ж?

— Известно кто, мертвецы! Уж они на меня кидались да цеплялись за меня, пока я шарил-то! Так и лезли! Я их колотил почем зря, а они вопили и рыдали, ровно помешанные, когда их лупят, чтоб угомонились! Вой стоял и рев — как в аду, думал, совсем ума решусь, никак от них было не отвязаться! — Прочь, окаянные! — орал я им. — Прочь от меня, нечистые виденья! Я-то не помер, я живой, у меня он в дело пойдет! — Под конец разогнал я их. И тотчас увидел — прямо под самой виселицей и растет, там тогда Петтер-Мясник и еще какие-то болтались. Я землищу округ культею разгроб, а потом наземь бросился — и давай его зубами выдирать!

— Да ну?! Прямо зубами!

— Ага! Зубами! Ежели которые сами-то не смеют, так они собакам заставляют!

Взор его пылал неистовым огнем.

— И тут вдруг в нем самом как завоет! Как завоет! У-у-у! Аж кровь в жилах леденеда! Но я ушей не затыкал, как иные! Баба я, что ль! Я терпел! И все дергал и дергал за корень! Мертвечиной смердело, и кровью, и порчей! И ревело, и голосило из подземного царства! Но я ушей не затыкал! Я ташил его и ташил! Потому — завладеть им хотел!

Он бесновался, как одержимый. Все подались назад.

— А как вырвал я его — захрохотало все вокруг, затрещало, ходуном заходило! И разверзлась бездна, и всплыли трупы и кровь! И тьма раскололась, и пламень побежал по земле! И ужас и плач! И все полыхало! Будто ад на землю выплеснулся! А я кричал! Мой он теперь! Мой!

Он стоял, потрясая над головой обеими обрубленными руками, как чудовищный изувеченный фантом, безумные глаза словно взорвались, а голос утратил всякое человеческое выражение.

— Есть у меня наследство, есть! Есть у меня наследство! Душу можете дьяволу прозакладывать, что есть!

Палач сидел недвижимо, его тяжелый, вневременный взгляд был уставлен в темноту.

* * *

Народу прибыло, стоял нестройный гул, в полусумраке слышались голоса, и смех, и звон бокалов, стеклянный шар под потолком медленно вращался, отбрасывая неясные сине-фиолетовые и зеленоватые блики, танцующие пары медленно скользили где-то в середине зала, и слабо звучала музыка.

Танцы вылились в проходы между столами, пары растекались по всему залу, женщины в светлых туалетах, полузакрыв глаза, висели на мужчинах, музыка отбивала джазовые ритмы.

Красивая полная дама проплыла мимо, взглянула через плечо кавалера.

— О, и палач здесь, — сказала она. — Как интересно!

Блики кружились над толчсней, столы светились бледным и мертвенно-зеленым светом, официанты в испарине метались среди сутолоки и шума, пробки от шампанского громко стреляли.

Жирный господин в топырящейся манишке подошел и учтиво поклонился.

— Для нас большая честь видеть среди нас палача, — сказал он, признательно потирая руки, и поправил пенсне, за которым блстели колючие глазки.

Танец кончился, и пары рассеялись, с улыбками вернулись за столики.

— Вы знаете, что палач здесь?

— Как, и он здесь!

— Да, вон он там сидит.

— Ну шикарно, а!

Молодой человек с энергичным мальчишеским лицом приблизился к нему и, чеканно приставив ногу, выкинул руку в верх. — Хайль! — воскликнул он и на мгновение замер. Повернулся кругом и, щелкнув еще раз каблуками, пошел обратно на свое место.

Вокруг болтали и хохотали, человек в лохмотьях проник в зал и ходил от стола к столу, что-то шепча и протягивая тощую руку, пока его не выдворили. Уличная шваль сидела, попивая из бокалов.

— Ну, здорово, до чего он шикарный в своем красном костюме, а?

— Ага, здорово!

— И вид такой зверски жестокий!

— По-моему, у него вид как у альфонса.

— Ничего подобного, с ума ты сошла! Он самый настоящий шикарный мужчина.

— А чего это он сидит и все время рукой за лоб держится?

— Я-то откуда знаю.

— Но он *шикарный*.

— Ага!

— Как ты думаешь, если бы с палачом, а?

— О, пальчики оближешь, можешь не сомневаться.

Снова зазвучала музыка, на этот раз томно, играл другой оркестр. Пары заскользили в блуждающем синем свете, тонкие руки свисали через плечи, глаза полусонно смежались.

— Разве завтра что-нибудь такое ожидается?

— Я не знаю, но вообще-то у них полно людей, которых они собираются прикончить. По мне, так пожалуйста.

— Да, это совсем не вредно. Людей на свете предостаточно, причем порядочных и настоящих людей. Во всяком случае, жить остаются, как правило, лучшие, уж за этим-то, безусловно, следят.

— Конечно.

Пожилой господин в военной форме, непрестанно жевавший губами, твердым пружинистым шагом прошел мимо стола палача.

— Отлично, что будет порядок, господин палач! Народ стал бессовестный, пора, черт возьми, его приструнить!

— Нет, да что же это! Мы заказывали сухое, а вы нам приносите полусухое! Безобразие!

— О, извините, пожалуйста...

— Вот именно, только это вам и остается. Ну и обслуживание! Да еще сидели ждали целую вечность.

— К тому же он успел его открыть!

— Нет уж, придется вам поменять. Мы не пьем ничего, кроме сухого.

Раскормленная бургерша шла вперевалку, возвращаясь из дамского туалета, увидев палача, она всплеснула руками.

— Нет, вы только поглядите! И палач здесь! Я обязательно должна сказать об этом Герберту!

Она подошла и доверительно положила руку палачу на плечо.

— Мой сын наверняка будет ужасно рад с вами познакомиться. Милый мальчик, он как обожает кровопролития.

И она с материнской улыбкой огляделась, высматривая своих.

Музыка звучала томно, ласкала гибкие, скользящие женские тела, чумазый малыш прошмыгнул в зал через двустворчатые двери и, обходя столы один за другим, распахивал свои жалкие лохмотья, показывая, что под ними он голый, пока официанты не схватили его и не выставили на улицу.

— Напротив, сударь мой! Насилие является наивысшим проявлением не только физических, но и духовных сил человечества! Это факт, который благодаря нам стал наконец совершенно очевидным. А тех, кто думает иначе, мы будем переубеждать именно путем применения насилия, и уж тогда-то они безусловно в это поверят, или вы этого не думаете?

— Ну что вы, конечно, безусловно.

— Да! Мы тоже на это надеемся.

— Итак. Мы выдвинем категорическое требование: все инакомыслящие должны подвергаться кастрации! Это диктуется элементарной необходимостью, если мы хотим закрепить победу своих идей! Не станете же вы требовать, чтобы мы позволили этой заразе распространиться на будущие поколения. Нет, сударь мой! Мы сознаем свою ответственность!

— Да, разумеется.

— Однако же, милейший сударь, как это ни смешно, вы все еще находитесь в плену привычных представлений прошлого! Поймите, никакое иное мировоззрение, кроме нашего, никогда не будет *существовать!* С этим теперь покончено, понимаете, покончено навсегда!

— Ах вот как, ну да! В таком случае я вас лучше понимаю. Конечно! Да, разумеется!

— Не правда ли, стоит лишь отказаться от привычного образа мыслей, как сразу начинаешь постигать этот наш совершенно новый взгляд на вещи. Только в самом начале немного трудно. А в сущности это же очень просто.

— Да, конечно.

— Вам не доводилось присутствовать при основательном избииении непокорных, каким мы пользуемся в нашей практике? Вот уж действительно самое воодушевляющее зрелище из всех, какие только могут быть, уверяю вас. Ощущение такое, будто ты участвуешь в воспитании человечества для новой, более высокой жизни, в его усовершенствовании.

— О да, я бы действительно с удовольствием на это посмотрел!

— Бывали случаи, когда нам удавалось обращать стариков лет под восемьдесят, если только мы не жалели времени.

— Просто невероятно. Особенно если вспомнить, какая это трудная задача — распространять истинные убеждения среди людей.

— Да! Мы действительно добиваемся совершенно исключительных успехов, уверяю вас.

— Но мы сознаем свою ответственность за *все* грядущие поколения, понимаете! Мы знаем, нельзя терять ни минуты! Будут люди думать правильно сейчас — значит, и потом они никогда уже не будут думать неправильно. Мы не должны забывать, что живем в великое время! Время, которое имеет решающее значение для всего человечества и для дальнейшего развития жизни на земле.

— Да, конечно.

— И мы знаем, что мы за него в ответе.

— Классы! Нет больше никаких классов! В этом-то и состоит величие и значительность происходящего! Есть лишь люди, которые думают как мы, и известное число людей, которых посадили — именно с целью обучить их думать, как мы. И те из них, кто останется жить, безусловно, этому обучатся.

— Вы и сами видите, вот здесь попивают шампанское или, как, пожалуй, большинство, просто прихлебывают пиво бюргеры, рабочие и несколько более состоятельные люди — все вперемешку, все они равны. И все думают в точности одинаково — как мы! Все, кто не сидит, думают как мы!

— Угу.

— Перед вами наконец-то великолепная, исключительная картина единого, сплоченного народа! К которому, кстати сказать, очень скоро примкнут и заблудшие, в этом нет никакого сомнения! На тех, кто будет упираться, мы управу найдем! Народ, дружно собравшийся вокруг своих тюрем и с упованием ожидающий, когда оттуда послышится крик кого-либо из новообращенных.

— Это потрясающе! Какой высокий дух!

— Да, такого еще не видел мир! Это как общее молебствие, и многие стоят по стойке смирно, дожидаясь стонов новообращенных, такое они испытывают почтение к недоступным их взору тайнствам, свершающимся с их расой. Это воистину патетическое зрелище. Такое мыслимо только у нас. Мы не похожи ни на какой другой народ на земле! Ничуть не похожи!

— Да, нам совершенно необходимо занять собственного бога, причем безотлагательно. Невозможно требовать, чтобы наш народ поклонялся богу, которым пользуются другие, неполноценные расы. Наш народ очень религиозен, но он желает иметь собственного бога! Представление о некоем общем боге не что иное, как открытое издевательство над всей системой наших взглядов, и будет караться мерами, отныне распространяющимися на все виды преступлений.

Подозрительный субъект шлялся в полусумраке по залу, с наглой ухмылкой просил милостыню, грубо толкал столы, расплескивая содержимое бокалов, если ничего не подавали.

В дальнем углу сидело за столом несколько человек.

— Что за дьявольщина! Мы пиво заказывали с сосисками, а

вы нам приносите шампанское. Вот безобразие, черт дери! Вы что, думаете, мы миллионеры, вроде этих жирных свиней!

— Извините, я думал, господа — из высшего общества...

— Тьфу ты! В другой раз получше смотри, а то тебе такого засветят — не будешь спать на ходу!

Пошатываясь, ввалился солдат, подсел к палачу за стол и затархтел ему в лицо:

— Ну и вид у тебя дурацкий!.. Слушай, почему ты не в пехоте, а?.. Гляньте на него, а!..

— Тс-с... — прошептал кто-то рядом. — Ты что, не видишь, это палач...

— Да вижу я, вижу! Только ведь смотреть на него — со смеху помрешь!.. И это палач, а! Фу, да куда он такой годится! Пулеметы, вот что тебе нужно! И гранаты!.. Это дело другое, ясно? Не под силу тебе ремесло, не тянешь, сразу видно!

— Не болтай глупости! Еще как тянет — получше тебя. Ты, парень, зря не таракти. Вы ведь с ним друг другу сродни, сам знаешь.

— Вот я и говорю, пусть пулеметом пользуется!.. Отличная, современная вещь, ясно тебе?.. Мигом, раз — и готово!.. В пехоту тебе надо, старикан, ясно?

— Не зарывайся, малец! Ты про войну-то меньше моего ночного горшка знаешь, не нюхал еще, по речам слышно!

— Не знаю, так узнаю, понял! Душу можешь дьяволу прокладывать, что узнаю! Вот тогда вы увидите, черт побери!

— Еще бы, уж если ты возьмешь!

— Да, и я, и другие ребята! Не беспокойся, мы свое дело знаем! И не трусливого десятка!

— Молодец, парень, правильно!

— Парень молодец, хоть он сегодня и многовато хватил пивка для своих неокрепших мозгов. Замечательно, что у нас в стране такая молодежь! Как тут не растрогаться старому человеку...

— А ну вас, старичье... ничего вы больше не смыслите... Твое здоровье, палач! Тебя я одобряю! Ты да я, мы с тобой уж как-нибудь наведем порядок в этом мире!.. Ты чего же не пьешь-то? Вот те на, черт скорбящий! Взгрустнулось, что ли?

За одним из столов так громко смеялись, что гости и официанты стали оглядываться, молодая женщина совсем пополам перегнулась.

— Ясно, что нам необходима война! Война равнозначна здоровью! Народ, не желающий войны, это больной народ!

— Да, мир годится лишь для грудных младенцев да для больных — им нужен мир! А взрослому здоровому человеку он не нужен!

— Окопы — вот единственное место, где порядочный мужчина чувствует себя хорошо. Надо бы и в мирное время жить в окопах, а не в домах, они только изнеживают людей.

— Да, свинцовый душ войны — вот то, чего нам не хватает! Здоровый народ не может обходиться без него дольше одного десятилетия. Иначе он начинает вырождаться — если он, конечно, действительно здоровый.

— Да. И тот, кто прекращает войну, — предатель!

— Это точно!

— Долой предателей! Долой предателей!

— Смерть им!

— Даже если он одерживает победу. Потому что и в этом случае он бессовестно обрекает свой народ на полнейшую неопределенность мирного существования. Что такое война — известно всем, народу же, живущему в мире, со всех сторон грозят неведомые опасности.

— Сушая правда.

— Да, нам надо кончать с нашей пагубной размягченностью! Детей надо воспитывать для войны. Когда они учатся ходить, они должны учиться этому для военных нужд, а не просто для своих мамаш!

— С этим делом скоро все уладится. Детями мы будем заниматься сами, мы не оставим их на попечение безответственных родителей.

— Разумеется.

— Тем самым мы обеспечим себе будущее.

— Да!

— Я слышу, друзья, вы говорите о войне, — сказал человек с отстреленным почти напрочь лицом, от которого сохранилась лишь нижняя часть, а над нею была красная шероховатая поверхность; он неуверенно приподнялся со стула. — Это радует мое сердце! Надеюсь, мне посчастливится дожить до того дня, когда наш народ снова гордо выйдет на поля былых сражений! Надеюсь, современная наука к тому времени достигнет таких успехов, что даже я смогу принять участие! Мне прочитали в одной недавно вышедшей книге, что уже сейчас полагают возможным сделать так, чтобы можно было видеть, а значит, и целиться непосредственно с помощью души. В таком случае вы найдете меня в самых первых рядах, и глаз мой будет зорек — ибо душа у меня, друзья, в полной сохранности!

— Браво, браво!

— Это замечательно!

— Великолепно!

— Такими становятся люди лишь в великое время!

— Да, недаром говорится, что война оставляет печать благородства на человеческом челе! Это прекрасно видно!

— Грандиозно!

— Такой народ! Он воистину непобедим!

— Да, ясно, что мы должны распространить свои идеи по всему миру! Было бы просто возмутительно не поделиться

с другими. А если какой-либо народ не примет их, мы его истребим.

— Разумеется. Ради его же блага. Для любого народа быть истребленным — большее счастье, чем жить, не приобщившись к такому учению!

— Разумеется!

— Мир будет нам благодарен, когда он поймет наши побуждения.

— Да, совершенно необходимо, чтобы человечество через какое-то время разрушало то, что оно раньше создало! Иначе утрачивается детская чистота души. Разрушение значительнее примитивного созидания, в котором проявляется лишь обыкновенная сила привычки. Настали великие, славные времена! Всегда найдутся старательные, работающие муравьи, чтобы *созидать* мир, об этом, право же, не стоит беспокоиться. Но дерзкие умы, способные единым махом смести игрушечный человеческий мирок, чтобы можно было все начать сначала, они приходят редко, лишь тогда, когда мы их достойны.

— Да, мы абсолютно здоровый народ! Поэтому у нас хватает силы духа открыто заявить: мы любим то, что другие именуют угнетением. Лишь расслабленные, дегенеративные расы пугаются этого. Всякий же сильный народ радуется занесенной над ним плетке и чувствует себя при этом превосходно!

— Да, не правда ли! Больше всего окрыляет то, что в наших рядах мы видим молодежь! Молодежь — наша опора! Мужественная, несентиментальная молодежь! Повсюду становится она на нашу сторону, на сторону власть имущих! Молодые герои!

— Да, хватает же смелости!

— Кажется, кто-то что-то сказал?.. Значит, мне просто послышалось.

Возникло какое-то волнение вблизи входной двери, люди зашептались, стали вскакивать с мест, выкидывать руки вверх, все взгляды устремились в одном направлении. Шум пронесся по залу.

— Слава убийцам! Слава убийцам!

Двое хорошо одетых молодых мужчин симпатичной, самой заурядной наружности шли по проходу между рядами рук, с признательной улыбкой кивали направо и налево. Весь зал поднялся, танцевальная музыка смолкла, и другой оркестр, поприличнее, заиграл гимн, который слушали стоя. Тем временем трое официантов бесшумно бросились к вновь прибывшим, а поспешивший за ними метрдотель опрокинул стол с пивными кружками и графином красного вина на каких-то дам, которые тихо и горячо отклонили его торопливое извинение, после чего он ринулся дальше. Зал был переполнен, каким-то гостям пришлось встать и уйти домой, а молодые люди расположились за их столом.

— Вот черт, теперь, куда ни придешь, обязательно сразу узнают.

— Правда, фу ты дьявол, — сказал второй и выпустил изо рта дым сигареты, вытянул ноги под столом в ожидании заказа. — По-моему, это становится утомительным.

— Да уж, если бы мы знали, что быть убийцей так обременительно, мы бы, наверно, ни за что его не пристрелили, этого малого. Кстати, он ведь вроде ничего был парень.

— Да, но по виду заметно было, что он не наш.

— Это-то конечно. Вид у него был черт те какой.

Негритянский оркестр снова стал наяривать джаз, тощая женщина с закутаным в платок ребенком прошла по залу, и даже персонал не обратил на нее внимания, так что немного погодя она сама вышла вон.

— Придешь сегодня ночью трупы перетаскивать?

— Трупы перетаскивать?

— Ну да, надо перетащить кое-каких предателей, врагов нового мировоззрения, с кладбища в болото, там они будут на месте.

— М-м...

— М-м? Не хочешь?

— Не знаю. Что-то мне идея не ясна.

— Идея? Идея нашего движения, приятель!

— О-о... Они же умерли еще до того, как мы начали.

— Ну и дальше?!

— Это уж, по-моему, черт те что.

— Как ты сказал! Ты *не хочешь!* *Отказываешься!*

— Отказываюсь? Я только говорю, что, по-моему, это уж слишком.

— Слишком! Может, это, по-твоему, глупо?

— Нет, ну не то чтобы глупо...

— Слушай, ты, собственно, что хочешь сказать? А ну выкладывай напрямик!

— Что я хочу сказать?.. Какого ты черта в меня вцепился!

— Отказываешься повиноваться приказу?! В рассужденья пускаешься, да?!

— Отпусти, тебе говорят!

— Ишь, чего захотел, так мы тебя и отпустили!

— Да пустите же, дьяволы!

— Слыхали, как он нас обзывает!

— Сволочь! Отказываешься!.. В перебежчики нацелился!..

— Я не отказывался!

— Нет, отказывался!

— Да чего с ним пререкаться, с перебежчиком! Кончай разговор!

Грянул выстрел, и тело глухо бухнулось.

— Унесите эту падаль!

— Да ладно, пусть валяется, кому он мешает,

Джаз продолжал греметь, молодая девушка повернула голову на тоненькой шее.

— Что это там такое? — спросила она.

— Кажется, кого-то застрелили.

— А-а.

Небольшая компания пристроилась за дальним столиком.

— А знаете, что, по-моему, произойдет завтра, ну, о чем они столько говорят?

— Нет.

— Совсем не то, что воображают себе эти сопляки.

— А что же?

— М-м...

Свернув сигарку, он прикурил у соседа, сплюнул табачную крошку.

— Мы ведь тоже умеем нажать на курок, когда надо. И между прочим, бог его знает, не у нас ли они научились кое-каким приемам — если только этому нужно учиться.

— Вряд ли, в наше время у всех в этом деле природная хватка.

— Конечно.

— А недурно бы было прочистить человечество еще разок. Оно в этом явно нуждается.

— Угу, не возражаю принять посильное участие.

Молодая женщина подошла и неслышно села рядом с палачом. Она была похожа на нищенку, но, когда она откинула платок с головы, лицо ее лучилось удивительным, щедрым светом. Она тихо положила свою руку на его, и он повернулся к ней — должно быть, единственной, на кого он посмотрел за все это время. О ней рассказ впереди.

Музыка переменялась, оркестр получше, в другом конце зала, вслед за старой классической мелодией заиграл томное танго. Обстановка была спокойная и одушевленная, но одному господину понадобилось выйти в туалет. Возвращаясь назад, он увидел, что негры сидят и наспех глотают бутерброды позади своей эстрады. С побагровевшим лицом он подошел прямо к ним.

— Да как вы смеете, свиньи этакие! Сидеть и есть вместе с белыми людьми!

Они изумленно обернулись. Ближайший из них приподнялся со стула.

— Что? Что господин хочет сказать?..

— Что я хочу сказать! Ты смеешь сидеть тут и есть, обезьяна поганая!

Чернокожий подскочил как на пружинах, и глаза его сверкнули, но он не решился ничего предпринять.

— Хэлоу, gentlemen *! Хэллоу! — заорал разгневанный госпо-

* Джентльмены (англ.).

дин, адресуясь ко всей публике, и люди начали сбегаться, столпились вокруг него и негров. — Видали вы что-либо подобное! Это же неслыханно! Эти обезьяны сидят и едят вместе с нами!

Поднялся страшнейший переполох.

— Какая наглость! Неслыханно! Вы что думаете, вам тут обезьянник! Так, что ли, по-вашему!

— Нам же тоже надо есть, как всем живым существам! — сказал один из негров.

— Но не вместе с людьми, собака!

— Есть! Вы пришли сюда *играть!* А не есть!

— Вы имеете честь играть для нас, поскольку нам угодно находить удовольствие в вашей музыке! Но извольте вести себя прилично, а иначе вас линчуют! Понятно?!

— Полезайте-ка живо на место!

— Ну! Пошевеливайтесь!

Чернокожие, судя по их виду, не собирались исполнять приказание.

— Да это же форменное пассивное сопротивление, господа! — сказал представительный джентльмен благородной наружности.

— Ну! Долго еще ждать!

— Go on! * Живо полезайте на эстраду!

— Мы голодные! Нам надо поесть, чтобы мы могли играть!

— Голодные! Нет, вы слыхали, а!

— Да, надо! И мы имеем на это право, — сказал огромный детина, с угрозой вскинув глаза.

— Право! Это у тебя-то есть какие-то права! Бессовестный!

— Да, есть! — сказал чернокожий, подступая ближе.

— Что! Это ты белому человеку так отвечаешь, сволочь! — Он ударил ему прямо в лицо.

Негр сжался в комок, задрожал, как зверь, потом с быстротой молнии прыгнул вперед и всадил в него кулак, так что белый господин упал навзничь.

Поднялась невообразимая суматоха. Народ бросился к ним, весь зал пришел в неистовое возбуждение. Чернокожие сбились в тесную кучу, стояли, напряжившись и ошетилившись, с налитыми кровью глазами и белым оскалом зубов, словно какие-то невиданные звери в человеческих джунглях. Грохнул выстрел, и один, отделившись от кучи, рыча и истекая кровью, бросился на белых, в ярости колотил всех без разбора. Остальные с ревом рванулись за ним, но были остановлены револьверами, выстрелы гремели непрерывно, и они, окровавленные, заползли за стулья и столы.

— Ну что, будете вы играть! — крикнул симпатичный белокурый господин и разрядил свой браунинг туда, где они прятались.

* А ну! (англ.).

— Нет! — прорычали чернокожие.

— У нас же есть другой оркестр! — воскликнул кто-то, пытаясь всех успокоить. — Есть же еще один!

— К черту сентиментальную слякоть! Пусть вот эти играют! Живо на эстраду, черномазые обезьяны!

Их выгеснили из укрытий, и опять началась кутерьма, еще хуже прежней, сплошное безумие и столпотворение. Предметы носились в воздухе, как смертоносные снаряды, уличная шваль взгромоздилась на стулья и визжала. Негров гоняли по всему залу.

— Кой черт! Ведь мы же все-таки цивилизованные!..

— Что! Скажешь это слово еще раз — пристрелю!

— Цивилизация, черт ее возьми!

Чернокожий детина, кажется, тот, с кулаком, метался по залу, как бешеный зверь, ногами расшвыривал все на своем пути и раздавал смертельные нокауты направо и налево, но был достигнут метким выстрелом, схватился за грудь и рухнул, растянув губы в широкую, пустую усмешку. Остальные, собрав разрозненные силы, вооружились стульями и крушили черепа тем, кто попадался под руку. Они дрались в слепом остервенении, излучая ненависть белками глаз, пока не падали, сраженные.

— Кусаешься, трусливая собака! — рывкнул богатырь в военной форме полумертвому цветному, лежавшему на полу и стиснувшему челюстями его ногу, направил дуло вниз и послал в него пулю. Черные испускали злобные воинственные клики, как в первобытном лесу, но белые не давали себя запугать, стойко удерживали позиции всего лишь с помощью оружия, револьверные выстрелы трещали, как пулеметные очереди. Это была жаркая, яростная схватка.

Двое молодых убийц не принимали участия, просто сидели и забавлялись, наблюдая за происходящим, — они свое сделали.

Наконец оставшиеся негры были оттеснены в угол и окружены. Их сопротивление было сломлено, пришлось им сдаться на милость победителя.

— Ну то-то же! — Белые перевели дух.

— Живо на эстраду!

Чернокожих вытолкнули на эстраду и заставили взять инструменты.

Мощный господин в смокинге уселся перед ними верхом на стуле и направил на них дуло револьвера.

— Кто не будет играть — прикончу! — заявил он.

И негры играли. Жутко, неистово, с налитыми кровью глазами, с окровавленными руками и лицами, играли, как бешеные. То была музыка, дотоле неслыханная, иступленная, устрашающая, как полночный вой в джунглях и грохот барабана смерти после заката, когда первобытные орды сходились в лесу. Исполнического роста негр стоял впереди всех и, стиснув зубы, выби-

вал, как одержимый, свою бешеную дробь, из зияющей раны на голове струйка бежала по шее, и разодранная сорочка ярко краснелась. Он бил и бил своими окровавленными кулачищами, и звуки остальных инструментов вливались в громовую дробь — это был сплошной нечленораздельный рев.

— Великолепно! Великолепно!

Белые танцевали, подсакивали и припрыгивали в лад музыке. Танцевали повсюду, по всему огромному залу — все бурлило, как клокочущее варево в ведьминой котле. Лица горели после боя и от жары в помещении, тяжелые испарения расходились душными волнами, умирающие хрипели, валяясь между столов, их отшвыривали ногами танцующие пары. Шар под потолком, кутая свои лучи во все цвета, вертелся над смрадной гущей. Женщины сияли сладострастием и красотой, бросали пылкие взгляды на огромного, истекающего кровью негра и вдвигали свою ногу между ног кавалера, мужчины упруго прижимали их к себе, распаленные взглядами и горячим револьвером, что болтался назад, будто воспламенившийся мужской член. Царило неслыханное воодушевление.

Пунцовый от восторга господин с разорванным в бою воротом вскочил на стол неподалеку от палача и размахивал в воздухе браунингом.

— Победа за нами, друзья! Напрасны все попытки выступить против нас! Порядок! Дисциплина! Под их знаком мы побеждаем! На них построим мы свое владычество в мире!

Он жестикулировал и кричал, вокруг собралась толпа послушать его речь.

— И вот в этот знаменательный день, когда мы утвердили превосходство своей расы над всеми другими, мы имеем счастье и радость видеть среди нас представителя дела, которое мы ценим превыше всего! Палач находится среди нас! Мы гордимся тем, что он здесь, ибо это доказывает, если кто-либо не знал этого раньше, что мы живем в великое время! Что век бесчестия и слабости остался позади и новый рассвет занимается над человечеством! Могучий облик палача вселяет в нас уверенность и мужество! Пусть он нас ведет — единственный, за кем мы согласны идти!

Приветствуем тебя, наш вождь, с твоими священными эмблемами, символами всего самого святого и драгоценного, что есть в нашей жизни и что откроет новую эру в истории человечества! Кровь — вот цвет человека! И мы знаем, мы тебя достойны! Мы знаем, ты можешь смело на нас положиться, когда мы, ликуя, возглашаем тебе:

Слава! Слава!

Он спрыгнул со стола и, весь красный, отдуваясь, направился к кумиру.

Палач посмотрел на него, не поднимая головы, не шелохнулся и ничего не ответил.

Пламенный господин пришел от этого в некоторое замешательство, недоумевал, что же ему дальше делать.

— Слава! — крикнул он опять не очень уверенно, выкинув руку вверх, и все вокруг сделали то же самое.

Палач смотрел на них без единого слова.

— Но... но разве ты не палач? — спросили его с некоторым сомнением.

Тот, к кому они обращались, отнял руку ото лба, на котором было выжжено палаческое клеймо, — гул восторга пронесся по толпе.

— Да, я палач! — сказал он. И он поднялся, огромный и устрашающий, в своем кроваво-красном одеянии. Взоры всех обратились к нему, и стало так тихо в гремящем, ревущем зале, что слышен был звук его дыхания.

— От рассвета времен справляю я свою службу, и конца ей покамест не видно. Мелькают чередой тысячелетья, народы восходят и вновь исчезают в ночи, лишь я остаюсь после всех и, забрызганный кровью, оглядываюсь вослед им, я — один из всех — не старею. Верный людям, я иду их дорогой, и не протоптано ими такой потасенной тропки, где не разжигал бы я дымного костра и не орошал землю кровью. Искони я следую за вами и останусь при вас, пока не пройдет ваш век. Когда, осененные божественным откровением, вы впервые обратили взоры к небу, я зарезал брата и принес его в жертву для вас. По сей день помню клонимые ветром деревья и отсветы огня, взметнувшиеся над вашими лицами, когда я вырвал его сердце и бросил в пламень. С тех пор многих принес я в жертву богам и дьяволам, небу и аду, тьмы тем виноватых и безвинных. Народы стирал я с лица земли, империи опустошал и обращал в руины. Все делал, чего вы от меня хотели. Эпохи я провожал в могилу и останавливался на мгновенье, опершись на обгаренный кровью меч, пока новые поколения не призывали меня молодыми, нетерпеливыми голосами. Волны людского моря я взбивал в кровавую пену, и беспокойный шум их я заставлял умолкнуть навек. Пророков и спасителей я сжигал на кострах за ересь. Человеческую жизнь вверх я в пучину ночи. Все я делал для вас.

И поныне меня призывают, и я иду. Я озираю просторы — земля лежит в лихорадке, в жару, а из поднебесной выси слышатся скорбные вскрики птиц. Настал час злу выбросить семя! Настал час палача!

Солнце задыхается в тучах, отсыревший шар его зловеще тлеет пятном запекшейся крови. Вселяя ужас и содроганье, я иду по полям и собираю свою жатву. На челе моем выжжено клеймо преступления, я сам злодей, осужденный и проклятый на вечные времена. Ради вас.

Я осужден служить вам. И несу свою службу верно. Кровь тысячелетий тяготее на мне. Душа моя полна вашей кровью! Глаза мои застланы кровавой пеленой и не могут видеть, когда вой из человеческих дебрей достигаает меня! В ярости крушу я все и вся — как вы того желаете, как вы мне кричите! Я слеп от вашей крови! Слепец, заточенный в вас! Вы моя темница, и мне из нее не вырваться!

Когда в своем доме, доме палача, я подхожу к мутному окну, за которым в вечернем безмолвии спят луга, и вижу цветы и деревья, объятые глубоким, дивным покоем — тогда судьба моя душит меня, и я упал бы без сил, если бы рядом со мной не стояла она.

Он взглянул на нее, на бедную женщину, что была как нищенка, встретился с ней глазами.

— Я отворачиваюсь, ибо мне нестерпимо видеть, как прекрасна земля. А она все стоит и смотрит в окно, покуда не смеркнется.

Она, как и я, узница в нашем общем жилище, но она может видеть земную красу — и жить.

Дом палача она держит в чистоте и прибирает так, будто это жилище человека. На столе, за которым я ем, она расстилает скатерть. Я не знаю, кто она, но она со мною добра.

Когда на дворе темнеет, она гладит рукою мой лоб, говоря, что на нем больше нет палаческого клейма. Она не такая, как все, она может меня любить.

Я спрашивал у людей, кто она, но они не знают ее.

Можете вы сказать мне, для чего она любит меня и смотрит за нашим домом?

Мой дом — это дом палача! Он не должен быть ничем иным! Отчаянье, владеющее мною, сделалось бы лишь еще ужасней!

Я жду, пока она тихо заснет у меня в объятьях, потом встаю, укрываю ее потеплее и собираюсь — бесшумно, чтобы ее не разбудить. Неслышно выхожу я из дому творить свое дело в ночи — вижу зловещее небо, грозно нависшее над землей. Хорошо, что она не проснулась. Хорошо, что я один со своей неизбывной ношей.

Но я знаю, она будет ждать меня, когда я вернусь. Она встретит меня, когда я приду, исполнив свою службу, изнеможенный и выпачканный кровью.

Почему я должен нести на себе всю тяжесть! Почему мне на плечи должно ложиться все! Весь страх, вся вина, все содеянное вами! Почему вся пролитая вами кровь должна вопиять из меня, чтобы мне никогда не ведасть покоя! Проклятья злодеев и жалобы безвинных жертв — почему моя злосчастная душа должна страдать за все!

Осужденные взваливают на меня свои судьбы — я стараюсь не слышать, что они говорят в ожиданье гибели, и однако сло-

ва их во мне остаются. Голоса из далеких тысячелетий вопиют во мне, голоса, позабытые всеми, лишенные жизни, но живущие прежней жизнью во мне! Запах вашей крови будит во мне тошноту, давит на меня неискупимостью вины!

Ваши судьбы я должен тащить на себе, вашей дорогой идти неустанно, когда вы давно нашли отдых от деяний своих в могиле!

Кто выроет могилу такой глубины, чтобы в ней погребсти *меня!* Чтобы *мне* дать забвенья! Кто снимет с плеч моих бремя проклятья и дарует *мне* смертный покой!

Никто! Ибо никто не снесет моей ноши!

В те времена, когда был еще бог, я отправился однажды к нему, дабы изложить свою нужду. Но каков же был его ответ!

Помню, сделал я это потому, что пришлось мне стеречь человека, который говорил, что он спаситель. Он хотел пострадать и умереть за вас и тем принести вам спасенье. Также хотел он снять с меня мое время.

Я не находил в словах его смысла, ибо видел, что он слаб и маломощен, не наделен и обычной мужскою силой, и я над ним смеялся. Он звал себя Мессией и проповедовал мир на земле, и за это был осужден.

Еще ребенком он понял, что должен пострадать и умереть за людей. Он много рассказывал о детстве — они всегда рассказывают о детстве, — о стране, которую он называл Галилеей, будто бы дивно прекрасной — всегда они так говорят. В горах там вешнею порой было множество лилий, он стоял среди них и глядел окрест на светлые поля и понял тогда, что он — сын божий. Он был несчастный безумец, я в этом убедился, едва начавши слушать его речи. И пока он на них глядел, открылось ему, какое слово он проповедует людям, что он им возвестит, и будет это мир на земле. Я спросил, отчего ему надобно умереть, дабы они могли жить в мире, но он мне ответил, что так будет, таково сокровенное согласие. Ибо так ему сказано отцом его, а под этим разумел он самого господа бога. Он был тверд в своей вере, как доброе дитя.

Но, когда приблизилось время его, он убоился и затрепетал, как другие, и, должно быть, уж не был во всем так уверен, как прежде. Я ничего не говорил, он был один со своим страхом, и взгляд его порою уносился, казалось, куда-то далеко. Будто он снова хотел увидеть край своего детства и поля, усыпанные лилиями.

Страх его делался сильнее и сильней. Он упал на колени и начал шептать и молиться: «*Душа моя скорбит смертельно. Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня!*» Мне пришлось тащить его за собой, когда пробил час.

Крест нести у него едва доставало сил, и он шатался в изне-

можении, мне стало жалко смотреть, и я взял его крест и нес за него часть пути. Лишь я это сделал, из других же — никто. Тяжесть была невелика против той, какую я привык нести для людей.

Когда я положил его на крест, то перед тем, как вбивать гвозди, попросил по обычаю прощения. Не знаю отчего, но мне было больно предавать его смерти. И тогда он взглянул на меня добрыми, испуганными глазами — глазами не преступника, но просто несчастного человека. «Я прощаю тебе, брат мой», — сказал он мне тихим голосом. И один из стоявших вблизи утверждал, будто клеймо палача исчезло со лба моего, когда он это говорил, хотя сам я этому не верю.

Я не знаю, для чего он так меня назвал! Но из-за этого одного я тогда словно распинал родного брата. Ни с одним из тех, кто прошел через руки мои, не было мне столь тяжело. Когда делаешь то, что делаю я, поневоле приходится время от времени взглядывать на жертву, и он — он не походил ни на одну из прежних моих жертв.

Мне не забыть его глаза, когда он на меня посмотрел! Когда он сказал те слова!

Я так хорошо это помню! Я, сохранивший в себе все голоса и всю пролитую кровь, все, что вами давно забыто!

Почему я должен страдать! Почему я должен взваливать все на себя — ради вас! Почему я должен брать на себя ваш грех!

Мне ведь и плетью пришлось его бить на темничном дворе, как будто он и без того бы не умер, — тело его у меня под руками было израненное и вспухшее. И так мне сделалось все постыло, что я едва смог поднять его крест.

Люди же возрадовались, когда я его поднял. Они кричали и ликовали, увидев, что он наконец висит. Я не запомню подобной радости на месте казни, как в день, когда я распял его! И они насмеялись над ним, и глумились, и изрыгали хулу на несчастного, пеняя ему, что он возомнил себя их Мессией, их Христом, и что они там еще про него говорили. Они плевали в него, смеясь над его страданьем. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть людей в ту минуту, когда он спасал их. И, быть может, старался думать о том, что все же он царь их и божий помазанник. Терновый венец, ими сплетенный, смешно свесился набок на его окровавленной голове. Мне стало тошно смотреть, и я отвернулся.

Но прежде чем он испустил дух, сделалась тьма по всей земле, и я слышал, как он громким голосом возопил:

— Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил!

И тогда мне стало совсем невмочь там быть. Вскоре затем он

умер, что было благо. И мы тотчас сняли его, ибо наступала суббота, а в этот день нельзя было оставить тело на кресте.

Когда все ушли готовиться к субботе и вокруг, наконец, опустело, я сел там, на лобном месте, среди трупного смрада и нечистот. И, помню, сидел под звездами до поздней ночи. Тогда-то и надумал я направить стопы свои к богу, дабы с ним поговорить.

И, покинув землю, я отправился в небеса, где хотя бы дышалось вольней и легче. Я шел и шел, сам не знаю, сколько. Он жил ужасающе далеко, господь бог.

Наконец он предстал мне — огромный и величавый, он восседал на престоле среди небесных просторов. Я устремился туда и приступил к нему, положив свой кровавый топор к подножью престола.

— Мне постыло мое ремесло! — сказал я ему. — Не довольно ль я его справлял! Пора тебе меня освободить!

Но он сидел, вперившись в пустоту, недвижимый и словно окаменелый.

— Слышишь! С меня довольно моей палаческой службы! Мне ее долее не вынести! Не могу я жить среди крови и ужасов, среди всего, что свершается твоим попусшением! И какой во всем этом смысл, можешь ли ты мне сказать! Я нес свою службу верно, делал все, что было в моих силах, но нет более сил моих! Я не выдержу этого! Будет с меня! Ты слышишь!

Но он не замечал меня. Шаровидные очеса его, пустые и мертвенные, уставлены были в пространство, как в пустыню. Страх меня обьял и нестерпимое отчаяние.

— Сегодня я распял твоего единородного сына! — крикнул я в диком неистовстве. Но ни одна черта не дрогнула в суровом, бесчувственном лице его. Оно словно вырублено было из камня.

Я стоял среди холодного безмолвия, и ветер вечности пронизывал меня своим ледяным дыханием. Что мне было делать? С кем говорить? Не осталось ничего! Я взял свой топор и отправился обратно тою же дорогой.

Я понял, что он не был его сыном. Он был из человеческого рода, и надо ль удивляться, что обошлись с ним так, как принято у них обходиться со своими. Они всего лишь распяли одного из себе подобных, как было у них в обычае. Я шел, негодуя и возмущаясь, и зяб на обратном пути.

Его не стало, как и других, и он нашел успокоенье. Моя же злосчастная душа обречена длить свой путь ныне, и присно, и во веки веков. Я должен был вернуться на землю и вновь ступить на скорбную стезю — иного мне было не дано. И никто не мог мне помочь!

Нет. Он не был их спаситель. Под силу ли это такому, как он! У него были руки подростка, меня мучила жалость, когда я вби-

вал в них гвозди, стараясь пропустить их между хрупкими костями. Я сомневался, удержится ли он на них, когда повиснет. Под силу ли такому спасти людей!

Когда я пронзил ему бок, чтобы посмотреть, скоро ль его можно снимать, он был уже мертв, намного раньше, чем они обычно умирают.

Какой он был спаситель, этот несчастный! Как мог бы он *вам* помочь! И снять с меня мое бремя! Какой он был Христос для людей! Я понял, почему служить вам должен я! Почему вы призываете *меня*!

Я ваш Христос, с палаческим клеймом на челе! Ниспосланный вам свыше!

Ради вражды на земле и в человеках зловоления!

Бога своего вы обратили в камень! Он мертв давным-давно. Я же, ваш Христос, я живу! Я плод его великой мысли, я сын его, зачатый им с вами и рожденный, когда он еще был могуч, когда он жил и знал, чего хотел! Какой он в это вкладывал смысл! Теперь он высится недвижно на престоле, подтачиваемом временем, как прокаженный, и мертвящий ветер вечности уносит прах его в небесную пустыню. Я же Христос, я живу! Дабы вы могли жить! Я свершаю по миру свой ратный путь и вседневно спасаю вас в крови! И *меня* вы никогда не распнете!

Я тоскую по жертвенной смерти — как когда-то мой несчастный, беспомощный брат. Быть пригвожденным к кресту — и испустить дух, растворившись в глубокой, милосердной тьме! Но я знаю, этот час не придет никогда. Я должен исполнять свою службу, доколе пребудете вы. *Мой* крест никогда не будет поднят! В конце концов я завершу свой труд, и у меня не останется дел на земле, но и тогда моей неуспокоенной душе мчаться безудержно сквозь тьму вселенной ночи в смертной обители отца моего, вечно скитаться, преследуемой страхом и терзаниями за все, содеянное мной для вас!

И все же я тоскую об этом. Чтобы настал конец, чтобы не множить долее тяжелой вины.

Я тоскую о времени, когда вы будете стерты с лица земли и занесенная рука моя сможет наконец опуститься. Тихо, нет больше хриплых голосов, взывающих ко мне, я стою одиноко и гляжу окрест себя, понимаю, что все завершено.

И я ухожу в вечную тьму, швырнув на пустынную землю свой кровавый топор — в память о человеческом роде, некогда здесь обитавшем!

Он смотрел поверх их голов суровым, сверкающим взором. Потом оттолкнул стол и грозно зашагал к выходу.

Он взялся за дверь, но женщина, что сидела возле него и была похожа на нищенку, поднялась с места и заговорила с ним

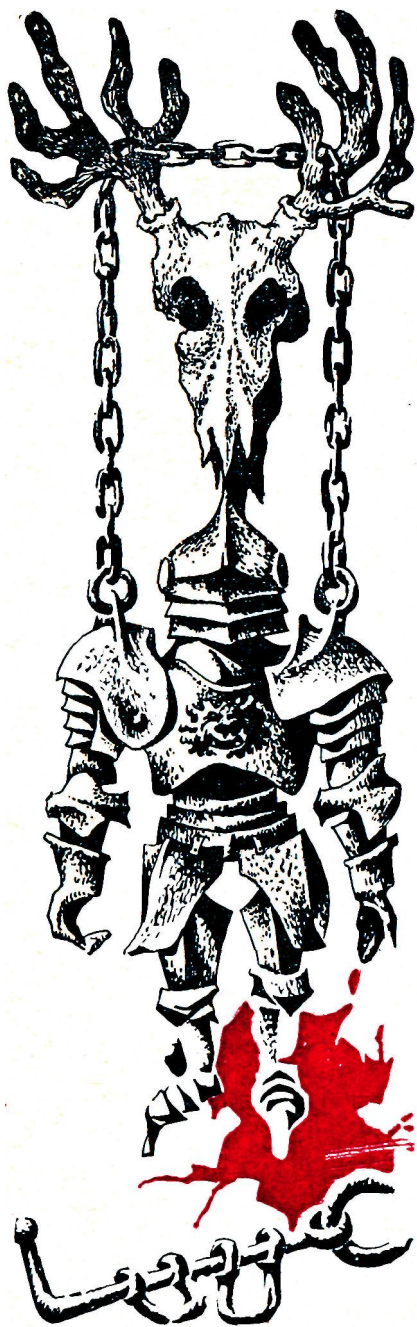
ясным и тихим голосом, и лицо ее светилось глубоким, мучительным счастьем.

— Ты знаешь, что я буду ждать тебя! Я буду ждать тебя среди берез, когда ты придешь, изнеможенный и выпачканный кровью. И ты приклонишь ко мне свою голову, и я тебя буду любить. Я поцелую твой горящий лоб и сотру кровь с твоей руки.

Ты знаешь, что я буду ждать тебя!

Он смотрел на нее с тихой печальной улыбкой. С улицы донесся глухой барабанный бой — он постоял, прислушиваясь.

Потом он взялся рукой за пояс и вышел навстречу мглистому рассвету.



Рост у меня хороший, 26 дюймов, сложен я пропорционально, разве что голова великовата. Волосы не черные, как у других, а рыжеватые, очень жесткие и очень густые, зачесанные назад с висков и широкого, хоть и не слишком высокого, лба. Лицо у меня безбородое, но в остальном точно такое же, как у других мужчин. Брови сросшиеся. Я очень сильный, особенно если разозлюсь. Когда устроили состязание по борьбе между мной и Йосафатом, я через двадцать минут положил его на обе лопатки и задушил. С тех пор я единственный карлик при здешнем дворе.

Большинство карликов — шуты. Их дело молоть чепуху и фиглярничать, чтоб посмеяться господ и гостей. Я никогда ни до чего подобного не унижался. Да никто мне этого и не предлагал. Уже одна моя внешность не позволяет меня

использовать на такой роли. Наружность у меня неподходящая для уморительных кривляний. И я никогда не смеюсь.

Я не шут. Я карлик, и только карлик.

Зато у меня острый язык, что, возможно, и забавляет кое-кого из окружающих. Но это совсем не то, что быть их шутом.

Я упомянул, что лицо у меня в точности как у всех остальных мужчин. Это не вполне верно, поскольку оно очень морщинистое, все сплошь в морщинах. Я не считаю это недостатком. Так я создан, и мне нет дела, если другие созданы иначе. Мое лицо показывает, какой я есть, не приукрашивая и не искажая. Может, лицо и не должно быть таким, но мне мое именно этим и нравится.

Из-за морщин я кажусь очень старым. Я не стар. Но, как я слышал, мы, карлики, ведем свое происхождение от племени более древнего, чем то, которое населяет нынче землю, и потому рождаемся стариками. Не знаю, правда ли это, но если правда, то, выходит, мы существа изначальные. Я рад, что принадлежу к другой породе и что все это видят.

Мне кажется, лица других людей совершенно ничего не говорят.

Мои господа очень благоволят ко мне, особенно герцог, человек великий и могущественный. Человек великих замыслов и способный к тому же претворять их в жизнь. Человек действия, и вместе с тем просвещенный правитель, который на все находит время и любит потолковать о самых различных материях. За этими разговорами он ловко скрывает собственные мысли.

Казалось бы, какой смысл интересоваться всем сразу — если только он действительно интересуется, — но, возможно, так оно и должно быть, возможно, его интересы и должны быть всеобъемлющи, на то он и герцог. Такое впечатление, будто он все на свете постиг и всем овладел, или, во всяком случае, к тому стремится. Никто не станет отрицать, что личность он внушительная. Он единственный, кого я не презираю.

Он очень фальшив.

Я знаю своего господина достаточно хорошо. Но я бы не сказал, что знаю его досконально. Это сложная натура, в которой не так легко разобраться. Было бы ошибкой утверждать, что он таит в себе какие-то особые загадки, вовсе нет, но подобрать к нему ключ не так просто. Признаться, я его толком не понимаю и сам удивляюсь, отчего с такой собачьей преданностью хожу за ним по пятам. Но он-то меня тоже не понимает.

Он не внушает мне того благоговения, как всем прочим. Но

мне нравится служить господину, который внушает благоговение. Он великий человек, я этого не отрицаю. Но никто не может быть велик в глазах своего карлика.

Я следую за ним неотступно, как тень.

Герцогиня Теодора в большой от меня зависимости. Я храню ее тайну в своем сердце. Никогда, ни разу не обмолвился я ни единым словом. И пусть бы меня истязали на дыбе, в камере пыток со всеми ее ужасами, я все равно ничего бы не выдал. Почему? Сам не знаю. Я ее ненавижу, я хочу ее смерти, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени, с раскоряченными ногами, и как огонь лижет ее гнусное лоно. Я ненавижу ее распутную жизнь, ее бесстыдные письма, которые она пересылает через меня своим любовникам, ее интимные словечки, что раскаленными угольями жгут мне грудь. Но я ее не выдам. Я постоянно рискую ради нее жизнью.

Когда она зовет меня к себе, в свои покои, и шепчет доверительно свои наказы, пряча мне под камзол любовные письма, я дрожу всем телом, и кровь кидается мне в лицо. Но она ничего не замечает, ей и в голову не приходит, что поручение может стоить мне жизни. Не ей, а мне! Она лишь улыбается своей едва приметной, полуотсутствующей улыбкой и отсылает меня, куда ей надо, навстречу риску и смертельной опасности. Мое участие в ее тайной жизни она ни во что не ставит. Но она мне доверяет.

Я ненавижу всех ее любовников. На каждого из них я готов был наброситься и проткнуть кинжалом, чтоб полюбоваться на его кровь. Особенно я ненавижу дону Рикардо, с которым она в связи уже много лет и, похоже, не думает расставаться. Он мне отвратителен.

Иногда она зовет меня к себе, еще не вставши с постели, и является мне во всем своем бесстыдстве. Она уже не молода, видно, какие у нее обвислые груди, когда, лежа вот так в постели, она забавляется со своими драгоценностями, выуживает их из ларца, что держит стоящая перед ней камеристка. Не понимаю, как ее можно любить. В ней нет ничего, что вызывало бы вожделение мужчины. Заметно лишь, что когда-то она была красива.

Она спрашивает, как по-моему, какие украшения ей сегодня надеть. Она вечно меня про это спрашивает. Она пропускает их между своими тонкими пальцами и лениво потягивается под плотным шелковым покрывалом. Она шлюха. Шлюха в большой и роскошной герцогской постели. Вся ее жизнь в любви. Она пропускает любовь между пальцами, лежит и глядит с отсутствующей улыбкой, как та утекает.

В такие минуты она легко впадает в меланхолию, а может, просто притворяется. Томным жестом она прикладывает к шее золотую цепочку, крупный рубин пылает между ее все еще очень

красивыми грудями, и она спрашивает, как я считаю, надеть ли ей эту цепочку. Постель пропитана ее запахом, от которого меня тошнит. Я ее ненавижу, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени. Однако я отвечаю, что, по-моему, лучше не подберешь, и она посылает мне благодарный взгляд, словно я разделил ее скорбь и подарил грустное утешение.

Иногда она называет меня своим злым другом. Однажды она спросила, люблю ли я ее.

Что знает герцог? Ничего не знает? Или, может, все?

Такое впечатление, словно он и не задумывался никогда насчет ее тайной жизни. Он знает ее лишь в дневном ее воплощении, поскольку сам-то он существо дневное, все в нем как бы освещено ярким дневным светом. Просто удивительно, что такой человек, как он, может быть мне непонятен — именно он. Возможно, потому, что я его карлик. И как я уже сказал, он меня тоже не понимает! Герцогиня мне понятнее, чем он. И вот это уже не удивительно, ведь ее я ненавижу. Кого не ненавидишь, того трудно понять, тут ты безоружен, тебе нечем вскрыть человека.

В каких он отношениях с герцогиней? Тоже ее любовник? Быть может, единственный ее подлинный любовник? Не потому ли его словно бы и не трогает, что она втихомолку вытворяет? Я, например, возмущаюсь — а ему все равно?

Я не в силах постичь этого невозмутимого человека. Его снисходительность меня бесит, постоянно выводит из себя. Если бы он был такой, как я!

При дворе у нас толчется множество самой странной и бесполезной публики. Мудрецы, часами просиживающие, обхватив головы руками, в надежде отыскать смысл жизни, ученые, воображающие, будто способны своими старческими слезящимися глазами проследить пути небесных светил, обозначившие якобы человеческие судьбы. Бездельники и пройдохи, декламирующие придворным дамам ночи напролет свои томные стишки, а на рассвете блюющие по канавам — одного такого проткнули однажды насмерть там же, в канаве, а другой, помнится, отвел розог за то, что написал бранные стишки про кавалера Морошелли. Живописцы, ведущие распутную жизнь и заполоняющие церкви благолепными изображениями святых, зодчие и рисовальщики, которым поручили сейчас возвести новую кампанию* при соборе, ясновидцы и шарлатаны всех мастей. Весь этот праздношатающийся люд появляется и исчезает, когда ему вздумается, но есть и такие, что живут здесь подолгу, как свои — и все пользуются гостеприимством герцога.

* В итальянской архитектуре средних веков и эпохи Возрождения — колокольня, стоящая, как правило, отдельно от храма.

Непонятно, зачем ему весь этот сброд. И совсем уж непостижимо, как он может часами слушать их дурацкую болтовню. Можно еще послушать часок-другой поэтов, они все равно что шуты — таких всегда при дворах держат. Они воспевают чистоту и возвышенность человеческой души, великие события и героические подвиги. И тут уж ничего не скажешь, особенно если они в своих виршах льстят хозяину. Лесть человеку необходима, иначе он не сможет стать тем, кем ему предназначено быть, даже в своих собственных глазах. И в настоящем, и в прошлом немало найдется прекрасного и возвышенного, которое никогда не стало бы прекрасным и возвышенным, если бы не было воспето поэтами. Они воспевают прежде всего любовь, и это тоже правильно, поскольку любовь как раз больше всего нуждается, чтобы из нее делали нечто иное, чем то, что она есть. Дамы сразу становятся печальны, и грудь их колышется от вздохов, мужчины начинают глядеть отсутствующим, мечтательным взором, потому что всем им отлично известно, как оно обстоит в действительности, а, значит, рассуждают они, стихотворение получилось и в самом деле прекрасное. Мне понятно также, что должны существовать живописцы, которые малевали бы для простого народа изображения святых, чтобы людям было кому молиться, кому-нибудь не такому нищему и грязному, как они сами; красивые изображения мучеников, получивших вознаграждение на том свете, заимевших драгоценные одежды и золотой обруч вокруг головы, как оно и положено за их жалкое существование на земле. И наглядные изображения, показывающие черни, что их Бог распят, что его распяли, когда он пытался как-то наладить порядки на земле, и что, выходит, надеяться в этой жизни им не на что. Такого рода примитивные ремесленники нужны, я понимаю, всякому герцогу, не понимаю только, что им в замке-то делать. Они создают для людей нечто жизненно важное, храм, красиво разукрашенную камеру пыток, куда в любой момент можно зайти, чтоб обрести мир. И где извечно и терпеливо висит на своем кресте их Бог. Все это мне понятно, потому что я и сам христианин, крещен в ту же веру, что и они. И крещение это имеет действительную силу, хотя крестили меня только шуточки ради: при бракосочетании герцога Гонзаго с донной Еленой меня понесли крестить в дворцовой купели вроде бы как их первенца — будто бы невеста, всем на удивление, разрешилась от бремени как раз ко дню свадьбы. Я много раз слышал, как об этом рассказывали, словно о чем-то ужасно забавном, да так оно и было, я и сам могу подтвердить, потому что мне уже исполнилось восемнадцать, когда это произошло, то есть, когда наш герцог одолжил меня им для этой церемонии.

Но совершенно уж непонятно, как можно часами сидеть и слушать тех, кто толкует о смысле жизни. Философов с их глупокоммысленными рассуждениями о жизни и смерти и разных там

вечных вопросах, всякие лукавые измышления о добродетели, о чести, о рыцарстве. И тех, кто воображает, будто им ведомо что-то о звездах, кто думает, будто существует какая-то связь между ними и человеческими судьбами. Они богохульники, хотя в чем их богохульство, я не знаю, мне нет до этого дела. Они шуты и сами даже не подозревают о том, да и никто не подозревает, никто над ними не смеется, никого их выдумки не веселят. Зачем их держат при дворе — никому не известно. А герцог слушает их так, будто в их словах скрыт невесть какой смысл, сидит и с задумчивым видом поглаживает бороду и велит мне подливать им в серебряные кубки, такие же, как у него самого. Только и посмеются, если кто посадит меня к себе на колени, чтобы мне удобнее было наливать им вино.

Кто может знать что-нибудь про звезды? Кто способен истолковать их тайнопись? Уж не эти ли бездельники? Они воображают, будто могут разговаривать со вселенной, и радуются, получая мудреные ответы. Разворачивают свои карты звездного неба и читают в небесах, как по книге. Только книга-то эта ими же самими и написана, а звезды движутся своими собственными неизвестными путями, даже и не подозревая, что там в ней сказано.

Я тоже читаю в книге ночи. Но я не берусь толковать. Я различаю письмена, но я понимаю, что они не могут быть истолкованы — и в том моя мудрость.

Они целыми ночами просиживают в своей башне, в западной башне замка, со всякими там подозрными трубами и квадрантами, и думают, что общаются со вселенной. А я сижу в противоположной башне, где помещаются старинные покои для карликов и где я живу один с тех пор, как задушил Йосафата, где потолки низкие, в самый раз для нашего племени, а окна маленькие, как бойницы. Прежде здесь жило много карликов, собранных отовсюду, из самых дальних стран, вплоть до государства мавров, дары от герцогов, пап и кардиналов, либо обменный товар — и такое ведь не редкость. У нас, карликов, нет ни родного дома, ни отца с матерью, мы рождаемся украдкой, все равно где, все равно от кого, хоть от беднейших из бедняков, лишь бы род наш не вымер. И когда эти чужие нам родители обнаруживают, что обзавелись существом нашего племени, они продают нас владетельным государям, чтобы мы тешили их своим уродством и служили им шутами. Так же вот и я сам продан был моей матерью, которая отвернулась от меня с брезгливостью, увидавши, кого она родила, ей и невдомек было, что я существо древнейшего рода. Она получила за меня двадцать эскудо и купила на них три локтя материи себе на платье и сторожевого пса для своих овец.

Я сижу возле карликового окошка и гляжу в ночь испытующе, как и они. Мне не требуется никаких подозрных труб, мой взгляд и без того достаточно остр. Я тоже читаю в книге ночи.

Есть одно, и очень простое, объяснение, почему герцог так интересуется всеми этими учеными, живописцами, философами и звездочетами. Ему хочется, чтобы его двор прославился на весь мир, а сам он заслужил бы почет и всеобщее признание. Вполне объяснимое желание: насколько мне известно, все люди по возможности стремятся к тому же.

Я прекрасно его понимаю и вполне с ним согласен.

Кондотьер Боккаросса прибыл в город и разместился вместе с большой свитой в палаццо Джеральди, которое пустоет со времени изгнания этой семьи. Он нанес герцогу визит, который длился несколько часов. Никому не дозволено было присутствовать. Это великий и прославленный кондотьер.

Работы на строительстве кампанилы начались, и мы были там и смотрели, как продвинулось у них дело. Кампанила будет намного возвышаться над соборным куполом, и, когда ударят в колокола, звон раздастся словно из поднебесья. Прекрасная мысль, действительно достойная называться мыслью. Колокола будут выше всех других колоколов в Италии. Герцог очень увлечен новым сооружением, и его можно понять. Он еще раз просмотрел на месте эскизы и пришел в восторг от барельефов, изображающих сцены из жизни распятого, которыми украшают сейчас основание его кампанилы. Дальше этого дело пока не продвинулось.

Может, ее так никогда и не закончат. Многие из задуманных моим герцогом построек остаются незаконченными. Они высятся полузавершенные, словно руины какого-то великого замысла. Но в конце концов и руины — памятник тому, кто их воздвиг, и я никогда не отрицал, что он великий герцог. Когда он идет по улицам, я с удовольствием иду рядом. Все смотрят выше, на него, никто не замечает меня. Но это ничего не значит. Они почтительно его приветствуют, словно какое-нибудь высшее существо, но только потому, что все они трусливая, раболепная чернь, а не потому, что действительно любят или почитают его, как он думает. Иду я один, так они меня тотчас заметят, и орут мне вслед ругательства. Это его карлик! Дашь ему пинка — дашь пинка его господину! На такое они не осмеливаются, зато швыряют мне вслед дохлых крыс и разную другую нечисть из мусорных свалок. Когда же я, разозлившись, выхватываю шпагу, они хохочут надо мной. Ох и могучий же у нас повелитель! — орут они. Я не могу защищаться, поскольку сражаемся мы разным оружием. Я вынужден спасаться бегством, с ног до головы залепленный всякой гадостью.

Карлику обо всем и всегда известно больше, чем его господину.

Признаться, я вовсе не против потерпеть за моего герцога. Лишнее в конце концов доказательство, что я часть его самого и в известных случаях представляю его собственную высокую персону. Невежественная чернь и та понимает, что карлик господина — это, в сущности, он сам, так же как замок с его башнями и шпилями — он сам, и двор с его роскошью и великолепием — он сам, и палач, отрубающий головы на площади, и казна с ее несчетными сокровищами, и главный дворецкий, одевающий в голодное время хлебом бедняков, — все это ОН САМ. Они чувствуют, какую власть я, в сущности, представляю. И я всегда испытываю удовлетворение, подмечая, что меня ненавидят.

Одеваться я стараюсь по возможности так же, как герцог, те же ткани и тот же покрой. Те куски, что остаются, когда ему шьется платье, используются потом для меня. У бедра я всегда ношу шпагу, как и он, только покороче. И осанка у меня, если присмотреться, такая же гордая, как у него.

В общем, я получаю очень похожим на герцога, только что ростом поменьше. Если посмотреть на меня через стекло, какое те шуты в западной башне наводят на звезды, можно, наверное, подумать, что я — это он.

Между карликами и детьми большая разница. Поскольку они ростом одинаковы, то и думают, что они друг другу подходят, а они вовсе не подходят. Карликов часто заставляют играть с детьми, не соображая, что карлик — противоположность ребенку, что он родится старым. Детьми карлики никогда, насколько я знаю, не играют, для чего им играть, да оно и выглядело бы странно при их морщинистых стариковских лицах. Настоящее издевательство — принуждать нас к этому. Но люди ведь ничего про нас не знают.

Мои господа никогда не заставляли меня играть с Анжеликой. Зато сама она заставляла. Я не хочу сказать, что она делала это по злобе, но, когда я вспоминаю то время, особенно первые годы ее детства, мне начинает казаться, что мучили меня нарочно, с изощренной злобой. Этот ребенок с его круглыми голубыми глазами и капризным ротиком, которым иные так восхищались, мучил меня, как никто из дворцовой челяди. Дня не проходило, чтоб она с утра пораньше не притащилась ко мне наверх (в то время она едва умела ходить!), и непременно с котенком под мышкой. — Пикколино, хочешь с нами поиграть? Я отвечаю: — Я никак не могу, у меня есть дела поважнее, мне сегодня не до игр. — А что ты будешь делать? — спрашивает она бесцеремонно. — Маленьким этого не понять, — отвечаю я. — Но ты же все равно пойдешь на улицу, нельзя спать целый день! Я встала уже давно-предавно. И мне приходится идти с ней, не осмеливаюсь отказаться из-за господ, хотя внутри у меня все кипит от ярости.

Она берет меня за руку, будто я ей приятель, вечно ей надо держаться за руку, хотя для меня ничего нет противнее липких детских рук. Я в ярости сжимаю пальцы в кулак, но она все равно цепляется, и таскает меня повсюду за собой, и болтает без умолку. К своим куклам, которых надо кормить и наряжать, к слепым щенкам, которые копошатся в корзинке у собачьей будки, в розарий, где нам обязательно надо поиграть с котенком. У нее докучливая страсть ко всяким животным, и не ко взрослым животным, а к их детенышам, ко всему маленькому. И она способна целую вечность играть со своим котенком и считает, что я тоже должен. Она думает, что я тоже ребенок и, как ребенок, всему радуюсь. Это я-то! Я ничему не радуюсь.

Случается, правда, что в ее голове и пробудится разумная мысль, когда она вдруг заметит, как я измучен и озлоблен, она, случается, удивленно взглянет на меня, на мое морщинистое, древнее лицо. — Почему тебе не нравится играть?

И не получивши никакого ответа ни от моих стиснутых губ, ни от моих холодных глаз, умудренных опытом тысячелетий, она посмотрит на меня с каким-то новым, пугливым выражением в своем младенческом взгляде и на некоторое время замолкнет.

Что такое игра? Бессмысленная возня... ни с чем. Странное притворство в обращении с вещами и явлениями. Их принимают не за то, что они суть на самом деле, не всерьез. Астрологи играют в свои звезды, герцог играет в свои постройки, свои церкви, барельефы и кампанилы, Анжелика играет в свои куклы — все играют, все притворяются. Один я презираю притворство, один я *всерьез*.

Однажды я тихонько прокрался к ней, покуда она спала, положив котенка рядом с собой, и отсек ему кинжалом голову. И вышвырнул его в окно на мусорную свалку. Я был в такой ярости, что едва ли сознавал, что делаю. То есть сознавать-то я прекрасно сознавал, я приводил в исполнение план, который давно уже созрел во мне в часы наших тошнотворных игр в розарий. Она была безутешна, обнаружив, что он исчез, и, когда все стали говорить, что он, конечно же, погиб, она слегла в какой-то никому не известной горячке и долго болела, так что я избавлен был от необходимости ее видеть. Когда же она в конце концов поправилась, мне пришлось, разумеется, без конца выслушивать скорбный рассказ о судьбе ее любимца, о непонятном его исчезновении. Никто не стал ломать себе голову, куда девалась кошка, зато весь двор был до смерти напуган неизвестно откуда взявшимися на шею девочки пятнышками крови, которые, по общему мнению, могли быть дурным предзнаменованием. Люди ужасно любят отыскивать всякие предзнаменования.

Мне не было от нее покоя практически все годы ее детства, хотя игры со временем менялись. Вечно она мне надоедала и приставала со своими секретами и своей дружбой, хотя мне ее

дружба была совершенно ни к чему. Иногда я думаю, не объяснялась ли ее назойливая привязанность ко мне тем же самым, чем объяснялась ее страсть к котяткам, щеняткам, утяткам и тому подобному. Возможно, она не ладила с миром взрослых, возможно, боялась его, была чем-то напугана. Но я-то тут при чем! Если она и чувствовала себя одинокой, я-то что мог поделывать. Но она неизвестно почему продолжала ко мне липнуть, и даже потом, когда вышла из младенческого возраста. Мать бросила ею интересоваться, поскольку та перестала заменять ей куклу, — она тоже играет, все люди играют, у отца же, разумеется, хватало других забот. А возможно, он и по иной причине не слишком ею интересовался. Но об этом я не намерен высказываться.

Только лет уже с десяти-двенадцати она стала молчаливой, стала замыкаться в себе, и я наконец избавился от нее. С тех пор, слава тебе, господи, она оставила меня в покое и живет сама по себе. Но, случается, меня и теперь душит злость, как подумаю, сколько я из-за нее вытерпел.

Теперь она уже становится взрослой, ей исполнилось пятнадцать, и скоро, пожалуй, на нее будут смотреть как на даму. Но она до сих пор очень ребячлива и держит себя вовсе не как знатная дама. Кто ее отец, кстати, неизвестно, возможно, герцог, но очень возможно, что она просто ублюдок, и тогда с ней совершенно напрасно обращаются как с герцогской дочерью. Некоторые говорят, что она красива. Я не могу отыскать ничего красивого в этом ребячьем лице с полукрытым ртом и большими глазами, в которых нет ни проблеска мысли.

Любовь смертна. И когда она умирает, то начинает разлагаться, и гнить, и может образовать почву для новой любви. Мертвая любовь живет тогда своей невидимой жизнью в живой, и, в сущности, у любви нет смерти.

К такому именно заключению пришла, насколько я понимаю, на основании собственного опыта герцогиня, и на нем она строит свое счастье. Ведь нет сомнения, что она счастлива. Она и вокруг себя распространяет счастье на свой манер. В настоящее время дон Рикардо счастлив.

Герцог, возможно, также. Ибо то чувство, которое он пробудил в ней когда-то, еще живо. Он притворяется, будто ее любовь жива. Оба они притворяются, будто их любовь жива.

Когда-то у герцогини был любовник, которого она отдала на пытки за то, что он ее обманул. Она устроила так, что герцог, ничего не подозревавший, осудил его за преступление, которого он не совершал. Я был единственным, кто знал всю правду. И я присутствовал при пытках, чтобы рассказать ей потом, как он себя вел. Он вел себя вовсе не по-геройски, а примерно так же, как и все они.

Быть может, он и есть отец девчонки. Откуда мне знать.

Но возможно, что и герцог. Ведь герцогиня улещала его тогда сладостнейшими способами, и любовь их переживала в ту пору новую весну. Она обнимала его каждую ночь и подставляла ему свое обманутое лоно, изголодавшееся по потерянному любовнику. Она ласкала своего герцога, словно мужчину, которого скоро поведут на пытки. И герцог ласкал ее в ответ, как в их первые жаркие любовные ночи. Мертвая любовь жила своей таинственной жизнью в живой.

Духовник герцогини является каждую субботу утром в отведенное ему время. К его приходу она давно уже на ногах, и одежда, и не один час отстояла на коленях перед распятием. Она готова к исповеди.

Ей не в чем исповедоваться. И она не обманывает и не кривит душой. Напротив, она говорит со всей искренностью, от всего сердца. Она не ведает греха. Она не знает за собой ничего дурного. Вот разве что погорячилась немного, когда камеристка неловко укладывала ей волосы. Она — чистая, неисписанная страница, и духовник с улыбкой склоняется над ней, словно над нетронутой девственницей.

Взгляд у нее после молитвы, после общения с Распятием ясный и проникновенный. Замученный человек, висящий на своем игрушечном кресте, пострадал за нее, и все грехи бесследно стерты с ее души, даже самая память о них. Она чувствует себя подкрепленной и словно помолодевшей, но в то же время она настроена благоговейно и сосредоточенно, что идет к ее серьезному, ненаруяменному лицу и к ее скромному черному платью. Она садится и пишет любовнику письмо про свое самочувствие, спокойное сестринское письмо, в котором нет ни слова про любовь и свидания. Будучи в таком настроении, она не терпит ни малейшего намека на легкомыслие. Я отношу письмо любовнику.

Нет никакого сомнения в том, что она истово религиозна. Религия для нее нечто существенное, нечто жизненно необходимое. Она в ней нуждается, и она ею пользуется. Она часть ее сердца, ее души.

Религиозен ли герцог? На это ответить труднее. В какой-то мере, конечно, да, поскольку он соединяет в себе все и вся, объемлет *все* — но можно ли назвать это религиозностью? Ему нравится, что на свете существует такая вещь, как религия, ему нравится послушать про нее, послушать занимательные, искусные споры насчет сути божественной веры — разве может что-нибудь человеческое быть ему чуждо? Ему нравятся запрестольные образы, и мадонны знаменитых мастеров, и красивые, вели-

чественные храмы, в особенности те, которые он сам построил. Не знаю, религиозность ли это. Очень может быть. Если говорить о нем как о *правителе*, то он бесспорно привержен религии. Не менее искренне, чем она. Ему понятна потребность народа в религии, понятно, что ее следует удовлетворять, и его двери всегда открыты для тех, кто занимается удовлетворением этой потребности. Прелаты и разные другие духовные лица так и шмыгают в эти двери взад-вперед. Но религиозен ли он *сам по себе, лично*? Это совсем другое дело — тут я не намерен высказываться.

А вот насчет *нее* сомневаться, как я говорил, не приходится, она действительно истово религиозна.

Возможно, они оба религиозны, каждый на свой лад?

Что такое религия? Я много над этим размышлял, но все тщетно.

Особенно много размышлял я над этим в тот раз, когда на карнавальном празднике, тому уж несколько лет, меня заставили служить за епископа, в полном облачении, и причащать Святых Тайн карликов Мантуанского двора, которых их герцог взял с собой на карнавал. Мы собрались у маленького алтаря, сооруженного в одной из зал замка, а вокруг нас расселись ухмыляющиеся гости, рыцари, сеньоры, молодые шеголи в своих шутовских нарядах. Я поднял повыше распятие, а все карлики попадали на колени. «Это наш Искупитель! — провозгласил я громовым голосом, глядя на них пылающим взором. — Это Искупитель всех карликов, и сам карлик, замученный при великом герцоге Понтии Пилате и прибитый гвоздями к своему игрушечному кресту на радость и облегчение всем людям на земле». Я взял чашу и подержал ее у них перед глазами: Это Его, Карликова, кровь, в которой отмоются все великие грехи, и все черные души станут белыми, как снег. И я взял просфору, и тоже показал ее им, и откусил у них на глазах кусочек, и отпил глоток, как положено по обычаю, разясняя им одновременно смысл Святого Таинства: Я ем Его Тело, которое было уродливым, как ваше. На вкус оно горше желчи, ибо пропитано ненавистью. Примите же и ешьте! Я пью Его Кровь, и она жжет огнем, которого никому не загасить. Словно я попробовал своей собственной.

Искупитель всех карликов, да пожрет твой огонь весь мир!

И я выплеснул вино на тех, что сидели вокруг и глазели на нас во все глаза, потрясенные и бледные, как полотно.

Я не богохульник. Это они богохульствовали, не я. Тем не менее герцог велел заковать меня на несколько дней в канда-

лы — они, мол, хотели невинно позабавиться, а я им все испортил, и гости очень разволновались, даже перепугались было. Кандалов по моему размеру не было, и пришлось их специально выковать, кузнец ворчал, слишком много возни для такого ничтожного срока наказания, но герцог сказал, что, может, они еще когда-нибудь пригодятся. Выпустил он меня очень быстро, раньше назначенного срока, и мне кажется, он подверг меня наказанию главным образом ради гостей, как только они уехали, меня выпустили. Но первое время он поглядывал на меня с какой-то даже робостью и избегал оставаться со мной наедине, мне казалось, он меня немножко побаивается.

Карлики, разумеется, ничего не поняли. Они суетились, точно перепуганные курицы, попискивая своими противными кастратскими голосами. Не знаю, откуда у них эти уморительные голошишки. У меня голос низкий и сильный. Но они ведь рабы и кастраты даже душой, и большинство из них шуты, позорящие свой род дурацкими издевками над собственным телом.

Презренное племя. Чтобы только не видеть их перед глазами, я так подстроил, что герцог одного за другим всех их продал, пока я не остался, наконец, один. Я рад, что их нет и что в покоях карликов теперь голо и пусто, и я могу по ночам спокойно предаваться размышлениям. Я рад, что Йосафата тоже нет, и что я избавлен от необходимости видеть его съезженное старушечье личико и слышать его писклявый голошишко. Я рад, что я *один*.

Мне суждено ненавидеть даже свой собственный народ. Мое собственное племя мне ненавистно.

Но я и самого себя ненавижу. Я ем свое собственное, приправленное желчью тело. Я пью свою собственную отравленную кровь. Ежедневно совершаю я в качестве мрачного верховного священнослужителя моего народа свой одинокий обряд причащения Святых Тайн.

Герцогиня вела себя довольно странно после этого события, которое всех так скандализировало. В то же утро, как меня выпустили, она позвала меня к себе, и, когда я вошел в ее спальню, молча посмотрела на меня задумчивым, изучающим взглядом. Я ожидал упреков и, возможно, нового наказания, но когда она наконец заговорила, то призналась, что моя литургия произвела на нее глубокое впечатление, в ней было нечто мрачное и ужасное, затронувшее что-то в ее собственной душе. Как мне удалось проникнуть ей в душу и затронуть нечто сокровенное?

Я ничего не понимал. Я не преминул ухмыльнуться, воспользовавшись минутой, когда она, лежа молча в постели, смотрела мимо меня отсутствующим взглядом.

Она спросила, каково это, по-моему, — висеть распятым на кресте? Чтобы тебя били плетью, мучали и замучали до смерти?

И она сказала, что понимает, что Христос должен бы ее ненавидеть. Люто должен бы ненавидеть, так страдая ради нее.

Я не намерен был отвечать, а она тоже не стала продолжать разговор и долго лежала молча, глядя в пространство отрешенным взглядом.

Потом она сделала легкое движение своей красивой рукой, означавшее, что, дескать, на сегодня все, и крикнула камеристке, чтобы принесла темно-красное платье, ей пора вставать.

Я и по сей день не понимаю, что вдруг на нее нашло.

Я заметил, что иногда я внушаю страх. Но пугаются-то люди, в сущности, самих же себя. Они думают, это я навожу на них страх, а на самом деле — карлик, который сидит в них же самих, человекообразное существо с обезьяньей мордой, это он высовывает свою голову из глубин их души. Они пугаются, потому что сами не знают, что в них сидит еще другое существо. Они всегда вообще пугаются, если вдруг что-то вынырнет на поверхность из них же самих, из какой-нибудь грязной ямы их души, что-нибудь такое, чего они знать не знают и что не имеет никакого отношения к жизни, которой они живут. Когда на поверхности ничего не видать, они не боятся, не трусят, что бы ни случилось. Они расхаживают себе, рослые и невозмутимые, и их гладкие лица ровно ничего не выражают. Но внутри них всегда существует и нечто другое, чего они сами не замечают, они живут, сами того не подозревая, несколькими жизнями одновременно. Они удивительно сокрыты в себе и многолики.

И они уродливы, хотя по ним этого вовсе не видно.

Я всегда живу только своей жизнью, жизнью карлика. Я никогда не бываю рослым и гладколицый. Я всегда только я сам, всегда один и тот же, я живу только *одной* жизнью. Во мне нет никакого другого существа. И мне известно все, что у меня внутри, ничто и никогда не выныривает внезапно из глубин моей души, и ничто не скрывается там в потемках. Поэтому я не знаю страха перед тем, что пугает их, перед чем-то мне неизвестным, перед чем-то многоликим, неизвестным и таинственным. Для меня ничего такого не существует. Во мне нет ничего «другого».

Страх? Что это такое? То ли это самое, что я испытываю, когда, лежа один во мраке ночи, вижу, как ко мне приближается призрак Йосафата, как он подходит все ближе, бледный, как смерть, с синяками на шее и разинутым ртом?

Я не чувствую никакого испуга или раскаяния, ничего такого, что как-то особенно бы меня взволновало. При виде его я думаю лишь о том, что он умер и что с тех пор я совершенно один.

Я *хочу* быть один, я не *хочу*, чтобы существовало что-то,

кроме меня. И я ясно вижу, что он мертв. Это всего лишь его призрак, и я совершенно один во мраке, как и каждую ночь с тех самых пор, как удушил его.

Страшного ничего в этом нет.

При дворе появился очень рослый мужчина, с которым герцог обходится на удивление уважительно, можно даже сказать, благоговейно. Он званый гость, и герцог говорит, что давно его поджидал и очень счастлив, что его удостоили наконец визитом. Он обходится с ним прямо как с равным.

Не все у нас при дворе находят это смешным, кое-кто говорит, что он действительно знатный человек и ровня герцогу. Однако одевается он не по-герцогски, а довольно просто. Что он, в сущности, такое и чем так примечателен, я пока не разужнал. Со временем это, видимо, выяснится. Говорят, он к нам надолго.

Не стану отрицать, что в нем есть нечто внушающее почтение, держит он себя непринужденнее и достойнее, чем другие, лоб высокий и, как любят выражаться люди, с печатью думы, а лицо с седой бородой благородное и по-настоящему красивое. В нем есть что-то изысканное и гармоничное, и манеры у него спокойные и сдержанные.

Интересно бы знать, в чем его уродство.

Примечательный гость обедает за столом герцога. Они все время беседуют на самые разные темы, и я, прислуживая своему господину, — он всегда требует, чтобы именно я это делал, — не могу не заметить, что он человек просвещенный. Его мысль объемлет, кажется, все и вся, и он интересуется всем на свете. Он берется объяснять что угодно, но в отличие от других не всегда уверен в том, что его объяснения правильны. обстоятельно и подробно растолковав, как, по его мнению, надо понимать то-то или то-то, он, случается, замолчит и задумается, а потом скажет в сомнении: но, возможно, оно и не так. Я не знаю, как это расценить. Можно считать это своего рода мудростью, но ведь не исключено, что говорит он так просто потому, что ему действительно ничего в точности не известно, и тогда выходит, что все его старательно возводимые мысленные построения ничего не стоят. Последнее наиболее вероятно, если я правильно разбираюсь в природе человеческого мышления. Многие, однако, не понимают, что несовершенство человеческой мысли обязывает к известной скромности. Возможно, он понимает.

Но герцог ничего такого не замечает, а слушает его так, словно пьет из прозрачного источника, откуда ключом бьют знание и мудрость. Он смотрит ему в рот, будто ничтожный ученик учителю, хотя, конечно, и сохраняя подобающее герцогу достоин-

ство. Иногда он называет его «великий маэстро». Интересно, в чем кроется причина столь смиренной униженности. Какая-нибудь причина да имеется, насколько я знаю моего господина. Ученый муж чаще всего делает вид, будто и не слышал этого лестного обращения. Возможно, он и в самом деле скромн. Но, с другой стороны, он иногда высказывается с очень большой определенностью, очень убежденно отстаивает свое мнение и приводит такие аргументы, которые свидетельствуют об остром и проницательном уме.

Он, выходит, не всегда сомневается.

Говорит он всегда одинаково спокойно, красивым и необыкновенно звучным голосом. Ко мне он приветлив и проявляет, кажется, некоторый интерес. Отчего, я не знаю. Чем-то он, пожалуй, напоминает герцога, так мне иногда кажется, хотя я и не могу толком объяснить, чем именно.

Он нефальшив.

Примечательный чужеземец готовится приступить к работе в монастыре францисканцев Санта Кроче, будет писать какую-то картину на стене тамошней трапезной. Значит, он всего-навсего малюет изображения святых и всякое такое прочее, как и многие при здешнем дворе. Вот в чем, значит, его «примечательность».

Я не хочу, конечно, сказать, что он не может быть одновременно и чем-то иным, чем-то большим, и что его непременно надо приравнивать к примитивным его собратьям по ремеслу. Он, надо признать, производит более внушительное впечатление, и понятно, почему герцог слушает его по-особенному. Но он слушает его без усталости, словно оракула, и сажает его ежедневно за один стол с собой, вот что необъяснимо. Ведь, что ни говори, он просто ремесленник, и все, что он делает, он делает собственными руками, пусть даже при своей просвещенности и своем уме он и объемот многое — до того уж многое, что сам не может уразуметь! Какие у него руки, я не знаю, надеюсь, умелые, раз герцог его нанял, а что мысль его берется решать задачи, до которых она не доросла, так ведь в этом он и сам признается. Он, должно быть, фантазер. При всей ясности ума и обилии идей он, должно быть, строит на песке, и тот мир, который он якобы творит, в сущности, должно быть, совершенно нереален.

Впрочем, как это ни странно, никакого определенного мнения у меня о нем еще нет. Отчего бы это? Обычно у меня сразу же складывается определенное представление о том, с кем я сталкиваюсь лицом к лицу. Вероятно, его личность, так же как и его фигура, возвышается над средним уровнем. Но я не знаю, отчего я так думаю, почему мне так кажется. Я не знаю, в чем, собственно, заключается его превосходство и действительно ли он

настолько всех превосходит. И почему, спрашивается, он должен отличаться ото всех остальных встречавшихся мне людей?

Как бы то ни было, я убежден, что герцог слишком высоко оценивает его достоинства.

Зовут его Бернардо, самое обычное имя.

Герцогиню он не интересуется. Ведь он старик. А мужские разговоры ей, видимо, совершенно безразличны. Присутствуя при их пространных беседах, она молчит и думает совсем о другом. Мне кажется, она даже и не слышит, что говорит этот примечательный муж.

Зато она его, кажется, весьма интересуется. Он, я заметил, разглядывает ее украдкой, когда никто не видит. Изучает ее лицо, словно что-то в нем отыскивая, взглядом задумчивым и все более и более пытливым. Что в ней может привлекать его?

Ведь лицо ее вовсе неинтересно. Сразу видно, что она шлюха, хоть она и пытается это скрыть за обманчиво невинной внешностью. Не надо долго разглядывать, чтобы понять ее сущность. И что тогда остается разглядывать, чего доискиваться в ее почерном лице? Что в нем привлекательного?

Но его привлекает, очевидно, все на свете. Он может, например, поднять с земли камень, я сам видел, и разглядывать его с чрезвычайным интересом, вертеть и так и этак и в конце концов сунуть себе в карман, словно драгоценность. Нет, кажется, на свете вещи, которая не способна была бы его увлечь. Блаженный он, что ли?

Достойный зависти блаженнейший! Тот, для кого и камень — драгоценность, на каждом шагу натывается на сокровища.

Он невероятно любопытен. Он сует свой нос повсюду, все ему надо знать, обо всем выспросить. Он выпрашивает рабочих насчет их инструментов и приемов работы, делает свои замечания, дает советы. Он является со своих загородных прогулок с охапками цветов, усаживается и начинает их обрывать, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. И он способен часами простаивать, следя за полетом птиц, будто и в этом есть что-то удивительное. Даже головы убийц и воров на кольях перед замковыми воротами, до того сгнившие, что глядеть тошно, даже их он способен разглядывать чуть не часами, размышлять над ними, словно над какими-то удивительными загадками, и срисовывать себе в записную книжку серебряным карандашиком. А когда несколько дней назад повесили на площади Франческо, он стоял впереди всех, вместе, с мальчишками, чтобы лучше видеть. По ночам он разглядывает звезды. Его любопытство простирается решительно на все.

Действительно ли во всем есть свой интерес?

Мне наплевать, куда он там сует свой нос. Но если он еще раз до меня дотронется, я проткну его кинжалом. Я твердо решил, что так и сделаю, чем бы мне это ни грозило.

Сегодня вечером, когда я наливал ему вино, он взял мою руку, собираясь ее рассмотреть, — я со злостью отдернул. Но герцог, улыбаясь, велел мне показать руку. Он подробно ее разглядывал, изучал с нахальным бесстыдством каждый сустав, каждую морщину у запястья и попытался даже отвернуть рукав, чтоб поглядеть выше. Я снова отдернул руку, окончательно взбешенный, ярость клокотала во мне. Оба они улыбались, а я готов был испелить их взглядом.

Если он еще раз до меня дотронется, я полюбуюсь на его кровь! Я не терплю человеческого прикосновения, не терплю ни малейшего посягательства на мое тело.

Ходят странные слухи, будто он уговорил герцога выдать ему труп Франческо, чтобы вспороть его и поглядеть, как устроен человек изнутри. Не может того быть. Это слишком невероятно. И не может быть, чтобы они взяли да и сняли труп, ему ведь назначено болтаться на веревке на страх народу и злодею на посрамление, таков приговор, и отчего бы воронью не ислекать негодяя наравне с другими. Я был с ним, к сожалению, знаком, и слишком хорошо знаю, что он заслуживает величайшего на свете наказания, он не раз орал мне вслед на улице ругательства. Если его снимут, наказание получится уже не то, что для других пощенных.

Я услышал об этом только сегодня вечером. Сейчас ночь, и мне не видно, болтается ли там эта падаль.

Я не могу поверить, чтобы это была правда, чтобы герцог мог пойти на такое.

Это правда! Негодяй уже не болтается на виселице! И мне даже известно, куда он девался. Я накрыл ученого старца за его постыдным занятием!

Я заметил, что в подземелье не все как обычно. Дверь, которая обычно заперта, стояла открытой. Я заметил это еще вчера, хотя и не придавал значения. Сегодня я пошел туда, чтобы проверить, в чем дело, и увидел, что дверь по-прежнему распахнута. Я прошел узким темным коридором до следующей двери, которая тоже была открыта, я проник внутрь, стараясь не производить шума, и там, в большой комнате, в свете, падавшем из узкого окошечка в южной стене, увидел старика, склонившегося над распростертым трупом Франческо! В первый момент я не поверил своим глазам, но он лежал там, причем вскрытый, видны были внутренности, сердце и легкие, совершенно как у животного. Я в жизни не видел ничего более отвратительного, не мог даже предста-

вить себе такой мерзости, как эти человеческие потроха. А старик склонился над ними и рассматривал с напряженным интересом, осторожно подрезая что-то ножичком около сердца. Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как я вошел. Ничего, казалось, не существовало для него, кроме той гнусности, с которой он возился. Но наконец он поднял голову и посмотрел на меня блестящими от счастья глазами. Лицо у него было такое восторженное, будто он переживал какой-то великий праздник. Я мог разглядывать его сколько вздумается, потому что он был на свету, а я стоял в глубокой тени. Да он и не замечал ничего, вдохновенный, словно пророк, беседующий с Богом. Мне стало невыразимо противно.

Ровня герцогу! Герцог, занимающийся разгадыванием загадок во внутренностях преступника. Копающийся в падали!

Ночью они засиделись чуть не до рассвета, и все говорили и говорили, как ни разу прежде. Своей болтовней они разожгли себя до форменного экстаза. Они говорили о природе, и сколько в ней величия и щедрости. Единое великое целое, единое чудо! Артерии, которые проводят по телу кровь подобно тому, как родниковые артерии проводят по земле воду, легкие, которые дышат, как дышит океан со своими приливами и отливами, скелет, который служит опорой для тела, как каменные пласты служат опорой для земли, а тело — ее почва. Огонь в сердцевине земли, подобный жару души, и заимствованный, подобно ему, у солнца, священного, обожествлявшегося еще древними солнца, родоначальника всех живых душ, первоисточника и первопричины всяческой жизни, дарующего свой свет всем небесным телам во вселенной. Ибо наш мир лишь одна из тысяч и тысяч звезд во вселенной.

Они были как одержимые. И я должен был все это выслушивать, что бы они ни говорили, не имея даже возможности возразить. Я все больше убеждаюсь, что он действительно блаженный, чего доброго, он и герцога в такого же превратит. Удивительно, до чего мягок и податлив в его руках герцог.

Как можно всерьез верить в подобные фантазии? Как можно верить в это единство, эту божественную, как он еще выразился, гармонию? Как можно употреблять такие высокопарные, громкие, бессмысленные слова? Чудо природы! Я вспомнил про внутренности Франческо, и меня чуть не вырвало.

Какое счастье, восклицали они в восторге, заглянуть в чудесное царство природы! Сколь бесконечно много предлагает она пытливому оку исследователя! И сколь возвысится человек в могуществе своем и богатстве, постигнув все это, все эти скрытые силы, и заставив их служить себе. Стихии с покорностью склонятся пред его волей, огонь будет смиренно служить ему, обузданный в своей ярости, земля будет родить ему плодов стократ-

но, ибо он откроет законы роста, реки станут ему послушными, закованными рабами, а океаны понесут на себе его корабли вокруг всей необъятной земли, парящей чудесной звездой в мировом пространстве. И даже воздух покорит он себе, ибо научится однажды подражать полету птиц и, освобожденный от тяжести, сам воспарит подобно им и подобно парящим в пространстве звездам, к цели, которую человеческая мысль не в состоянии покуда ни постичь, ни предугадать.

Ах! Как великолепно и прекрасно жить на земле! Сколько непостижимого величия в человеческой жизни!

Их ликование не было конца. Они походили на детей, которые размышляли об игрушках, о целой горе игрушек, с которой и сами потом не знали бы, что делать. Я смотрел на них своим взглядом карлика, и ни один мускул не дрогнул на моем древнем, изборожденном морщинами лице. Карлики не ходят на детей. И они никогда не играют. Я поднялся на цыпочки, чтобы наполнить их бокалы, которые они выпили, пока разглагольствовали.

Что знают они о величии жизни? Откуда им знать, есть ли в ней величие? Это всего лишь фраза, которую люди любят повторять. С тем же успехом можно утверждать, что она ничтожна. Что она никчемна, мизерна, козявка, которую можно раздавить ногтем. А она и тут не воспротивится. Собственная гибель волнует ее столько же, сколько все остальное. А почему бы и нет? Почему она, спрашивается, должна цепляться за существование? Почему должна к этому стремиться, да и вообще к чему бы то ни было? Почему, в самом деле, ее должно что-то волновать?

Заглянуть в лоно природы! Что в этом хорошего? Сумеют ли они это сделать, они сами бы испугались, пришли бы в ужас. Они воображают, что оно специально для них существует, они ведь воображают, что все существует специально для них, им на благо и на радость, чтобы сделать их жизнь поистине прекрасной и величественной. Что знают они о нем? Откуда они взяли, что оно задумано единственно для них, для исполнения их нелепых ребяческих желаний?

Они воображают, будто умеют читать в книге природы, воображают, будто она открыта им. Они воображают даже, будто могут заглянуть вперед, могут прочитать там, где ничего еще не написано, где страницы белы и чисты. Безрассудные, самонадеянные глупцы! Нет предела их наглой самоуверенности!

Кто может знать, чем беременна природа, какой плод вынашивает она в своем чреве? Кто может что-нибудь предвидеть? Разве знает мать, что она носит у себя под сердцем? Откуда ей про это знать. Она ждет положенного срока, и только тогда все увидят, чем она разродилась. Спросили бы карлика, он бы им объяснил.

Он скромнен! Тут я очень ошибся. Он, наоборот, высокомернейший из всех, кого я знаю. Самая его сущность, его дух — высокомерие. И его мысль настолько самонадеянна, что стремится герцогски повелевать миром, который ей вовсе неподвластен.

Он может *показаться* скромным, потому что вечно обо всем выпрашивает и до всего допытывается, потому что говорит, что, дескать, не знает *того-то* или *того-то*, а лишь старается узнать по мере своих сил. Однако *целое*, как он полагает, ему известно. Он воображает, что постиг смысл бытия. Он смирен в малом, но не в большом. Странная скромность.

Все на свете имеет свой смысл, все, что происходит, и все, чем заняты люди. Но сама жизнь не имеет никакого смысла, да и не может иметь. Иначе она не могла бы существовать.

Такова *моя* вера.

Какой позор! Какое бесчестие! Ни разу в жизни я не подвергался такому оскорблению, какое мне пришлось испытать в тот ужасный день. Я попытаюсь описать, что со мной произошло, хотя лучше бы об этом и не вспоминать.

Герцог велел мне разыскать маэстро Бернардо, работающего в трапезной Санта Кроче, так как я ему зачем-то понадобился. Я пошел, хотя и зол был, что из меня делают слугу этому постороннему мне высокомерному человеку. Он принял меня с величайшей предупредительностью и сообщил, что карлики его всегда очень интересовали. Я подумал, а что его, спрашивается, не интересовало, когда он даже про кишки Франческо и про звезды любопытствует. Но обо мне-то, карлике, он и понятия не имеет, подумал я. Сказав еще несколько каких-то любезных и ничего не значащих фраз, он заявил, что хотел бы сделать мое изображение. Я решил было, что речь идет о моем портрете, который, наверное, заказал ему герцог, и не мог не почувствовать себя польщенным, однако ответил, что не хочу быть изображенным на портрете. Отчего же, спросил он. Я ответил так, как естественно было ответить: я хочу, чтобы мое лицо принадлежало мне одному. Он сказал, что это оригинальная мысль, усмехнулся, но потом согласился, что в этом, бесспорно, что-то есть. Но вообще-то, мол, любое лицо, изображенное ли, нет ли — собственность многих, принадлежит, в сущности, каждому, кто на него смотрит. Хотя он-то имел в виду просто срисовать меня всего, чтобы посмотреть, как я устроен, и пусть я поэтому разденусь, чтобы он мог произучать мое тело. Я почувствовал, что бледнею. От бешенства и от страха, не знаю, от чего больше, и то и другое захлестнуло меня, и я весь затрясся.

Он заметил, как возмутило меня его бесстыдство. И стал говорить, что ничего нет стыдного в том, если ты карлик и покажешь себя другому таким, как ты есть. Перед природой он всег-

да одинаково благоговет, равно и в тех случаях, когда она со-здает что-нибудь по странной прихоти, что-нибудь вне рамок обычного. Нет и никогда не было никакого срама в том, чтобы показать себя таким, как ты есть, другому человеку, и никто, в сущности, не принадлежит самому себе. «А я принадлежу! — крикнул я в бешеной ярости. — Это вы все себе не принадлежите! А я принадлежу!»

Он принял мою вспышку совершенно спокойно, мало того, он наблюдал за мной с любопытством и интересом, что еще больше меня возмутило. Потом он сказал, что пора начинать — и шагнул ко мне. Я не потерплю, чтоб посягали на мое тело, крикнул я совершенно вне себя. Он не обратил на это ни малейшего внимания, но когда понял, что добровольно я никогда не разденусь, приготовился сделать это сам. Мне удалось выхватить из ножен кинжал, и он, кажется, очень удивился, увидев, как блеснула сталь. Но он спокойно отобрал его у меня и положил осторожно поодаль. А ты, кажется, опасная личность, сказал он, удивленно глядя на меня. Я язвительно усмехнулся его словам. Потом он совершенно невозмутимо начал снимать с меня одежду, бесстыдно обнажая мое тело. Я отчаянно сопротивлялся и боролся с ним, как боролся бы за свою жизнь, но все напрасно, ведь он сильнее меня. Совершив свое постыдное дело, он поднял меня и поставил на возвышение посреди комнаты.

Я стоял там, беззащитный, обнаженный, бессильный что-нибудь предпринять, хотя ярость так и кипела во мне. А в нескольких шагах стоял он и хладнокровно меня разглядывал, хладнокровно и безжалостно созерцал мой позор. Я был целиком отдан во власть его взгляда, присвоившего меня себе, точно я был его собственностью. Быть таким образом выставленным на обозрение другому человеку — унижение столь глубокое, что мне до сих пор стыдно, что я вообще его вытерпел. Я до сих пор помню, с каким звуком чертил по бумаге его серебряный карандаш, возможно, тот же самый, которым он срисовывал сгнившие головы у замковых ворот и всякую другую мерзость. Взгляд у него изменился, стал острым, как кончик ножа, мне казалось, что он просверливает меня насквозь.

Я никогда еще не испытывал такой ненависти к людям, как в те страшные минуты. Чувство ненависти было таким острым, что мне казалось, я вот-вот потеряю сознание, в глазах у меня то и дело темнело. Есть ли на свете что-нибудь отвратительнее этих существ, что-нибудь более достойное ненависти!

Прямо напротив на стене я видел его большую картину, ту самую, из которой должен, как говорят, получиться такой необыкновенный шедевр. Она еще только начата, но должна, видимо, изображать Тайную Вечерю, Христа с учениками за их братской трапезой. Я в бешенстве смотрел на непорочные, торжественные лица этих учеников, воображающих, будто они превыше всего со-

своим небесным повелителем, у которого такое неземное сияние над головой. Я с радостью подумал, что его скоро схватят, что Иуда, съездившийся в дальнем углу, скоро его предаст. Покуда он еще обожаем и почитаем, думал я, еще восседает за братской трапезой — в то время как я тут выставлен на позор! Но придет час и его позора! Скоро он уже не будет восседать в кругу своих, а один будет висеть распятым на кресте, преданный ими. Такой же голый будет висеть, как я тут теперь стою, так же постыдно униженный. Выставленный на всеобщее обозрение, на хулу и поругание. А отчего бы и нет? Отчего бы ему не помучиться, как я теперь мучаюсь? Он постоянно был окружен любовью, вскормлен любовью — меж тем как я вскормлен ненавистью. Я всосал ненависть с молоком матери, отведал ее горького сока, я лежал у материнской груди, набухшей желчью, он же сосал добрую и ласковую Мадонну, нежнейшую и сладостнейшую из женщин, и пил сладчайшее на свете материнское молоко, какое не доводилось пить ни одному смертному. Так отчего бы и нет? Отчего бы и ему не помучиться? Он думает, что непременно будет любим всем человечеством, поскольку зачат от самого Бога-Отца. Какая наивность! Какое ребяческое незнание людей! Ведь именно поэтому они и затаили на него в сердце злобу, из-за этого самого чуда. Дети человеческие не любят, чтобы их насиловал Бог.

Я все еще смотрел на него, когда, избавленный наконец от ужасного надругательства, стоял в дверях этой проклятой комнаты, где пережил самое страшное в своей жизни унижение. Скоро ты будешь продан за несколько эскудо благородному, возвышенному человечеству, подумал я, ты, как и я!

И я в бешенстве захлопнул за собой дверь, отделявшую меня от него и его великого создателя Бернардо, который погрузился в созерцание своего высокого творения и, казалось, успел уже забыть про меня, принявшего по его милости такие муки.

Самое бы лучшее не вспоминать про Санта Кроче, самое лучшее постараться забыть. Но об одном я не могу перестать думать. Покуда я одевался, мне то и дело попадались на глаза разбросанные кругом рисунки, изображавшие удивительнейшие существа, чудовищ, которых никто никогда не видывал и которых вообще нет в природе. Это было нечто среднее между людьми и животными, женщины с перепончатыми крыльями летучих мышей, которые заканчивались длинными когтями, мужчины с мордами ящериц и лягушачьими лапами, и мужчины с хищными головами грифов и когтистыми лапами вместо рук, которые носились в воздухе подобно дьяволам, и какие-то еще существа, не мужчины и не женщины, что-то вроде морских чудовищ, с извивающимися щупальцами и холодными злыми глазами, совсем как человечьи. Меня поразили эти жуткие уроды, и я до сих пор не могу опра-

виться от потрясения, они до сих пор стоят у меня перед глазами. Зачем он тратит на это свою фантазию? Зачем он создает эти отвратительные, призрачные образы? Зачем творит их в своем воображении? Зачем он возится с чем-то, чего и в природе не существует? Должна же быть какая-то причина? Видимо, это просто некая внутренняя потребность. А может, это занимает его как раз потому, что не существует в природе? Я не могу понять.

Что же должен представлять собой тот, кто производит подобное на свет? Кто упивается всеми этими ужасами, получает от них такое наслаждение?

Когда смотришь на его надменное лицо, в котором, надо признать, есть и благородство и утонченность, то невозможно представить, что эти гнусные картинки — его создания. И, однако, это так. Тут есть над чем задуматься. Должно быть, все эти безобразные существа обитают в нем самом, как и все прочее, что он производит на свет.

Нельзя не задуматься и над тем, какой у него был вид, когда он меня рисовал, как он вдруг переменялся и стал словно другим человеком, этот неприятный, острый взгляд, холодный и странный, и все лицо стало другое, страшно жестокое — настоящий дьявол.

Он, выходит, не то, за что себя выдает. Как и все прочие люди.

Просто непостижимо, что этот же самый человек создал такого непорочного, просветленного Христа за братской трапезой.

Анжелика шла вчера вечером через залу. И когда она проходила мимо герцога, тот спросил, не присядет ли она на минуточку со своим рукоделием, которое было как раз при ней. Она повиновалась без охоты, хотя и не посмела возразить, она вообще не любит общества, да и не годится вовсе для придворной жизни, для роли герцогской дочери. Неизвестно, кстати, герцогская ли она дочь. Очень возможно, что она просто ублюдок. Но ведь мессэр * Бернардо ничего про это не знает. Он смотрел, как она сидит, опустив глаза и приоткрыв по своему глупому обыкновению рот, смотрел не отрываясь, будто она что-то удивительное — ему ведь все кажется удивительным. Может, еще одно чудо природы вроде меня или его необыкновенных камней, столь драгоценных, что он подбирает их с земли и не может наглядеться? Он молчал и казался искренне растроганным, хотя она не произнесла за все время ни слова и сидела с совершенно отсутствующим видом.

Не знаю, что его так растрогало. Возможно, он жалел ее за

* Господин (*итал.*).

то, что некрасива, он ведь знает толк в красоте и понимает, как много она значит. Возможно, он именно поэтому смотрел на нее с таким грустным и жалостливым выражением. Не знаю, да мне это и неинтересно.

Ей не терпелось, конечно, поскорее убежать. Она посидела ровно столько, сколько требовало приличие, ни минутой дольше, и попросила у герцога позволения уйти. Поднялась поспешно и робко, с обычной своей угловатостью в движениях, у нее все движения до сих пор ребячьи. Удивительно, до чего она все же лишена всякой грации.

Одета она была, разумеется, так же просто, как всегда, чуть ли не бедно. Ей все равно, как она одета, да и другим тоже.

Великий маэстро Бернардо не находит, должно быть, настоящего удовлетворения в своей работе. Он хватается то за одно, то за другое, начинает и не доводит до конца. Чем это объяснить? Ему надо бы сейчас заниматься исключительно этой своей Тайной Вечерей, чтобы закончить ее наконец. А он этого не делает. Начал теперь вдруг портрет герцогини.

Она, как я слышал, не хочет, чтобы ее рисовали. Это герцог захотел. Я ее понимаю, ее легко понять. Можно разглядывать самого себя в зеркало; но, отойдя, вы не захотите, чтобы ваше отражение так там и осталось, чтобы любой мог им завладеть. Я вполне понимаю, почему ей, так же как и мне, не хочется быть изображенной на портрете.

Никто себе не принадлежит! Какая гнусная мысль! Никто себе не принадлежит! Все собственность всех. Твое собственное лицо, выходит, тебе не принадлежит? Принадлежит любому, кто на него смотрит? И твое тело? *Другие* могут, выходит, владеть твоим телом? Мне отвратительно даже подумать об этом.

Я хочу сам быть единственным владельцем всего, что мое. Никто не смеет присваивать себе мое, посягать на мое. Мое принадлежит мне, и никому другому. Я хочу принадлежать себе и после смерти. Никто не смеет копаться в моих внутренностях. Я не желаю, чтобы их рассматривал кто-то посторонний, хотя вряд ли они могут быть столь мерзостными, как у негодяя Франческо.

Это вечное копание мессэра Бернардо во всякой всячине, это его вечное любопытство мне просто ненавистны. Чему оно может послужить? Какой разумной цели? И мне противно даже думать, что у него осталось мое изображение, что он как бы *владеет* мной. Что я уже не вполне сам себе хозяин, но как бы существую одновременно и у него в Санта Кроче, среди его гнусных уродов.

И хорошо, и пусть ее тоже изобразят! Отчего бы ей не потерпеть с мое! Я очень даже рад, что она тоже будет выставлена на это бесстыдное обозрение, что он и на нее посягнет.

Но только чем она может быть интересна, эта шлюха? Я, например, никогда не считал, что она может представлять хоть какой-то интерес, а я-то знаю ее лучше других.

Впрочем, там видно будет, на что он способен. Меня это не касается.

Не думаю, чтобы он особенно разбирался в людях.

Маэстро Бернардо, признаться, удивил меня. Он меня настолько удивил, что я всю ночь не мог заснуть и все думал про это.

Вчера вечером они сидели, как обычно, разговаривали, и на обычные свои возвышенные темы. Но он был в заметно подавленном настроении. Он сидел в раздумье, захватив в кулак окладистую бороду, занятый мыслями, отнюдь, должно быть, не радостного свойства. Но, принимаясь вдруг говорить, говорил страстно, с жаром, хотя жар этот был как бы подернут пеплом. Я его не узнавал, казалось, я слушаю совсем другого человека.

Человеческая мысль, сказал он, может в конечном счете так бесконечно мало. Крылья ее сильны, но судьба, оделившая нас ими, сильнее нас. Она не даст нам вырваться, не пускает нас дальше, чем сама того захочет. Наш путь определен, после краткого бега по кругу, вселяющего в нас надежду и радость, нас загоняют обратно, как сокольников подтягивает на шнурке сокола. Когда обретем мы свободу? Когда перережут, наконец, шнурок и сокол воспарит в открытое небо?

Когда? Да сбудется ли это вообще когда-нибудь? Не в том ли, наоборот, и тайна нашего бытия, что мы привязаны к руке сокольника и вечно будем привязаны. Если бы что-то переменилось, мы перестали бы быть людьми, и наша судьба не была бы уже человеческой судьбой.

И все же мы созданы вечно стремиться в небо и воображать себя к нему причастными. И все же оно *существует*, оно открывается нашему взору как нечто совершенно реальное. Оно такая же реальность, как наша неволя.

Зачем существует это бесконечное пространство, все равно для нас недоступное, спросил он самого себя. Что за смысл в этой безграничности вокруг нас, вокруг жизни, если мы все равно те же беспомощные невольники и жизнь остается все той же, столь же замкнутой в самой себе? К чему тогда, собственно, эта неизмеримость? Зачем нашей мизерной судьбишке, нашей тесной долине столь величественное окружение? Разве мы счастливее от того? Непохоже. Похоже, мы делаемся все несчастнее.

Я внимательно изучал его, мрачное выражение его лица и странное выражение усталости в старческом взгляде.

Делаемся ли мы счастливее, стремясь отыскать истину, продолжал он. Я не знаю. Я лишь стремлюсь отыскать ее. Вся моя

жизнь была неустанными поисками истины, и мне казалось порой, будто я ее прозреваю, мне будто приоткрывался порой кусочек ее чистого неба. Но ни разу небеса не отверзлись предо мною, и взгляд мой ни разу не упился видом бесконечности, без которой ничего не постичь на земле. Сие нам не дозволено. Оттого все мои усилия были на деле тщетны. Оттого все, к чему бы я ни прикасался, оставалось полустистиной, оставалось недоноском. С болью думаю я о своих творениях, и с болью и грустью смотрят на них, должно быть, другие — словно на торс, туловище без головы. Недоношенным, незавершенным было все, что я создавал. И незавершенным оставляю я все после себя людям.

Да и что в том странного?

Такова уж человеческая судьба. Неизбежная судьба всех человеческих усилий, всех человеческих творений. Все это лишь первый шаг, первый шаг на пути к тому, чего никогда не достигнуть, что не должно и не может быть нами достигнуто. Вся человеческая культура, в сущности, лишь первый шаг на пути к чему-то недостижимому, совершенно для нас непосильному. Она выситя уродливым, трагическим торсом. А сам человеческий дух — разве это не тот же торс, туловище без головы?

Что пользы в крыльях, если они все равно никогда не смогут вознести нас к небу? Они делаются в тягость вместо того, чтоб освобождать от бремени. Мы тяготимся ими. Мы волочим их за собой по земле. В конце концов они делаются нам ненавистны.

И мы чувствуем облегчение, когда сокольничий, утомившись своей жестокой забавой, надевает нам на голову колпачок и мы погружаемся во тьму.

Он сидел не двигаясь, подавленный и хмурый, горько сжав рот, и глаза у него горели мрачным огнем. Я был, признаться, страшно удивлен. Неужели это он, тот самый, кто совсем еще недавно восторгался беспредельным величием человека, кто предрекал его всемогущество, предрекал, что человек, подобно всеильному монарху, будет царить в своих великолепных владениях. Кто изображал его чуть ли не божеством.

Я не могу его постичь. Я ничего не понимаю.

А герцог так и смотрел ему в рот, совершенно захваченный словами своего великого маэстро, хотя они полностью противоречили всему, что он до сих пор слышал из его уст. Он был совершенно с ним согласен. Надо признать, он подающий надежды ученик.

Как связать одно с другим? Каким образом они умудряются совмещать в себе такие противоречия, как могут с одинаковой убежденностью говорить о том и о другом? Сам я всегда одинаков, всегда неизменен, и мне это непонятно.

Я не мог заснуть и все пытался уразуметь, что же они такое, но мне это никак не удастся. Я не могу прийти ни к какой ясности.

То вдруг сплошное ликование по поводу того, как прекрасно, как великолепно быть человеком. То вдруг сплошная безнадежность, отрицание всякого смысла, отчаяние.

Что же *всерьез*?

Он перестал работать над портретом герцогини. Он говорит, что не может его закончить, что в ней есть нечто такое, чего он не может ухватить, не может уяснить себе. И это, значит, останется незавершенным. Как Тайная Вечера, как все, за что он берется.

Мне довелось как-то увидеть в покоях герцога этот портрет, и я не понимаю, чем он плох. По-моему, портрет очень хорош. Он написал ее в точности такой, как она есть, стареющей шлюхой. Сходство поразительное, просто дьявольское. Чувственное лицо с тяжелыми веками и отсутствующей улыбкой, все в точности. Он самое ее душу вытащил и изобразил, разоблачение просто ужасающее.

Пожалуй, он все же неплохо разбирается в людях.

Чего же не хватает? Он ведь считает, что чего-то не хватает. Чего же? Какой-нибудь детали, без которой она не она? Чего-нибудь существенного? Но чего именно? Мне это совершенно непонятно.

Однако, когда он говорит, что портрет не закончен, это звучит правдоподобно. Ведь он все оставляет незавершенным, он сам так сказал.

Все у него — только первый шаг на пути к неосуществимому. Вся человеческая культура — только первый шаг, только начало, а завершение абсолютно невозможно. И потому все в целом совершенно, по сути, бессмысленно.

Разумеется, бессмысленно. Как выглядела бы жизнь, не будь она бессмысленна. Ведь бессмысленность — основа ее основ. На какой иной основе, достаточно прочной и неколебимой, могла бы она зиждиться. Любая, даже самая великая, идея всегда может быть подорвана другой великой идеей, и со временем окончательно ею взорвана, уничтожена. Бессмысленность же неуязвима, несокрушима, неколебима. Она — единственно основательная основа, и потому выбор пал на нее. Неужели надо столько ломать себе голову, чтобы понять это?

Я и так это знаю. Так уж я устроен, что не могу не знать.

Что-то у нас тут происходит, не знаю что. Нюхом я словно бы чувю что-то тревожное в воздухе — но *есть* ли что, не знаю. И не то чтобы именно *происходит*. Но чувю, вот-вот *может* произойти.

По виду все как будто спокойно. Жизнь в замке идет своим

чередом. Даже спокойнее, чем обычно, поскольку гостей совсем мало и никаких приемов, никаких затей, как обычно в эту пору года. Но как бы сказать... от этого только еще острее чувствуешь, что готовится нечто особенное.

Я все время настороже, все подмечаю — но подмечать вроде нечего. В городе тоже незаметно ничего особенного. Все в точности как всегда. Но что-то *есть*. Я уверен.

Надо набраться терпения и ждать, чем это разрешится.

Кондотьер Боккаросса уехал, и палаццо Джеральди снова опустело. Никто не знает, куда он уехал, исчез, словно сквозь землю провалился. Можно подумать, они с герцогом порвали. Многим казалось странным, как это герцог, человек высоко просвещенный, мог находить удовольствие в обществе этого неотесанного грубияна. Я с ними не согласен. Не стану, конечно, отрицать, что Боккаросса — изрядный дикарь, а герцог, напротив, человек на редкость утонченный и воспитанный. Но как-никак он все же из рода кондотьеров, о чем большинство, кажется, вовсе забыло. И давно ли они сами ходили в кондотьерах, всего несколько поколений назад. А что такое несколько поколений?

Мне думается, они понимали друг друга без особого труда.

Ничего пока не случается, но в воздухе по-прежнему тревожно. Я нюхом чую — в таких вещах я никогда не ошибаюсь. Что-нибудь да произойдет.

Герцог в лихорадочной, можно сказать, деятельности. Но чем он занят? Принимает каких-то посетителей, запирается с ними для тайных переговоров. Все держится в секрете. О чем может идти речь?

Появляются какие-то гонцы, окруженные великой таинственностью, в замок их впускают только ночью. И без конца толчется какой-то народ, все по каким-то делам: наместники, советники, военачальники, предводители старинных родов — старинных воинственных родов, покоренных когда-то предками герцога. Теперь уж никак не скажешь, что в замке спокойно.

Маэстро Бернардо не играет, видимо, во всем этом никакой роли. Герцог окружает себя сейчас людьми совсем иного сорта. Ученый старец вообще уже, видно, не играет никакой роли, во всяком случае, не сравнить с прежним.

Я могу это только одобрить. Слишком уж большое место он занял при дворе.

Мое предчувствие, что готовится нечто особенное, оправдалось. Сомнений больше нет. Целый ряд признаков на это указывает, и все важные. Астрологи были призваны и долго сидели у герцога —

это первое. И придворный астролог Никодемус, и прочие длиннобородые, проживающие тут паразитами. Признак безошибочный. Кроме того, герцог имел продолжительные беседы с послем Медичи и с представителем венецианской торгашей республики, а главное, с архиепископом, представляющим Святейший престол. И это, и кое-что другое из событий последних дней — все достаточно примечательно и все указывает в одном направлении.

Готовится, должно быть, военный поход. Астрологов призвали, должно быть, для того, чтобы посоветоваться и узнать, как относятся к задуманному предприятию звезды — всякий разумный правитель не преминет это выяснить в первую очередь. Бедняги пребывали несколько в тени, покуда герцог водил компанию с мессэром Бернардо, который, правда, тоже верит в могущество звезд, но имеет на их счет совсем другие понятия, полагаемые нашими звездочетами за ересь и дьявольское наваждение. Теперь герцог счел, как видно, за лучшее приблизить к себе правоверных. И те чуть не лопаются от собственной значительности. Переговоры же с послами устроены были, верно, для того, чтобы ихние государства поддержали или, во всяком случае, не мешали задуманному.

Но важнее всего, думается мне, отношение к этим планам Его святейшества. Без божьего благословения не будет удачи ни в одном земном предприятии.

Я надеюсь, он его дал, так как жду не дожусь, когда наконец снова будет война.

Война *будет!* Мой нос, достаточно в этом деле опытный, чувствует войну во всем — в тревоге, в таинственности, в выражении человеческих лиц, в самом воздухе, которым мы дышим. В нем есть что-то бодрящее, хорошо мне знакомое. Прямо-таки оживаешь после этой душливой праздности, заполненной одной лишь бесконечной болтовней. Слава богу, что людям наконец нашлось дело помимо болтовни.

Все люди, в сущности, хотят войны. В войну все проще, поэтому она приносит облегчение. Все люди считают, что жизнь слишком сложна. Так оно и есть, потому что они сами ее усложняют. Сама же по себе жизнь вовсе не сложна, наоборот, она отличается удивительной простотой. Но им, видно, никогда этого не понять. Они не понимают, что лучше всего оставить все как есть. Они никак не могут оставить жизнь в покое, перестать использовать ее для множества самых странных целей. И вместе с тем они же считают, что просто жить и дышать — уже прекрасно!

Герцог наконец очнулся от своего оцепенения. Лицо энергично и решительно — короткая квадратная бородка, худые, бескровные щеки, быстрый взгляд, затаенно зоркий, как у хищной птицы, парящей над своими охотничьими владениями. Он, должно быть,

нацелился на излюбленную свою дичь — заклятого врага его рода.

Я видел, как он взбежал сегодня по парадной лестнице, сопровождаемый по пятам начальником гвардии, я думаю, они ездили проверять какие-то военные приготовления, — войдя в залу, он скинул плащ на руки подоспевшему слуге и остался стоять в своем красном костюме, упругий и гибкий, как клинок, с надменной улыбкой на тонких губах. Он был похож на человека, сбросившего с себя маскарадный наряд. Все его существо дышало энергией. Все обличало в нем человека *действия*.

Да я и всегда это знал.

Астрологи объявили, что момент для войны на редкость удачный, удачнее выбрать невозможно. Они составили гороскоп герцога и нашли, что он родился над знаком Льва. Невелика новость, это обстоятельство стало известно еще при его рождении и очень, говорят, вдохновляло тогда фантазию его приближенных, как доброе и многообещающее предзнаменование для будущего правителя, а в народе вызвало немало восторженных толков, да и страхов тоже. Потому он и имя носит такое — Лев. Как раз близости от этого знака зодиака находится сейчас Марс, и скоро эта роковая звезда бога войны совместится с могущественным созвездием герцога. Также и другие небесные феномены, имеющие влияние на судьбу герцога, исключительно благоприятны. Они могут поэтому с полной уверенностью обещать счастливый исход кампании. Было бы даже непростительно не воспользоваться столь редкостным случаем.

Я несколько не удивлен их предсказаниями, потому что предсказывают они всегда так, как желательно герцогам, особенно после того случая, когда отец герцога велел наказать плетью звездочета, утверждавшего, будто всему их роду грозят несчастья, поскольку он высчитал, что кровавое восшествие на престол главы рода по времени точно совпадает с появлением на небе злой звезды, волочившей за собой огненный хвост, — предсказание, которое оправдывалось до сих пор лишь для одного поколения из двух.

Меня это, повторяю, не удивило, и на сей раз я вполне ими доволен. Свое дело они знают и наконец от них какая-то польза. Поскольку чрезвычайно важно, чтобы герцог, солдаты и весь народ верили, что звезды сочувственно относятся к их предпринятию, что они в нем заинтересованы. Теперь звезды сказали свое слово, и все остались очень довольны сказанным.

Я никогда не разговариваю со звездами, предоставляю это людям.

Маэстро Бернардо снова меня удивил. Вчера вечером они опять имели с герцогом доверительную беседу и, как бывало

много раз прежде, засиделись со своими разговорами далеко за полночь. Мне стало ясно, что ученый старец вовсе не лишился, как я думал, своей роли и не отстранен со всеми своими размышлениями и сомнениями от нашей беспокойной действительности. Вовсе нет. Я очень ошибся.

Меня раздражает, что я так ошибаюсь, хотя и вижу людей насквозь.

Когда меня позвали прислуживать им и подавать по обыкновению бокалы с вином, я застал их обоих склонившимися над какими-то странными рисунками и не мог сначала понять, что это такое. Потом мне удалось разглядеть их поближе, а из разговора все стало ясно. Они изображали невиданные военные машины, призванные сеять смерть и ужас в рядах врага, боевые колесницы, которые косят людей длинными косами и оставляют на своем пути одни человеческие обрубки, и еще какие-то дьявольские штуковины, тоже на колесах, которые несутся, подталкиваемые скачущими галопом лошадьми, и врезаются в ряды врага, и против которых бессильна любая храбрость, и крытые колесницы с упряжанными внутри неуязвимыми стрелками, способные, как он сказал, сокрушить любой боевой порядок и прикрывающие собой пехоту, которая врывается потом в открывшуюся брешь и довершает начатое. Здесь были орудия убийства столь ужасные, что просто непонятно, как можно было такое измыслить, — я, к сожалению, не имел возможности посвятить свою жизнь военному искусству и не мог даже толком разобраться, что к чему. И еще всякие мортиры, бомбарды и фальконеты, изрыгающие огонь, камни и железные ядра, отрывающие солдатам головы и руки, и все это изображено было так правдоподобно и отчетливо, словно сам по себе рисунок занимал маэстро не меньше остального. И он в подробностях объяснял, как действуют те или иные орудия уничтожения и какое чудовищное опустошение они способны произвести, и говорил об этом так же спокойно и деловито, как и обо всем прочем, что занимает его ум и фантазию. И по нему видно было, что он бы с удовольствием посмотрел, как сработают его машины в деле, что, впрочем, вполне понятно, ведь они такие необыкновенные и придуманы к тому же им самим.

Маэстро Бернардо успевал, выходит, и этим заниматься, будучи одновременно поглощен тысячью других дел — исследуя природу, всяческие ее тайны, собирая цветочки, изучая свои удивительные камни и копаясь в теле Франческо, о котором, помню, он рассказывал герцогу, как о великом, непостижимом произведении природы, и рисуя свою Тайную Вечерю с ее неземным, вознесенным на невидимый пьедестал Христом, окруженным любящими учениками — и съжившимся в своем уголке Иудой, будущим предателем.

И тем и другим он занимался, я уверен, с совершенно одинаковым увлечением. Да почему бы ему и не увлекаться своими уди-

вительными машинами так же горячо, как всем прочим? Человеческое тело, возможно, и очень хитроумное устройство, хотя лично я этого не нахожу, но ведь и машина не проще, да к тому же, повторяю, он сам ее придумал.

Герцога, как ни странно, заинтересовали больше всего не самые чудовищные машины, хотя они-то, по-моему, как раз самые могущественные и один их вид мог бы повергнуть в бегство целое войско, а, наоборот, внешне довольно немудреные, сделанные без той силы мрачной фантазии, но, в сущности, по мнению герцога, более надежные. Самые чудовищные — скорее дело будущего, сказал он. А сейчас надо использовать то, что осуществимо практически. Осадные приспособления, любопытный способ минного подкопа под крепостные башни, остроумные усовершенствования в устройстве метательных машин и осадных орудий, составляющие пока секрет для неприятеля, — в общем, все то, что они, очевидно, и раньше уже не раз обсуждали, а частью уже пустили в дело.

В общем же герцог был в восторге. Поразительное богатство идей, богатство находок, буйный полет фантазии, поистине безграничной, — все это привело его в восхищение, и он в самых лестных выражениях прославлял гений ученого старика. Никогда еще не доказывал маэстро с такой очевидностью силу своей мысли и своего воображения! Они с головой погрузились в этот захватывающий мир фантазии и с жаром обменивались мыслями, совершенно так же, как в тот недавний, самый плодотворный из проведенных ими вместе вечеров. И я слушал их с радостью, потому что на этот раз и моя душа переполнена была восторгом и благоговением.

Теперь мне совершенно ясно, почему герцог пригласил ко двору великого Бернардо и почему так держал себя с ним, обращался как с равным, всячески выказывал свое почтение, окружал самым лестным вниманием. Мне понятен также его искренний интерес к ученым трудам Бернардо, его исследованиям природы, его неслыханным познаниям, как полезным, так и бесполезным, понятны его пронизательные и восторженные суждения о живописи маэстро, о его Тайной Вечере в Санта Кроче и обо всем остальном, что делал этот разносторонне одаренный человек. Мне все теперь понятно!

Он великий герцог!

Сегодня мне приснился страшный сон. Мне приснилось, будто маэстро Бернардо стоит высоко-высоко на горе, рослый и величественный, с развевающейся седой шевелюрой над мощным лбом мыслителя, а вокруг носятся стремглав чудища, те самые жуткие уроды, которых я видел на его рисунках в Санта Кроче. Они носились вокруг него подобно дьяволам, а он как бы царил над ними. Лица у этих кошмарных созданий походили на морды ящериц и лягушек, меж тем как его лицо было по обыкновению серьезно,

строго и благородно. Но постепенно тело его стало меняться, съезживаться, сделалось жалким и уродливым, и на нем выросли два крыла, составляющие одно целое с волосатыми ногами, совсем как у летучей мыши. Сохраняя на лице прежнее торжественное выражение, он начал махать крыльями и вдруг отделился от земли и, окруженный кошмарными созданиями, унесся в ночную тьму.

Я не обращаю внимания на сны. Они ничего не означают и ни с чем не связаны. Действительность — единственное, что имеет какое-то значение.

Ясно, что он урод, это я давно уразумел.

Кондотьер Боккаросса с четырьмя тысячами солдат перешел границу! Он проник уже на две мили в глубь страны, застигнув врасплох Лодовико Монтанца по прозвищу Торо*, который не ожидал нападения и не успел ничего предпринять!

Невероятная новость, поразившая весь город, как удар грома, невероятное событие, взволновавшее все умы!

В полнейшей тайне собрал кондотьер в недоступных горах на юго-востоке своих наемников и дьявольски хитро подготовил нападение, завершившееся теперь таким успехом.

Никто ничего не знал — даже мы сами. Никто, кроме герцога — истинного вдохновителя гениального плана наступления! Просто непостижимо! Даже не верится!

Теперь дни дома Монтанца сочтены, и ненавистному Лодовико — столь же, говорят, ненавидимому соплеменниками, сколь и нами — свернут наконец его бычью шею, на чем и придет конец его гнусному роду.

Его обвели вокруг пальца — это его-то при всей его хитрости! Без сомнения, он подозревал, что герцог вынашивает планы нападения на него, но ему было известно, что никаких войск тут в городе нет и он особо не беспокоился. И менее всего он ожидал нападения именно с этой стороны, где местность столь труднопроходима и где у него нет даже никаких пограничных крепостей!

С Торо покончено!

Трудно описать настроение, которое царит сейчас в городе. Люди собираются на улицах в кучки, жестикулируют, громко говорят, взбудораженные, разгоряченные — или стоят молча и смотрят на марширующие мимо войска, личные войска герцога, которые начинают сюда подтягиваться, неизвестно, откуда они взялись, словно из-под земли выросли. По всему видно, что наступление было очень тщательно подготовлено. Звонят во все колокола, и церкви полны народом, у входов давка. Священники воссылают горячие молитвы за успех войны, нет сомнения, что все это делает-

* Бык (*итал.*).

ся с полнейшего благословения церкви. А как же иначе? Война увенчает нас славой!

Весь народ ликует. При дворе особенное ликование — воодушевление небывалое, и герцогом восхищаются безмерно.

Личные войска герцога будут переброшены отсюда в другое место и границу перейдут на востоке, по широкой речной долине — древний, классический путь наступления. Один дневной переход — и на равнине у подножия гор, где местность удобна для сражения и где земля пропитана кровью героев, они соединятся с армией кондотьера! Таков план кампании! Я его выведал!

Не то чтобы я знал, что план именно таков. Я это просто разнюхал, схватывая на лету по крупичам, словечко тут, словечко там, и пришел к вполне определенному выводу. Я только тем и занят, как бы все разведать, ничего не упустить — подслушиваю у дверей, прячусь за шкапами и драпировками, стараясь как можно больше узнать о том грандиозном, что сейчас происходит.

Каков план! И он наверняка удастся. На этом участке границы есть, правда, пограничные крепости. Но они падут. Возможно, просто сдадутся, так как всякое сопротивление безнадежно. Возможно, их возьмут штурмом. Во всяком случае, помешать они нам не смогут. Ничто не сможет нам помешать, поскольку нападение было таким неожиданным, таким невероятно ошеломляющим.

Какой же он гениальный полководец, наш герцог! Какая многоопытная лиса! Какая хитрость, какой расчет! И сколько величия в самом замысле кампании!

Я горжусь, что я карлик такого герцога.

Все мои помыслы сосредоточены на одном: как бы мне попасть на войну? Я *должен* попасть. Но как, каким путем осуществить свою мечту? У меня нет никаких военных познаний в обычном смысле слова. Как это требуется от командира или хотя бы от солдата. Но я владею оружием! И фехтовать могу, как подобает мужчине! Моя шпага не хуже любой другой! Разве что короче. Но короткие клинки не самые безопасные! Враг на собственной шкуре почувствует!

Я заболел от этих навязчивых мыслей, от страха, что останусь, чего доброго, дома, с женщинами и детьми, останусь в стороне в тот самый момент, когда наконец что-то происходит. И когда, быть может, предстоит величайшая в мире резня.

Я горю жаждой крови!

Я *должен* пойти с ними! *Должен* пойти!

Сегодня утром я набрался смелости и открылся герцогу, высказал ему свое горячее желание участвовать в походе. Я изложил свою просьбу с таким жаром, что он, я заметил, не остался равнодушным. Мне к тому же повезло, я попал в минуту, когда он находился в очень подходящем расположении духа. Он погладил

свою короткую, причесанную наперед бородку, как Делает всегда, будучи в хорошем настроении, и черные глаза его блеснули, когда он взглянул на меня.

Разумеется, я попаду на войну, сказал он. Сам-то он идет, и меня, естественно, захватит. Может ли герцог обойтись без карлика? Кому же тогда потчевать его вином, добавил он, весело мне улыбнувшись.

Меня берут! Меня берут!

Я сижу сейчас в походном шатре, который разбит на холме, поросшем пиниями, враг у подножия гор виден отсюда как на ладони. Полотнище шатра в широкую желтую и красную полосы — это цвета герцога — хлопает на ветру, возбуждая и подстегивая, как звуки фанфар. Я в полном боевом облачении, все в точности как у герцога — и латы, и шлем, и шпага на серебряной перевязи у бедра. Время предвечернее, и сейчас тут, кроме меня, никого. Наружный полог откинут, и до меня доносятся голоса командиров, обсуждающих план завтрашнего наступления, а издали — мужественное, звучное пение солдат. Внизу на равнине я различаю черно-белый шатер Торо и суетящиеся вокруг фигурки людей, такие крохотные, что отсюда они кажутся совсем безобидными, а вдалеке слева — рыцарей без доспехов, голых по пояс, которые купают в реке коней.

В походе мы больше недели — время, насыщенное великими событиями. Наступление развивалось точно так, как я и предсказывал. Мы штурмом взяли пограничные крепости, обстреляв их предварительно из непревзойденных бомбард мессэра Бернардо, впервые показавших, на что они способны, — гарнизон тут же сдался, уstraшенный их жуткой канонадой. Торо в спешке бросил против нас не слишком многочисленные отряды из того войска, при помощи которого он пытался остановить продвижение Боккароссы, но из всех жарких схваток с ними мы вышли победителями, поскольку неприятель значительно уступал нам в силе. Между тем армия Боккароссы, встречая все меньше и меньше сопротивления, огнем и мечом проложила себе путь на равнину и, уничтожая все живое, продвигалась все дальше на север, чтобы соединиться с нами. И вот вчера пополудни эта столь долгожданная, столь важная для всего дальнейшего встреча армий состоялась. Итак, в настоящий момент наши объединенные отряды стоят в предгорьях, между равниной и горами, составляя войско более чем в 15 000 человек, из них 2000 конницы.

Я присутствовал при встрече герцога с его кондотьером. То был исторический момент, поистине незабываемый. Герцог, всем на удивление помолодевший за это время, был в роскошных доспехах, кольчуга из позолоченного серебра, а на шлеме два пера, желтое и красное, они красиво заколыхались, когда он, окруженный своей

свитой, изысканно приветствовал прославленного соратника. Его бледное породистое лицо на этот раз чуть порозовело, а на тонких губах появилась улыбка, искренняя и сердечная, но вместе с тем, как обычно, несколько сдержанная и как бы настороженная. Напротив него стоял Боккаросса, могучий и широченный, настоящий, как мне показалось, великан. У меня было странное чувство, будто я вижу его впервые. Ведь он явился прямо с поля боя. На нем были стальные доспехи, казавшиеся совсем простыми по сравнению с герцогскими, единственным их украшением была сделанная из бронзы звериная морда на груди, разъяренный лев с широко разинутой пастью и высунутым языком. На шлеме никаких перьев, никаких украшений, просто гладкий шлем. Голова эта показалась мне самой ужасной из всех человеческих голов. Жирное рябое лицо обладало такой челюстью, которая одна уже могла бы внушить ужас, толстые кроваво-красные губы были так плотно сжаты, что, казалось, неспособны и раздвинуться, а притаившийся где-то в самой глубине, подобно хищнику в засаде, взгляд способен был бы принудить противника к повиновению, лишь показавшись на миг из своего укрытия. На него было страшно смотреть. Но я никогда еще не встречал человека, который бы выглядел настолько *мужчиной*. Он воплощал собою нечто — я даже не знаю что. Пожалуй, истинное человеческое *могущество*. Как зачарованный, смотрел я на него своим древним взглядом, все уже на свете повидавшим, глазами карлика, вобравшими в себя опыт тысячелетий.

Он был немногословен, почти все время молчал. Не то что другие. Один раз на какие-то слова герцога он улыбнулся. Не знаю, почему я сказал, что он улыбнулся, но у других людей это называется улыбкой.

Интересно, может, он, как и я, не *умеет* улыбаться?

Он не гладколицый, как другие. И не вчера родился, а -происхождения древнего, хоть и не такого древнего, как я.

Герцог, по-моему, выглядел рядом с ним каким-то даже незначительным. Я говорю это, несмотря на все мое преклонение перед моим повелителем, особенно возросшее, как я не однажды упоминал, в последнее время.

Надеюсь, мне удастся повидать его в бою.

Итак, завтра на рассвете состоится великая битва. Казалось бы, наступление следовало начать немедленно, как только наши армии соединились, пока Лодовико не успел еще перевести дух и собраться с силами — что он теперь и поспешил сделать. Я высказал свои соображения герцогу, но он сказал, что надо дать войскам передышку. К тому же надо, мол, быть рыцарем по отношению к противнику и дать ему возможность привести себя в боевую готовность перед столь решающим сражением. Я выразил свои сомнения насчет благоразумности и оправданности такого способа ведения войны. Благоразумно или нет, ответил он, но я рыцарь.

И должен вести себя как рыцарь. От тебя это не требуется. Я покачал головой. Попробуй пойми этого странного человека. Хотелось бы знать, как смотрит на это Боккаросса.

А Торо времени не терял. Ведь нам отсюда все видно. Он успел даже за этот день подтянуть к себе подкрепления.

Но как бы то ни было, мы, разумеется, победим, это ясно. И возможно, даже к лучшему, что он подтянул сюда побольше людей — тем больше слетит голов. Чем больше врагов, тем убедительней победа. Он должен бы понять, что все равно будет разбит, и, чем меньше у него людей, тем для него же лучше. Но он гордец и упрям, как бык.

Было бы, однако, большой ошибкой полагать, что он вовсе не опасен. Он хитер, бесцеремонен, изворотлив и поистине незаурядный полководец. Он был бы грозным противником, не орусь на него эта война столь неожиданно. Все больше и больше понимаешь, как важно было напасть именно так неожиданно, мы, наверно, не раз еще об этом вспомним за время похода.

Мне в подробностях известен план завтрашнего наступления. Наша, то есть герцогская, армия ударит в центр, армия Боккароссы — по левому флангу. Мы пойдем, таким образом, в наступление не по одному, а сразу по двум направлениям. Это и естественно, поскольку в нашем распоряжении две армии. Противитель же, у которого только одна, вынужден будет драться тоже сразу на двух направлениях. Ясно, что это создаст для него очень большие трудности, которых у нас нет. В исходе сомневаться не приходится. Но мы, конечно, тоже должны быть готовы к известным потерям. И вообще сражение, мне думается, будет кровавым. Без жертв, однако, ничего не достигнешь. Да и сражение это чрезвычайно важное, от его исхода зависит, надо полагать, все дальнейшее. Дело стоит того, чтобы принести какие-то жертвы.

Меня все больше начинают занимать секреты военного искусства, до сих пор от меня сокрытые. А разнообразие и напряженность походной жизни мне очень даже по вкусу. Какое же это освобождение для тела и для души — участвовать в войне! Становишься как бы другим человеком. Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо. Мне так легко дышится. И так легко стало двигаться. Тело словно невесомое.

Никогда в жизни я не был так счастлив. Я, мне кажется, и не знал до сих пор, что такое счастье.

Итак, завтра! Завтра!

Я, как ребенок, радуюсь этой битве.

Я страшно тороплюсь, записывая эти строчки.

Победа завоевана, и победа блистательная! Враг отступает в полнейшем беспорядке, тщетно пытаюсь собрать расстроенные

части. Мы преследуем! Путь к неприступному прежде городу Монтанца свободен.

Как только позволят события, я подробно опишу эту замечательную битву.

События говорят сами за себя — слова лишились всякого смысла. Я сменил перо на меч.

Наконец у меня появилось немножко досуга, чтобы кое-что записать. Все это время мы с боями упорно продвигались вперед, много дней подряд, и нам некогда было даже подумать ни о чем другом. Случалось, некогда было даже поставить на ночь палатки, и мы располагались лагерем прямо в открытом поле, среди пиний и олив, и спали, завернувшись в плащ и подложив под голову камень. Чудесная жизнь! Теперь, как я уже сказал, досуга стало побольше. Герцог говорит, что нам не мешает передохнуть — возможно, он и прав. Беспрестанные успехи тоже ведь в конце концов изнуряют.

Мы стоим сейчас всего-навсего в полумиле от города, он растягивается перед нами как на ладони со всеми своими шпилями и башнями, церквами и колокольнями и древним замком Монтанца посередине на холме, в окружении целой кучи других зданий, попроще, и все это обнесено высокой крепостной стеной — настоящее разбойничье гнездо. До нас доносится перезвон колоколов, видно, они молят бога о спасении. Уж мы постараемся, чтобы их молитвы не были услышаны. Торо стянул сюда все остатки своего войска — на равнину между нами и городом. Он призвал в армию кого только смог. Все равно ему не хватит, принимая во внимание, как мы его отделали. Такой незаурядный полководец, а не понимает, по-видимому, всей безнадежности своего положения. Он намерен, по-видимому, сделать все, что в его силах, бросить в бой все, что у него есть, лишь бы избежать уготованной ему судьбы. Это его последняя попытка спасти свой город.

Довольно бессмысленная попытка. Судьба рода Монтанца предопределена была тем историческим утром, почти неделю назад, и теперь настал решающий час.

Ниже я попытаюсь дать подробное и достоверное описание великой, ни с чем не сравнимой битвы.

Началось с того, что обе наши армии одновременно пошли в наступление, в точности как я и предсказывал. Сверху это представляло величественное зрелище — отрада для глаз и для души. Грянул походный марш, развернулось герцогское знамя, над красочными, стройными рядами заколыхались полковые знамена. Под звуки серебряных фанфар, огласивших озаренным солнцем окрестности, ринулась вниз со склонов лавина пехоты. Неприятель подждал ее, сомкнувшись в тесные, грозные колонны, и как только вооруженные до зубов противники столк-

нулись, закипела рукопашная. Кровь лилась рекой. Люди падали как подкошенные, раненные пытались отползти, но их тут же закалывали или просто затапывали, слышались вопли, обычные в каждой битве. Сражение колыхалось подобно разволновавшемуся морю, местами перевес был, казалось, на нашей стороне, местами на стороне неприятеля. Боккаросса делал сначала вид, будто сражается на одном с нами направлении, но его войска постепенно все отходили и отходили, описывая широкую дугу, и набросились на неприятеля с флангов. Тот был захвачен врасплох хитрым маневром и не мог оказать достаточного сопротивления. Победа была не за горами, по крайней мере на мой взгляд. Прошел уже один час, и солнце стояло высоко в небе.

И вдруг случилось нечто ужасное. Те наши отряды, что находились у реки, дрогнули. Они начали отступать под натиском правого фланга армии Торо, их теснили все дальше и дальше, а они только и делали, что беспомощно и неуклюже отбивались. Казалось, они вовсе утратили боевой дух. Они все отходили и отходили, до того, как видно, утрашившись смерти, что готовы были купить себе жизнь любой ценой. Я не верил своим глазам. Я не мог понять, что там такое происходит, тем более что мы ведь намного превосходили их численностью, нас было чуть не вдвое больше. Вся кровь бросилась мне в лицо от стыда за столь невероятную трусость. Я неистовствовал, я кричал, я гогал ногами, я в ярости грозил им кулаками, осыпал их проклятиями — изливал свой гнев и свое презрение. Что пользы! Они меня, разумеется, не слышали — они все отступали и отступали. Мне казалось, я сойду с ума. И никто не шел к ним на выручку! Никто, казалось, и внимания не обращал на затруднительность их положения. Впрочем, они того и не заслуживали!

Вдруг я увидел, как герцог, который командовал центром, сделал знак нескольким отрядам, стоявшим позади. Те двинулись вперед, по направлению к реке, и со свежими силами стали пробиваться сквозь ряды неприятеля. Неодолимые, отвоевывали они пядь за пядью на пути к реке, пока наконец не вырвались с ликующим воплем на берег. Отступление врагу было отрезано! Человек пятсот-семьсот оказалось в окружении. Они попали в мешок, и им ничего не оставалось, как ждать, пока их уничтожат.

Я оцепенел от изумления. Я и понятия не имел о подобного рода военной хитрости. Я принял это за малодушие. Сердце у меня колотилось, я задыхался от радости. Будто гора у меня с плеч свалилась.

Дальше последовало захватывающее зрелище. Наши отряды начали со всех сторон теснить окруженного неприятеля, оттесняя его к узкой полоске земли между полем боя и рекой. В конце концов враг оказался зажатым так, что не мог шевельнуться, и тут мы стали беспощадно их изничтожать. В жизни своей я не ви-

дел такой кровавой бани. И не только кровавой, ибо мы стали теснить их уже прямо в реку, сбрасывать туда целыми кучами, топить как котят. Они отчаянно боролись с течением, барахтались в водоворотках, вопили, звали на помощь и вообще вели себя во все не по-солдатски. Почти никто из них не умел плавать, казалось, они никогда раньше не видели воды. Тех, кому удавалось выбраться на поверхность, тотчас закалывали, тех же, кто пытался перебраться на другой берег, уносило бурным течением. Практически никому не удалось спастись.

Бесчестие обернулось блистательной победой!

С этого момента события развивались с невероятной стремительностью. Центр обрушился на неприятеля, левый фланг тоже, на правом войска Боккароссы косили его с удвоенной яростью. А сверху со склонов ринулась с пиками наперевес свежая, отдохнувшая конница и врезалась в самую гущу схватки, произведя полнейшую панику в измотанных, теснимых рядах армии Торо. И скоро ее отчаянное сопротивление обернулось паническим бегством. И с конницей во главе мы бросились в погоню, чтобы уж до конца воспользоваться нашей замечательной победой. Герцог не намерен был упускать открывавшихся перед ним возможностей. Часть войска, и пехота, и конница, отделилась вдруг от основной массы и двинулась по направлению к боковому ущелью, для того, очевидно, чтобы отрезать путь противнику. Как дальше развивались события, нам уже не было видно, так как горы скрыли от нас действия обеих армий. Все разом исчезло из глаз, скрывшись меж горами по другую сторону равнины, которая только что была театром войны.

Тут наверху у нас началась суматоха, все пришло в движение. Запрягали ч повозки лошадей, лихорадочно грузили разное оружие и снаряжение, все бегали, все суетились, обоз готовился в путь. Я должен был ехать с повозкой, на которую сложили шатер герцога. Прозвучал сигнал к выступлению, и мы спустились со склона и выехали на поле брани. Оно было уныло и пустынно, оставались лишь убитые и раненые. Их было так много, что иногда нам приходилось ехать прямо по телам. Большинство валялись мертвые, но некоторые стонали и вопили во весь голос. Наши же собственные солдаты кричали нам, чтобы мы их подобрали, но у нас не было такой возможности, нам нужно было торопиться, чтоб догнать нашу армию. На войне закаляешься, привыкаешь ко всему. Но такое я видел впервые. Вперемежку с людьми валялись лошади. Мы переехали лошадь, у которой весь живот был разворочен и внутренности валялись тут же на земле. Я не мог на это смотреть, меня чуть не вырвало. Не знаю, что на меня нашло. Я крикнул вознице, чтобы погонял, он щелкнул кнутом, и мы рванули вперед.

Странное дело. Я не раз замечал, что в иных отношениях я очень чувствителен. Есть вещи, вида которых я совершенно не

выношу. Как это было, например, с кишками Франческо. Я даже вспомнить про них не могу. Самые естественные, казалось бы, вещи всегда почему-то особенно омерзительны.

День шел к концу. Даже и такой день, как этот, имеет свой конец. Солнце, которое еще выглядывало из-за гор, освещало прощальными лучами поле битвы, ставшее свидетелем такого мужества, такой славы и такого поражения. Сидя в тряской повозке, спиной к лошади, я глядел назад, наблюдая, как сгущаются над равниной сумерки.

И вот сцена погрузилась во мрак, и разыгравшаяся на ней кровавая драма стала уже достоянием истории.

Неожиданно у меня появилось много досуга для моих записей, потому что зарядил дождь. Небо будто разверзлось и извергает потоки воды. И днем и ночью все льет и льет.

Противно, разумеется. В лагере слякоть и грязь. Проходы между палатками превратились в сплошное жидкое глинистое месиво, в котором увязашь чуть не по колено и где плавают вперемежку человечьи и лошадиные испражнения. Что ни тронь, все липкое и грязное, противно прикоснуться. С крыши палатки тоже капает, и внутри все мокрое. Все это, разумеется, неприятно и многим действует на нервы. С вечера каждый раз надеешься, что завтра установится хорошая погода, но, проснувшись, слышишь все ту же барабанную дробь дождя по полотнищу палатки.

Не понимаю, и что в нем пользы, в этом бесконечном дожде. Он мешает военным действиям, приостановил всю войну. И как раз в тот момент, когда мы могли бы пожинать плоды наших замечательных побед. И ради чего он льет!

Солдаты приуныли. Только и делают, что спят да играют в кости. И никакого, естественно, боевого духа. А Торо тем временем собирается с силами, уж в этом-то можно не сомневаться. Мы же не становимся сильнее. Беспokoиться, конечно, нечего, но просто зло берет, как подумаешь.

Нет ничего более губительного для боевого духа армии, чем дождь. Зрелище перестает захватывать, возбуждать, все как бы тускнеет, теряет свой глянец, все то яркое и волнующее, что связано с войной. Вся красота меркнет. Следует, однако, отказаться от представления о войне, как о вечном празднике. Война не игрушка, это дело серьезное. Это смерть, гибель и истребление. Это не просто приятное времяпрепровождение в доблестных схватках со слабейшим противником. Нужно учиться выдержке, терпению, умению выносить все: лишения, тяготы, страдания. Это совершенно необходимо.

Если уныние охватит всю армию, дело может принять угрожающий оборот. Нам еще немало предстоит совершить, прежде чем мы вернемся домой с победой. Враг еще не добит, хотя ждать

уже осталось недолго. И надо признать, он довольно ловко сумел отступить после того страшного разгрома у реки, нам не удалось окружить его полностью. А сейчас он, повторяю, наверняка снова собирается с силами. Нам потребуется весь наш прежний боевой дух, чтобы разгромить его окончательно.

В герцоге, однако, уныния не заметно ни малейшего. Он из тех, кто по-настоящему любит войну — во всех ее проявлениях. Он спокоен, уверен и энергичен, постоянно в ровном, отличном расположении духа. Ни на минуту не теряет "мужества и уверенности в победе. Превосходный воин! В военных условиях мы с ним удивительно похожи.

Единственное, что я против него имею и чего не могу ему простить, единственное, что служит поводом для горчайших с моей стороны упреков — что он упорно не хочет отпустить меня на поле боя. Не понимаю, отчего он мне отказывает! Отчего препятствует! Я умоляю его перед каждым сражением, один раз просто-таки на коленях умолял, обхватив его ноги и горько рыдая. Но он или делает вид, будто не слышит, или отвечает с улыбкой, что я, мол, слишком ему дорог, не дай бог, еще что-нибудь со мной случится. Случится! Да я о том только и мечтаю! Он не понимает, *что* это для меня значит. Не понимает, что я всей душой рвусь в бой, как ми один из его солдат, более горячо, более искренне и страстно, чем другие. Для меня война не игрушки, но дело *страшно серьезное*. Я хочу сражаться, я хочу *умереть!* Не ради того чтобы отличиться, а ради самого действия, ради *свершения*. Я хочу видеть, как вокруг меня падают убитые, хочу видеть смерть и гибель. Он и не подозревает, что я собой представляю. И я должен подавать ему вино, прислуживать ему и ни на шаг не отходить от палатки, в то время как душа моя рвется в гущу битвы. Я всегда только зритель, только наблюдаю, как другие совершают то дело, на котором сосредоточены все мои помыслы, сам же не имею права принять участие в бою. Невыносимое унижение. Я до сих пор не убил ни одного человека! Он не знает, сколько страданий он мне этим причиняет.

Я поэтому не вполне искренен, утверждая, что *по-настоящему* счастлив.

Другие тоже замечают мое боевое рвение. Но им в отличие от герцога неизвестно, насколько это серьезно, насколько это глубоко во мне коренится. Они просто видят, что я всегда хожу в доспехах и при шпаге, и удивляются. Их мнение насчет меня и моего участия в походе мне совершенно безразлично.

Здесь много, разумеется, таких, кого я прекрасно знаю. Приближенные герцога и постоянные гости в его замке, прославленные воины из древних, знаменитых родов, веками отличавшихся на войне, и разные высокопоставленные особы, которые уже по причине своей знатности встали во главе армии. Все нынешние военачальники давно и прекрасно известны мне, так же как и я

им. Они-то наряду с герцогом и осуществляют руководство военными действиями. Его окружает, надо сказать, поистине избранное общество — самые блестящие представители военной аристократии страны.

Меня раздражает, что дон Рикардо тоже участвует в походе. Этот хвостун и выскочка вечно тут как тут — предпочтительно под боком у герцога — со своими дурацкими шутками другим на потеху. Этот его деревенский румянец во всю щеку, эти его крупные белые зубы, которые он без конца скалит, потому что все ему кажется смешным, — удивительно примитивная личность. Стоит только поглядеть, как он встряхивает шевелюрой и как крутит все время между пальцами кучерявую черную бороду. Не понимаю, как только герцог терпит его присутствие.

И уж совсем непонятно, что привлекательного находит в этом примитивном — несмотря на многочисленных предков — человеке герцогиня. Впрочем, какое это имеет значение. Не мое это дело, да и не интересуется это меня вовсе.

Когда слышишь разговоры о том, что он якобы храбр, то просто-напросто неясно, что при этом имеется в виду. Я, во всяком случае, не понимаю. Он наряду с прочими участвовал в битве у реки, но я не могу поверить, чтобы он там как-нибудь отличился. Я его там и не видел. Вероятно, это он сам так говорит. А поскольку все смотрят ему в рот и ловят каждое его слово, то ему ничего не стоит всех убедить. Лично я ни минуты не верил, что он проявил храбрость. Несносный хвостун — вот что он такое.

Храбрец! Смешно даже подумать!

Вот герцог, тот действительно храбр. Он всегда там, где жарче всего, его белоснежного скакуна и яркий плюмаж всегда отличишь в самой гуще схватки, враг, если пожелает, может сойтись с ним лицом к лицу, он постоянно подвергает свою жизнь опасности. Он любит рукопашную ради нее самой, это сразу видно, он от нее получает наслаждение. И Боккаросса, разумеется, храбр. Впрочем, по отношению к нему это, пожалуй, не то слово. Оно слишком мизерно и не дает полного представления о том, каков он в бою. Мне рассказывали, когда он идет на врага, то наводит ужас даже на самых закаленных воинов. И самое страшное, говорят, что он как бы вовсе даже не разъярен, не опьянен битвой, а делает свое дело с каменным лицом, убивает замечательно методически и хладнокровно. Он часто сражается спешившись, словно для того, чтоб быть вплотную к своим жертвам. Такое впечатление, что он просто любит пускать людям кровь, протыкать их насквозь. Как сражаются герцог и другие, выглядит, говорят, по сравнению с этим детской забавой. Сам я этого не видел, поскольку издали мне его разглядеть трудно, знаю только с чужих слов. Не могу выразить, до чего мне досадно, что нельзя посмотреть на него вблизи.

Вот такие люди, как герцог и он, действительно храбры, каж-

дый по-своему. Но дон Рикардо! Просто смешно упоминать его имя рядом с ними.

Боккаросса — как, впрочем, и его солдаты, — любит к тому же сжигать все дотла на своем пути, грабить, разорять и опустошать все дочиста. Даже слишком, по мнению герцога, больше, чем это необходимо в целях войны. Хотя вообще-то он и сам не против опустошений. Но там, где прошел Боккаросса, не остается, говорят, ничего живого. И тут, если верить разговорам, герцог и его кондотьер все же расходятся во взглядах. Лично я склоняюсь больше к точке зрения Боккароссы. Вражеская земля есть вражеская земля, и обращаться с ней надо соответственно. Таков закон войны. Это может показаться жестокостью, но война и жестокость нераздельны, тут ничего не поделаешь. Необходимо истреблять тех, с кем воюешь, а страну разорять дотла, чтобы она уже не могла оправиться. Опасно оставлять у себя за спиной очаги сопротивления, надо быть уверенным, что тыл свободен. Я не сомневаюсь, что Боккаросса прав.

Герцог иной раз вроде бы вовсе забывает, что он среди врагов. С населением он обращается совершенно, на мой взгляд, непозволительно. Вот, например, когда мы проходили в тот раз это грязное горное селение, он задержался и стал смотреть на их деревенский праздник, внимательно слушал, как они дудят в свои дудки, будто это и вправду музыка и стоит ради нее задерживаться. Не понимаю, какое он мог находить в ней удовольствие. И как он мог вступить в разговор с этими примитивными людьми. Для меня это просто непостижимо. Так же непостижимо, как и сама эта их затея — какой-то там праздник, чтоб отпраздновать, как они сказали, сбор урожая. Одна беременная женщина выплеснула на землю немного вина и оливкового масла, и все уселись вокруг этого места и стали передавать по кругу хлеб, вино и какой-то там сыр из козьего молока, и все ели и пили. И герцог тоже уселся и стал есть вместе с ними и хвалить их оливки и этот их ужасный с виду плоский сыр, а когда пришла его очередь, поднес ко рту старый, грязный глиняный кувшин с вином и пил из него, как все. Смотреть тошно. Я никогда его таким не видел и не подозревал, что он способен так себя вести. Он постоянно меня удивляет не тем, так другим.

Когда он спросил, зачем женщина вылила вино и масло, какой в этом смысл, они смутились и замолчали, будто это невесть какой секрет, и на их тупых деревенских физиономиях появилась хитроватая ухмылка. Наконец удалось выяснить, что это для того, чтобы земля понесла и разродилась на будущий год вином и оливками. Совсем уж смешно. Будто земля могла знать, что они вылили на нее вино и масло, и зачем они это сделали. Так у нас всегда делалось об эту пору, сказали они. А какой-то старик с длинной всклокоченной бородой, изрядно, видно, хлебнувший вина, подошел к герцогу и, наклонившись к нему, сказал,

доверительно глядя в глаза: так отцы наши делали, и мы того же держимся.

Потом все они принялись танцевать. Неуклюже, по-деревенски, и старики, и молодые, и даже тот самый старец, который стоял уже одной ногой в могиле. А музыканты заиграли на своих самодельных пастушьих дудках, из которых можно было извлечь всего несколько звуков, отчего получалось все одно и то же, одно и то же. Не понимаю, что за охота была герцогу слушать эту примитивнейшую на свете музыку. Однако и он, и дон Рикардо — этот тоже был с нами, вечно он тут как тут — сидели, не двигаясь с места, вовсе позабыв, что идет война и кругом враги. А когда крестьяне стали петь свои тягучие, заунывные песни, они просто оторваться не могли. Так и просидели до самых сумерек. Пока не сообразили все-таки, что оставаться к ночи в горах небезопасно.

Какой чудесный вечер, восторгались они, спускаясь к лагерю. А дон Рикардо, которому ничего не стоит разохаться и расчувствоваться, стал в самых высокопарных выражениях распространяться насчет красот ландшафта, хотя ничего особенно красивого в нем не было, и то и дело останавливался и прислушивался к дудкам и к песням, которые долго еще доносились до нас из этого затерянного в горах грязного, убогого селеньища.

И в тот же вечер он явился в шатер к герцогу, прихватив в лагере двух куртизанок, которые неизвестно как умудрились пробраться к нам из города, через самое пекло — вероятно, в надежде поживиться, поскольку у нас с этим товаром дело обстоит неважно. И кроме того, женщину всегда больше устраивает переспать с неприятелем, как они сами сказали. В первый момент герцог был, казалось, неприятно поражен, и я не сомневался, что он разгневется и выгонит их вон, а дон Рикардо примерно накажет за неслыханную дерзость, но, к моему неопишуемому удивлению, он вдруг расхохотался, посадил одну из них к себе на колени и велел подать самого нашего изысканного вина. Я такого в ту ночь насмотрелся, что до сих пор не опомнюсь. Я дорого бы дал, чтоб не присутствовать при их оргии и избежать преследующих меня теперь тошнотворных воспоминаний. Понять не могу, как они к нам пробрались! Впрочем, женщины, в особенности женщины такого сорта, все равно что крысы, для них не существует препятствий, они где угодно ход прогрызут. Я собирался как раз пойти спать, но пришлось остаться прислуживать им, и не только моему господину и дону Рикардо, но и этим размазанным шлюхам, от которых за сто метров разило венецианскими притираниями и разгоряченной, потной женской плотью. Нет слов, чтобы выразить охватившее меня отвращение.

Дон Рикардо без конца расхваливал их красоту, особенно одной из них, он восторгался ее глазами, ее волосами, ее ногами, которые он все показывал герцогу, хоть ей и следовало бы постесняться, а потом повернулся к другой и стал восхвалять ее

в столь же льстивых выражениях, чтобы она не почувствовала себя обиженной. Все женщины прекрасны, восклицал он. В них — вся восхитительная сладость жизни! Но восхитительней всех куртизанка, всю жизнь свою посвящающая любви, ни на миг ей не изменяющая! Он вел себя до того глупо и пошло, что хоть я и всегда считал его за пошлейшего и глупейшего из мужчин, но все же никогда не думал, что он может быть столь поразительно смехотворен и туп.

Они много пили, и постепенно вино оказывало на них свое действие, и дон Рикардо, разумеется, окончательно расчувствовался, заговорил про любовь и декламировал массу скучнейших стихов, все больше любовные сонеты про какую-то Лауру, от которых женщины даже прослезились. Он положил голову на колени к одной, герцог — к другой, и шлюхи нежно гладили их по волосам и блаженно вздыхали, слушая его дурацкую болтовню. У него была та, что покрасивее, и я не мог не заметить, какие странные взгляды бросал на него герцог — и тогда и позже, — всякий раз, как глупые женщины приходили в восторг, восхищаясь тем, что он сказал или что сделал. Женщинам всегда ведь нравятся мужчины примитивные и незначительные, потому что напоминают им их же самих.

Но вдруг он вскочил и заявил, что хватит, довольно слезливых любовных восторгов, будем пить и веселиться! И тут началась самая настоящая оргия — пьянство, шуточки, хохот, анекдоты, до того скабрзные, что я даже пересказать их не могу. В самый разгар попойки герцог вдруг воскликнул, подняв свой бокал и выпив за здоровье дон Рикардо: «Завтра ты будешь моим знаменосцем в бою!» Дон Рикардо пришел в восторг от столь неожиданной милости, глаза его засверкали. «Надеюсь, драка будет жаркая!» — крикнул он, выхваляясь перед женщинами, чтобы они по достоинству оценили его храбрость. «Заранее знать нельзя, но, возможно, что и так», — сказал герцог. И тут дон Рикардо схватил его руку и поцеловал ее почтительно и благодарно, словно рыцарь своему сюзерену. «Дорогой мой герцог, запомни, что ты обещал в сей час пьяного веселия!» — «Будь спокоен. Я не забуду».

Куртизанки находили, видно, сцену великолепной и пожирали их обоих глазами. Особенно того, кому предстояло нести в бою знамя.

По окончании интермедии разнузданная оргия продолжалась, они вели себя по отношению друг к другу все непристойней и бесстыдней, и мне, невольному свидетелю, неловко и противно было на них глядеть. Они обнимались и целовались, с покрасневшими лицами, гнусно разгоряченные своей похотью, откровенной и необузданной. Гадость неописуемая. Хотя женщины для виду и сопротивлялись, они стащили с них до пояса платья, обнажив груди, и у той, что покрасивей, соски оказались совершенно ост-

рые, и возле одного была родинка, не слишком большая, но все же очень заметная. Когда я наливал ей вино, меня замутило от запаха ее тела. От нее пахло так же, как пахнет по утрам от герцогини, когда она еще в постели, но только к той я никогда не подходил так близко. Когда дон Рикардо взял ее за грудь, во мне поднялось такое отвращение и такая ненависть к этому распутнику, что я, кажется, удушил бы его собственными руками или проткнул бы на месте кинжалом, чтобы он никогда больше не смог прикоснуться к женщине. Содрогаясь от переполнявшей меня брезгливости, я стоял в сторонке и думал, что за гнусные все же создания эти люди. Чтоб им всем сгореть в адском пламени!

Дону Рикардо, который занимался больше той, что покрасивее, поскольку она от него не отставала, пришла под конец в голову очередная дурацкая идея, а именно разыграть красоту в кости, и кто из них с герцогом выиграет, тому она и достанется. Мысль очень всем понравилась, и герцогу тоже, а женщина, о которой шла речь, откинувшись полуголая назад, пронзительно захохотала в восторге от предстоящего поединка. Мне тошно было на нее глядеть, я не понимал, что они находят в ней красивого и соблазнительного, как можно добиваться такого отвратительного приза. Она была светловолосая и белокожая, с большими голубыми глазами и ужасно волосатыми подмышками, по-моему, просто омерзительная. Я никогда не мог понять, к чему у людей волосы под мышками, всякий раз, как я это вижу, мне делается ужасно противно, особенно если подмышки потные. У нас, карликов, нет ничего похожего, у нас это считается верхом неприличия. Будь у меня где-нибудь волосы, кроме как на голове, что вполне для человека понятно и оправданно, я не знал бы, куда деваться от стыда.

Мне велели принести кости, герцог кинул первым, выпали шестёрка и единица. По уговору, она должна была достаться тому, кто первый наберет пятьдесят. Они продолжали по очереди кидать, а женщины следили не отрываясь, страшно заинтересованные, отпускали бесстыжие замечания, взвизгивали и хохотали. Выиграл герцог, и все повскакали со своих мест, хохотали и кричали, перебивая друг друга.

И тут оба они набросились на женщин, каждый на свою, сорвали с них платье и начали вытворять с ними до того уж невообразимые гнусности, что я выскочил не помня себя из шатра, и меня тут же начало рвать. Я весь покрылся холодным потом, а кожа сделалась, как у ошипанного гуся. Дрожа от озноба, я заполз в палатку для прислуги и улегся на свою солому между поваром и несносным грубияном-конюхом, от которого пахнет лошадьми и который всякий раз, поднимаясь утром их чистить, пинает меня ногой, уж не знаю почему. Ему, он говорит, просто нравятся меня пинать.

Человеческая любовь — нечто для меня непостижимое. Мне она внушает одно лишь отвращение. Все, чему я был свидетелем в ту ночь, вызывало во мне одно лишь отвращение.

Возможно, дело в том, что я существо другой породы, тоньше, чувствительнее, деликатнее, и поэтому остро реагирую на многое из того, что их вовсе не трогает. Не знаю. Я ни разу не испробовал того, что они зовут любовью, да и желания не имею. Ни малейшего. Однажды мне предложили карлицу, красивую женщину с пронизательными, как у меня, глазами, морщинистым лицом и телом как древний пергамент. Но она не возбудила во мне никаких чувств, хотя я и видел, что в красоте ее нет ничего отталкивающего, что она не как они. Возможно, причина в том, что предложила мне ее герцогиня, задумавшая свести нас, так как надеялась, что мы родим ей маленького карлика, которого ей тогда очень хотелось. Это было еще до того, как у ней родилась Анжелика и она мечтала завести себе игрушку. Забавно было бы иметь ребеночка-карлика, говорила она. Однако я вовсе не собирался оказывать ей такого рода услугу и унижать свой род, соглашаясь на непристойное предложение.

Кстати, она ошибалась, полагая, что мы сможем подарить ей ребенка. Мы, карлики, детей не рожаем, мы бесплодны по самой своей природе. Мы не способствуем продолжению жизни, да и не желаем того. И нам ни к чему производить на свет потомство, поскольку род человеческий сам производит на свет своих карликов. Нам можно не беспокоиться. Пусть эти высокомерные существа сами нас и рожают, в тех же муках, что и человеческих детей, так, и только так, должны мы появляться на свет. В нашем бесплодии заключен глубокий смысл. Мы — того же рода, но вместе с тем и не того. Мы гости в этом мире. Древние, морщинистые гости, гости на тысячелетия, гости навечно.

Однако я слишком отклонился в сторону от своего повествования. Я не о том хочу писать.

На следующее утро дон Рикардо действительно нес герцогское знамя. Ходит много разговоров о некоторых связанных с этим событиях. У меня, однако, имеется на этот счет собственное мнение, я подозреваю истинную подоплеку дела. Говорят, будто герцог, отдав весьма странный приказ, подверг жизнь дона Рикардо ненужной опасности, и все считали его смерть предрешенной, когда в очень рискованной ситуации он вынужден был бросить вперед свой маленький отряд конницы. Утверждают к тому же, что сражался он с неслышанной храбростью, чему я никак не могу поверить. С горсткой уцелевших солдат он якобы все отчаяннее бился за знамя, защищая его с паразитическим самообладанием. И когда схватка приняла очень опасный оборот, в гущу ее ворвался якобы герцог, то ли оттого, что момент был жаркий и он не мог удержаться, чтобы не принять участия в захватывающей игре, то ли по какой другой причине. В сопровождении небольшой

кучки всадников он врезался в ряды неприятеля и стал рубить направо и налево, словно прорываясь к дону Рикардо на помощь. Но вдруг его лошадь, получившая удар копьём в грудь, рухнула наземь. Герцог вылетел из седла и очутился на земле в окружении врагов. Это якобы переполнило дону Рикардо такой яростью и такой отвагой, что он со своими людьми пробился сквозь окружавшее их вражеское кольцо и отчаянным усилием сумел вместе с остатками герцогских всадников не подпустить к нему неприятеля, покуда не подспела выручка. Дон Рикардо будто бы истекал кровью от множества ран. Намекают, что он, должно быть, знал, что герцог желал ему смерти, и все же совершил такой поступок и спас жизнь своему господину.

Я в эту версию не верю. Она кажется мне слишком неправдоподобной. И передаю я ее лишь потому, что так именно, я слышал, рассказывают о драматических событиях того утра. Если сам я смотрю на дело по-другому, то объясняется это прежде всего тем, что мне слишком хорошо известен характер дону Рикардо. Я знаю его, как никто. Не такой он человек.

Версия эта, как мне кажется, слишком явно окрашена сложившимся представлением о доне Рикардо, да и его собственным о себе представлением. Создалась своего рода легенда, в которую все уже успели уверовать, будто бы он — сама храбрость, и все, что бы он ни делал, благородно, прекрасно и великолепно. И причиной тому — лишь его удивительная способность лезть всем в глаза, всячески привлекать к себе внимание. Его поведение на войне отличается тем же смехотворным самодовольством, что и все его поведение вообще, всякий его поступок. А это его безрассудство, которое всех так умиляет, объясняется просто-напросто его глупостью. Глупое безрассудство принимают за мужество.

Если он и в самом деле так безумно храбр, если он постоянно, как он говорит, подвергает свою жизнь опасности, отчего, спрашивается, он никак не погибнет? Действительно вопрос. Жалеть о нем никто бы не стал, во всяком случае, не я.

На этот раз он был якобы весь изранен. Правда или нет, узнать невозможно, лично я позволю себе усомниться. Не так уж, наверно, все страшно. Раны, наверно, пустяковые. Во всяком случае, с тех пор я избавлен от необходимости его видеть.

Зато абсолютно, говорят, достоверно, что он имел наглость сражаться в плюмаже цветов герцогини, которые она будто бы сама для него выбрала, когда мы отправлялись в поход, что в то утро они сияли у него на шлеме, и он, выходя, открыто, перед всем светом сражался в честь дамы своего сердца. Отстаивая столь мужественно герцогское знамя, он сражался, стало быть, в честь своей возлюбленной. И спасая герцогу жизнь, он тоже, стало быть, сражался в ее честь. А ведь только что перед тем он обнимал другую женщину. Возможно, и в бой пошел прямо из ее

постели, украсив себя плюмажем цвета своей великой и пламенной любви. Истинная его любовь распустилась пышным цветком над открытым рыцарским забралом, в то время как тело еще хранило жар преступной страсти. Поистине человеческая любовь — загадка. Не удивительно, что ее не так-то легко разгадать.

Загадочны и отношения этих двух мужчин, связанных с одной и той же женщиной. Может, между ними существует некое тайное соглашение? Иногда, право же, начинает казаться, что так оно и есть. Действительно ли, как утверждают, дон Рикардо спас герцогу жизнь? Не думаю. Но возможно, что и так, и если так, то лишь из спеси, чтобы по-своему, по-рыцарски, опровергнуть слух, будто герцог желал его смерти, показать всем, какой он исключительно благородный. Это на него похоже. И действительно ли, как хотят уверить, герцог кинулся тогда спасти дону Рикардо жизнь, выручая его из смертельной опасности — хотя только что желал ему смерти? Не знаю. Мне это все же непонятно. Не может ведь человек одновременно и любить и ненавидеть?

Я вспоминаю его взгляды той ночью — они сулили смерть. Но я помню также, какие мечтательные, влажные были у него глаза, когда он слушал, как дон Рикардо декламировал про любовь, великую, необъятную любовь, охватывающую нас своим пламенем и пожирающую, испепеляющую все наше существо. Может, любовь — это просто красивые стихи, ничего в себе не заключающие, во всяком случае, ничего определенного, а просто приятные на слух, если декламировать красиво и проникновенно? Не знаю. Не исключено, однако, что и так. Люди — своего рода фальшивомонетчики.

Удивляет меня и поведение герцога с той куртизанкой. Я всегда думал, что он выше таких вещей. Впрочем, какое мне дело. К тому же я привык, что он то и дело оказывается совсем иным, чем я себе представлял. На следующий день я рассказал про это в осторожных выражениях одному из камерьеров* и выразил свое изумление. Он вовсе не был удивлен. У герцога, сказал он, всегда были любовницы из придворных дам или из горожанок, а иногда и знаменитые куртизанки, сейчас у него в любовницах дамиджелла** герцогини Фьяметта. Он меняет их как перчатки, сказал он со смехом, удивляясь моей неосведомленности.

Странно, как такое могло ускользнуть от моего на редкость, в общем-то, проницательного взгляда. Мое безоговорочное восхищение повелителем сделало меня, должно быть, совершенно слепым.

Меня не волнует, что он обманывает герцогиню. Я ее ненавижу и очень рад, что ее обманывают. К тому же, она-то ведь любит дону Рикардо. Не кому-нибудь, а именно ему пишет она те жаркие

* Слуга (*итал.*).

** Знатная барышня (*итал.*).

любовные слова, которые я вынужден прятать у себя на груди. Я от души надеюсь, что его в конце концов убьют.

Дождь наконец перестал. Когда мы вышли сегодня из палатки, солнце сияло всюду, линии гор были ясны и отчетливы, хотя все, разумеется, было пропитано влагой, повсюду журчали вновь образовавшиеся ручьи. Утро было необыкновенно бодрящее. Небо очистилось, взгляду открылся возвышавшийся на своем холме разбойничий город Монтанца — мы успели уже забыть, как он выглядит, а теперь отчетливо был виден каждый дом за крепостной стеной, каждая бойница древних крепостных башен, все вплоть до маленьких позолоченных крестов на церквах и колокольнях, после дождя все виделось вроде бы намного отчетливее, чем прежде. Недалек уже тот день, когда проклятый город будет взят и исчезнет наконец с лица земли.

Все рады выйти и подвигаться на свежем воздухе, хорошая погода бодрит и поднимает боевой дух. Уныние, равнодушие словно ветром сдуло. Все так и рвется в бой. Я очень ошибался, полагая, что дождь действует губительно на боевой дух армии. Он, видимо, лишь притупляет его до поры до времени.

В нашем палаточном лагере жизнь кипит ключом. Солдаты, болтая и перешучиваясь, чистят оружие, слуги надраивают до блеска рыцарские доспехи, коней гонят купать к быстрым потокам, которые во множестве журчат сейчас по склонам между ольвами, все и вся готовится к предстоящему сражению. Лагерь обрел свой прежний вид, а война — свою прежнюю красочность и праздничность, что, бесспорно, ей больше к лицу. Яркие солдатские мундиры, рыцарские доспехи, роскошная серебряная конская сбруя — все блестит и сияет на солнце.

Я долго стоял, разглядывая город — конечную цель нашего похода. С виду он хорошо укреплен, его стены и крепостные сооружения могут показаться прямо-таки неприступными. Но мы его возьмем, и нам немало в том поможет мессэр Бернардо. Я видел его новые тараны и метательные машины, разные осадные приспособления и страшные, небывалые осадные бомбарды. Никакое в мире оборонительное укрепление не способно им противостоять. Мы пробьемся через любые преграды, будем крушить и ломать, а то и взорвем на воздух целые куски стены, используя потайной минный ход, о котором он говорил в тот вечер, будем сражаться всеми мыслимыми средствами, пустим в дело все, что изобрел для нас его гений, и ворвемся в город, ворвемся на его улицы, сея вокруг смерть и разрушение. Он будет сожжен, разорен, стерт с лица земли. В нем не останется камня на камне. И его жители, эти разбойники и бандиты, получат наконец по заслугам, будут истреблены или угнаны в плен, и лишь дымящиеся руины будут напоминать о былом могуществе рода Монтанца.

Я убежден, что герцог твердой рукой расправится со своим кровным врагом. А уж что касается людей Боккароссы — страшно и подумать. То будет наш последний и окончательный триумф.

Но сперва нам предстоит смести с дороги войско, которое стоит между нами и городом. Нетрудно заметить, что численность его значительно возросла — как я и предсказывал. Кое-кто утверждает, что это могучее войско, почти такое же огромное, как наше, включая и отряды Боккароссы. Это преувеличение. Оно действительно занимает теперь намного больше пространства, чем прежде, но называть его могучим значит, по-моему, слишком уж переоценивать неприятеля. Когда герцог увидел его в первый раз, он сначала вроде бы нахмурился, но тут же снова повеселел, воодушевившись, как видно, лицезрением вражеских сил, радуясь мысли о предстоящем сражении, возможности вступить наконец-то в захватывающую битву. Вот что значит истинный воин! Он ни минуты не сомневается в нашей победе, да и никто из командования не сомневается, насколько мне известно.

Весело, должно быть, участвовать в штурме города. До сих пор мне ни разу не доводилось.

Я сижу в своих покоях, на всегдашнем для моих письменных занятий месте. За этой низенькой, очень удобной для меня конторкой я и продолжаю свое описание тех знаменательных и роковых событий, участником которых являюсь. Это может, наверное, показаться странным, но объясняется все очень просто.

Мы выиграли сражение. Мы ведь заранее знали, что выиграем, пусть даже ценой чувствительных потерь. И с той и с другой стороны убитых было достаточно, но с их стороны гораздо больше. Теперь им уже, конечно, трудно будет оказать нам сколько-нибудь серьезное сопротивление. Однако и нам эта битва основательно, как я уже сказал, пустила кровь. Особенно на второй день. Но для того ведь и солдаты, чтобы употреблять их в дело. И ничего такого ужасного, как некоторые болтают, не произошло.

А дома мы сейчас по той простой причине, что герцог вынужден был вернуться, чтоб собраться с силами для победоносного завершения войны. И кроме того, как я слышал, надо запастись необходимыми для этой цели денежными средствами. Подобное предприятие поглощает, без сомнения, значительные суммы. Герцог, говорят, ведет сейчас переговоры с венецианской синьорией. У этих торгашей нужного товара хоть отбавляй, и дело, говорят, должно скоро уладиться. После чего мы немедленно снова выступим в поход.

Говорят, что Боккаросса и его наемники запросили очень высокую плату и считают теперь, что не все еще получили из того, что им причиталось по уговору. Я, признаться, не ожидал, что они могут придавать такое значение этой стороне войны, ведь

никто не сражается так отважно и бесстрашно, как они. Я думал, они любят войну ради войны, как я, например. Впрочем, нельзя, наверное, и требовать такого бескорыстия. Вполне, наверное, естественно, что они хотят, чтобы им заплатили. Ну что ж, они свое получают.

Говорят и о каких-то других якобы несогласиях между кондотьером и герцогом — да мало ли что болтают. Когда армия потеряла столько крови и не все идет гладко, настроение, естественно, падает. Все недовольны исходом дела, все друг друга обвиняют, люди чувствуют усталость, подсчитывают потери, сравнивают одно, другое, третье. Дерутся-то солдаты Боккароссы действительно как бешеные, но, возможно, не только и не столько ради осуществления великих целей герцога, у них, возможно, и своя корысть на уме. Но все это мелочи, временное явление.

Меня это мало трогает, а уж менее всего вульгарные денежные счета в таком вопросе, как война. К тому же все скоро уладится.

Что за тоска сидеть дома. Человеку, явившемуся прямо с поля боя, здешнее существование представляется до ужаса пустым и монотонным. Время тянется бесконечно, и не знаешь, чем себя занять, всякая жизнедеятельность точно парализована. Впрочем, это вопрос дней. Скоро снова в путь.

На здешних обитателей смешно смотреть, я имею в виду слуг и всех прочих, кто не участвовал в войне. Они живут словно в другом мире, словно и не подозревают, что страна находится в состоянии войны. Глядя на мои доспехи, они разевают рты от удивления, будто не знают, что так всегда одеваются в походе. А иначе, не успеешь оглянуться, как станешь добычей врага, обречешь себя на верную смерть. Они говорят, что здесь-то, мол, опасность не грозит. Но война ведь *идет*. И я скоро снова отправлюсь в поход. Всякую минуту можно ожидать приказа герцога о выступлении, и надо быть в боевой готовности. *Поэтому* я хожу в доспехах. Да разве им объяснишь.

Поскольку сами они в походе не участвовали, то совершенно не способны вообразить, что это такое. А когда пытаешься дать им хоть какое-то представление о боевой жизни и ее опасностях, они глядят на тебя с тупым недоверием, не в силах вместе с тем скрыть тайную зависть. Они стараются намекнуть, что я, мол, вовсе и не испытал того, в чем хочу их уверить, что я не принимал сколько-нибудь деятельного участия в тех битвах, о которых рассказываю. Нетрудно понять, что в них говорит примитивная зависть. Не испытал! Они не знают, что клинок мой шпаги еще хранит на себе кровь последней великой битвы. Я его не показываю, так как не выношу солдатской бравады, которая процветает обычно на войне и столь свойственна, например, дону Рикардо. Я лишь крепче сжимаю эфес и спокойно отправляюсь своей дорогой.

А случилось это так: в ходе нашей последней двухдневной битвы мы вынуждены были овладеть высотой, расположенной между нашим правым флангом и городом. Стоило нам это недешево. Зато сразу же значительно улучшило наше стратегическое положение. Герцог тотчас туда отправился, и я, естественно, вместе с ним. На самой вершине стоял принадлежащий Лодовико загородный замок, довольно эффектно выглядевший, окруженный кипарисами и персиковыми деревьями. Несколько солдат и я вместе с ними пошли осматривать замок, чтобы убедиться, что там не укрылся враг, способный преподнести нам неприятный сюрприз и покуситься на жизнь герцога. Но обнаружили всего лишь несколько дряхлых слуг, настолько беспомощных, что их, видимо, просто бросили при отступлении, и герцог сказал, чтобы мы их не трогали. Я между тем спустился в подземелье, которое никто не удосужился осмотреть и которое могло послужить прекрасным укрытием. Там я неожиданно наткнулся на карлика — Лодовико держит при дворе много карликов, — которого почему-то тоже бросили. Увидев меня, он страшно перепугался и кинулся в полутемный боковой ход. Я крикнул: «Стой!» Но он не остановился на мой окрик, из чего я заключил, что совесть у него нечиста. Вооружен он или нет, я не знал, и потому погоня за ним по узким, запутанным подземным ходам была захватывающе рискованной. Наконец он шмыгнул в помещение, имевшее выход наружу, которым он, видно, и собирался воспользоваться, но не успел он открыть дверь, как я его настиг. Он жалобно пискнул, поняв, что попался. Я погнался за ним, как крысу, вдоль стен, зная, что теперь уж ему не уйти. В конце концов я загнал его в угол, теперь он был мой. Я насадил его на шпагу, легко прошедшую насквозь. На нем не было ни лат и ничего, что положено воину, одет он был в смешотворный голубой бархатный камзолчик с кружевами и всякой мишурой у ворота, словно маленький ребенок. Я оставил его лежать там, где он упал, и вернулся к дневному свету и к битве.

Я рассказал об этом вовсе не потому, что считаю свой поступок примечательным. Пустяковый эпизод, обычный на войне. Я вовсе не собираюсь похвалиться этим всякому встречному, я просто исполнил свой солдатский долг. Никто об этом не знает, ни герцог, и никто другой. Никто не подозревает, что моя шпага обогрета кровью, и пусть так и останется — в память о моем участии в походе.

Я немножко жалею, что сразил именно карлика, лучше бы я сошелся лицом к лицу с кем-нибудь из людей, мне ненавистных. К тому же и единоборство было бы еще более захватывающим. Но я и свое собственное племя ненавижу, мой род мне тоже ненавистен. И в этом поединке, особенно в момент, когда я нанес смертельный удар, меня охватило странное возбуждение, будто я исполнял обряд какой-то неизвестной мне религии. Это было то же чувство, которое я испытал, когда душил Йосафата, неисто-

вая жажда истребления себе подобных. Отчего, зачем? Я не знаю. Суждено мне, что ли, жаждать истребления и себе подобных?

У него был писклявый, как у всех карликов, голосок кастрата, и он меня страшно разозлил. У самого у меня голос низкий и сильный.

Презренное, жалкое племя.

Отчего они не такие, как я!

Сегодня утром герцогиня пыталась завести со мной разговор про любовь. Она ужасно расчувствовалась и даже прослезилась, интересно, с чего бы это — наверняка есть какая-то причина, знала бы она, *сколько* у нее на то причин! Потом она вдруг разом переменяла тон — настроения у нее меняются мгновенно — и заговорила уже шутливо. Сидя перед зеркалом, покуда камеристка убирала ей волосы, она, мешая шутку с серьезным, упорно старалась втянуть меня в разговор, который я находил и неприятным и неуместным. Ей во что бы то ни стало хотелось, чтобы я высказался на эту тему. Я всячески уклонялся. Но она не отставала. Неужели у меня никогда не было никаких амуров? Я, нахмурясь, отрицал самым решительным образом. Она удивилась, никак не хотела поверить. И снова стала меня донимать. Наконец, чтобы прекратить дальнейшие разговоры, я сказал, что если бы когда и полюбил, так только мужчину.

Она обернулась, взглянула на меня и беззастенчиво расхохоталась, а вслед за ней и камеристка. — Мужчину! — воскликнула она насмешливо, будто в этом было что-то забавное. — Мужчину? Кого же именно? Уж не Боккароссу ли? — И обе они снова принялись хохотать, чуть не лопнули со смеху. Я покраснел, так как имел в виду как раз его. И когда они заметили, что я покраснел, они окончательно развеселились.

Я не понимал, что здесь смешного. Я смотрел на них ледяным, презрительным взглядом. Смеяться, по-моему, — уродство и безобразие. Мне невыразимо противно видеть, как рот у человека вдруг разевается, обнажая красные десны. И что я могу поделать, если Боккаросса вызывает во мне самое искреннее восхищение, чувство, не лишенное, возможно, и пылкости. В моих глазах он настоящий мужчина.

Особенно же меня взбесил хохот этой грязной служанки, к тому же гораздо более вульгарный, чем смех ее госпожи. Я могу еще примириться, если герцогиня со мной пошутит — хотя в любой момент мог бы обратиться шутку всерьез, мог бы так ответить на ее вопрос о любви, что она бы ужаснулась, открыть ей, что такое любовь *в действительности*. Но я могу еще, повторяю, с этим примириться, поскольку она все же моя госпожа и герцогского рода. Но чтобы всякая жалкая тварь вроде этой девки осмеливалась надо мной смеяться! Нет уж, увольте! Она всегда

вела себя со мной совершенно невоспитанно, пыталась важничать и острить и дразнила меня тем, что я не могу открыть некоторых дверей в замке. Ее-то какое дело! Наглая, неотесанная деревенщина, которую следовало бы высечь.

А Боккаросса... Что ж тут удивительного, если я им восхищаюсь. Я и сам воинственная натура.

Дни проходят в томительном ожидании, и не знаешь, чем себя занять.

Вчера меня послали в Санта Кроче с поручением к маэстро Бернардо. Он по обыкновению пропадает там, продолжая работать над своей Тайной Вечерей. Я не раз задавал себе вопрос, отчего он не был на войне и не поглядел на свои машины в действии, на собственное свое творение. Неужели ему довольно того, что он создал их. Я думал, ему захочется поглядеть на них в действии. И там он мог бы сколько угодно изучать трупы и добиться больших успехов в своей пауке.

Я застал его всецело погруженным в созерцание его возвышенного творения, настолько ото всего отрешенным, что он даже не заметил, как я вошел. Когда же он поднял на меня глаза, то взгляд у него был совершенно отсутствующий, будто он витал где-то совсем в другом месте. На мои доспехи он будто и внимания не обратил, хотя никогда прежде не видел меня в них. Наверное, он их все же заметил, однако не выказал ни удивления, ни особого интереса. Что тебе от меня надо, малыш, сказал он, глядя на меня вполне дружелюбно. Я изложил свое поручение, хотя и разозлился, что он меня так назвал. И тут же повернулся и ушел, задерживаться мне было ни к чему. Я только взглянул мельком на его шедевр, и мне показалось, что до конца так же далеко, как и в прошлый раз. Он никогда ничего не доводит до конца. Над чем он, собственно, так ужасно долго раздумывает?

Он ничего не спросил про войну, хотя и мог бы догадаться, что я прямо оттуда. У меня сложилось впечатление, что ему это совершенно безразлично.

Синьория отказалась ссудить нас деньгами! Посланный от них заявил, чтоб никакого займа больше не ждали. Непостижимо! Совершенно непонятно. Они считают, что война велась плохо. Плохо! Какая наглость! *Плохо!* Когда мы только и делали, что побеждали! Мы проникли в самую глубь вражеской страны, дошли до самой их столицы и стоим теперь у ее стен в твердом намерении взять ее, пожать плоды своих замечательных побед. И чтобы в такой момент нам помешали! Когда город только и ждет, чтобы его захватили, разорили, сожгли, стерли с лица земли. Это возмутительно! Просто не верится. Чтоб какие-то грязные

торгаши помешали нам одержать окончательную победу! И только потому, что не могут расстаться со своими несчастными монетами! Нет! Не может того быть! Это было бы верхом бесстыдства!

Герцог должен найти выход. И найдет, разумеется. Разве могут какие-то пошлые деньги помешать столь великой и славной войне. Это исключено.

В замке проходу нет от вестовых, чужеземных послов, советников и полководцев. Гонцы так и снуют туда-обратно.

Я просто с ума схожу от волнения.

Наемники Боккароссы отказываются дальше сражаться! Они требуют, чтоб им немедленно заплатили все целиком, сколько было условлено, а впредь чтоб платили вдвое больше. Покуда свое не получают, они пальцем не шевельнут. Герцог денег достать не может и пытается соблазнить их обещаниями, что, если только город будет взят, он отдаст им его на полное разграбление, а добыча там ждет неслыханно богатая. Они отвечают, что еще неизвестно, будет ли город взят, до сих пор с ним такого не случалось. И кроме того, надо еще разгромить армию Торо и вести потом длительную осаду, а они не любят осад, им это скучно. Покуда торчишь в осаде, нет никакой возможности пограбить. У них и так большие потери, большие, чем они могли себе представить. Им это вовсе не нравится. Им нравится убивать, но вовсе не нравится умирать самим, так, мол, и передайте, и уж, во всяком случае, не за такую жалкую плату. Их манера выражаться отнюдь не отличается дипломатической изысканностью.

Что теперь будет? К чему все это приведет?

Впрочем, герцог наверняка отыщет какое-нибудь решение. Он дьявольски изобретателен. Он любит препятствия, тут-то и проявляется в полную силу его гений. И ведь наша непобедимая доселе армия как стояла, так и стоит у самых стен столицы Монтанца. Не будем про это забывать!

Война окончена! Войска отведут назад, через границу, и всему конец. Конец!

Я, должно быть, сплю! Должно быть, это сон, жуткий кошмар. Не может это быть явью. Сейчас, должно быть, проснусь, и пойму, что это был только сон, страшный, отвратительный сон.

Но нет, это правда. *Правда!* Горькая, непостижимая истина. В отчаянии хватаешься за голову, отказываясь что-либо понимать.

Жадность, бесчестность, предательство, вся человеческая низость, вместе взятая, одолели нашу героическую армию, вырвав у нее из рук оружие. Наши увенчанные славой, не выдавшие ни единого поражения войска, грозной силой стоящие сейчас у врат неприятеля, должны покорно отступить, обманутые, преданные,

всеми покинутые, должны вернуться домой, когда они жаждут победить или умереть. Какое преступление, какая трагедия!

Наша великая война, славнейшая в истории страны, — и такой конец!

Я словно парализован гневом и болью. Никогда в жизни не был я так возмущен, не испытывал такого стыда. Все существо мое протестует, ожесточенно и яростно. И в то же время я словно парализован, я чувствую свое полнейшее бессилие. Каким образом мог бы я приостановить этот мрачный спектакль? Я ничего не могу поделать. Ничего.

Это конец. Все кончено. *Конец.*

Когда я об этом услышал и когда постиг, наконец, смысл услышанного, я убежал потихоньку от них ото всех, убежал наверх в свои покои, чтобы остаться одному. Я боялся, что мои чувства окажутся сильнее меня, боялся, что не сумею с ними совладать, как подобает мужчине. И, едва войдя в свою каморку, я безудержно разрыдался. Я этого не скрываю. Я не в силах был больше сдерживаться. В безумной ярости я прижимал кулаки к глазам и рыдал. *Рыдал.*

Герцог не покидает своих покоев и никого у себя не принимает. И обедает он там же, в полном одиночестве. Я прислуживаю ему за столом, и, кроме меня да еще слуги, приносящего кушанье, никто его не видит. Наружно он совершенно спокоен. Но что скрывается за этой бледной маской — трудно сказать. Лицо его, в обрамлении черной бороды, бело как мел, а глаза смотрят неподвижным, невидящим взглядом. Едва ли он замечает мое присутствие, и ни единого слова не сорвется никогда с этих тонких, бескровных губ. Бедняга-слуга страшно его боится. Но он просто трус.

Когда пришло известие об отказе Венеции, о том, что эта проклятая торгашья республика вздумала помешать ему воевать, с ним случился приступ ярости. Я никогда его таким не видел. Он весь клокотал яростью, на него страшно было смотреть. Не помня себя, он выхватил из ножен кинжал и вонзил его в стол чуть не по самую рукоятку. Если бы жалкие торгаши видели его в тот момент, они, я уверен, тут же выложили бы деньги на стол.

Говорят, он больше всего досадует, что так и не пришлось настоящему использовать гениальные изобретения мессэра Бернардо. Как раз сейчас они бы очень емугодились. Он уверен, что с их помощью мы непременно взяли бы город и что победа, можно сказать, была у нас в руках. Так за чем же тогда дело стало?

Я с удовольствием наблюдал, как он бесновался. Ярость его была прекрасна. Но потом я подумал, что, возможно, не такой уж он сильный человек. Почему он так зависим от других? И даже от

каких-то пошлых денег. Отчего он не бросил против города нашу собственную непобедимую армию и не стер его в порошок? К чему же тогда армии?

Я просто спрашиваю. Я не полководец и, очень может быть, вовсе не разбираюсь в военном искусстве. Но и моя душа болит и мучается, силясь понять постигшую нас судьбу.

Я снял с себя доспехи. С горьким чувством я повесил их на стенке в покоях для карликов. Так они там и висят, жалкие и бессильные, как тряпичная кукла на веревочке. Опозоренные. Обесчещенные.

Скоро уж четыре недели, как у нас мир. Настроение мрачное — в замке, в городе, по всей стране. Удивительно, как распространяется во время более или менее длительного мира всеобщее недовольство и уныние, вот и сейчас начинается то же самое, атмосфера понемногу сгущается, приобретает ту затхлую пресность, которая нагоняет на человека тоску. Возвратившиеся домой солдаты ходят недовольные, все не по ним, а те, кто отсиживался дома, язвят и подтрунивают над ними, из-за того, очевидно, что война не принесла желанных результатов. Будничная жизнь вяло и скучно течет по давно проложенному руслу, без радостей и без целей впереди. Все воодушевление, вся бодрость, что принесла с собой война, исчезли бесследно.

При дворе жизнь точно вымерла. Никто почти не входит, не выходит через парадные двери, кроме нас же самих, но мы по большей части пользуемся другими входами. Докладывать не о ком, угощать некого. Парадные залы пустуют, да и сами придворные прячутся по углам и не кажут носа. В замковых переходах не встретишь ни души, а на лестницах услышишь разве лишь эхо собственных шагов. Даже жутко делается, будто попал в царство привидений. А во внутренних отдаленных покоях все ходит из угла в угол герцог или сидит в раздумье за столом, где открытой раной зияет проделанное его кинжалом отверстие. Мрачно и грозно смотрит он в одну точку, что-то замышляя, а что — неизвестно.

Печальное, тоскливое время. День едва-едва тащится, и никак не дождешься вечера. Досуга у меня хоть отбавляй, я могу сколько угодно заниматься описанием своей жизни и своих мыслей, но желания у меня нет ни малейшего. Чаще всего я просто сижу у окна и смотрю, как под стеной замка, извиваясь грязно-желтой ящерицей, лениво течет река, слизывая со стены зелень.

Река, бывшая свидетельницей нашей блестящей победы на земле Торо!

Нет, это совершенно неслыханно! Это самое возмутительное из всего, что произошло за последнее ужасное время! Почва уходит у меня из-под ног — неужели в этом мире нет ничего достойного веры!

Возможно ли вообразить — герцог считает, что он и дом Монтанца должны примириться и заключить договор о том, чтобы никогда больше не воевать друг против друга! Они должны прекратить эти вечные войны и торжественно обязаться раз и навсегда с ними покончить. Никогда больше не поднимать друг на друга оружие! Торо будто бы сперва не соглашался, обозленный, видимо, последним нападением. Однако герцог все более горячо настаивал на своем предложении. Зачем нашим народам истреблять друг друга, к чему эти бессмысленные войны! Они длятся с небольшими перерывами вот уже несколько столетий, не принося никому окончательной победы, обе стороны терпят от них один лишь ущерб. Сколько бедствий они нам причинили. Насколько лучше было бы жить в мире и согласии, чтобы страны наши могли процветать и благоденствовать, как тому, собственно, и следует быть! Постепенно Лодовико начал будто бы прислушиваться к тому, что толковал ему герцог в своих посланиях, и нашел его доводы более или менее разумными. И теперь вот ответил, что согласен на его предложение и принимает приглашение прибыть на переговоры по поводу этого самого вечного мира и подписания этого самого торжественного договора.

Все, видно, сошли с ума!

Вечный мир! Никаких войн! Какой вздор, какое ребячество. Неужели они воображают, что в силах изменить существующий миропорядок. Какое самомнение! И какая измена прошлому, всем великим традициям! Никаких войн! Так что же — выходит, и кровь никогда уже не прольется, и честь и геройство не будут больше в почете? И никогда уже не прозвучат фанфары, и конница не ринется в атаку с пиками наперевес, и враги не сойдутся в схватке, погибая смертью храбрых на поле брани? И не будет уже ничего, что способно было бы умерить безграничную гордыню рода человеческого? Не взмахнет уже своим широким мечом никакой Боккаросса, рябой и жестокоротый, напоминая жалкому племени, кто и что правит им? И рухнут самые основы жизни?!

Примирение! Можно ли вообразить что-либо более постыдное! Примирение с заклятым врагом! Какое кощунство, какое отвратительное извращение законов естества! И какое унижение, какое оскорбление для нас! Для нашей армии, для наших мертвецов! Какое надругательство над нашими павшими героями, которые, выходит, напрасно принесли себя в жертву. Меня просто переворачивает от подобной гнусности.

Так вот о чем он размышлял. Я все думал, что бы это могло быть — так вот оно что! И настроение у него теперь заметно улучшилось, он снова заговорил и снова, кажется, бодр и доволен собой. Он, видимо, воображает, что придумал что-то необыкновенно умное, напал на исключительно «великую» идею.

Нет слов, чтобы выразить мое безграничное презрение. Моей

вере в герцога, в повелителя, нанесен удар, от которого ей уже не оправиться! Он пал так низко, как только может пасть герцог. Вечный мир! Вечное перемирие! На веки вечные никаких войн! Все только мир и мир! Поистине нелегко быть карликом такого господина.

В замке из-за этого idiotского события все вверх дном. На каждом шагу спотыкаешься о лоханки и тряпки, повсюду кучи мусора, и когда его вытряхивают в окна, пыль стоит такая, что першит в горле. С чердаков нанесли старинных гобеленов, расстелили их повсюду и топчут ногами глупейшие любовные сцены, которые повесят потом на стенки, чтоб украсить этот позорный «праздник мира и согласия». Покои для гостей, годами пустовавшие, спешно приводятся в порядок, и слуги носятся взад-вперед как угорелые, не чуя под собой ног. Все злые, все замученные и проклинают в душе вздорную затею герцога. Палаццо Джеральди тоже чистят и моют, там будет, видимо, расквартирован эскорт Лодовико. Боккаросса и его наемники оставили, говорят, после себя настоящий свиарник. Кладовые набиваются съестными припасами — сотни быков, телят, бараньих туш, которые по распоряжению главного дворецкого поставляются в замок бедным людям, а также овес и горы пшеницы на корм лошадям; крестьяне тоже, конечно, злы, по всей стране недовольство. Думаю, если бы только могли, они взбунтовались бы против герцога из-за этого его дурацкого «праздника мира». Забивают скотину, ловят и стреляют фазанов и зайцев, охотятся в горах на кабанов. Придворные егери несут на поварню перепелов, куропаток и серых цапель, слуги режут голубей, выискивают на птичниках каплунов пожирнее, отбирают павлинов для большого парадного пира, который должен состояться в один из дней. Портные шьют роскошное платье для герцога и герцогини из дорогих венецианских тканей — на *это* кредит имеется, не то что на войну! — а также для всей городской знати, без конца примеряют, бегают взад-вперед. Перед замком и дальше по всей улице сооружаются триумфальные арки, под которыми должен проехать Лодовико со свитой. Повсюду устанавливаются балдахины, служанки выбивают ковры и всякую мишуру, которая будет вывешена в окнах. Музыканты упражняются с утра до вечера, так что голова раскалывается, а придворные поэты сочиняют какую-то чушь, которую комедианты будут разыгрывать в большом тронном зале. Все только и делают, что готовятся к этому idiotскому празднику! Только о том и говорят, только тем и заняты их мысли. Весь двор кипит, как котел, и ни одного спокойного уголка не найдешь — шагу нельзя ступить, чтобы с кем-то не столкнуться или обо что-то не споткнуться, бегогна и суета неописуемые.

Я просто лопнуть готов от злости.

Неприятель торжественно вступил в нашу столицу, которая разукрасилась и разрядилась в его честь, как с ней ни разу не бывало. Предшествуемый тридцатью трубачами и флейтистами на конях, окруженный всадниками-телохранителями в зеленых и черных одеждах и с бердышами в руках, Лодовико Монтанца проскакал рядом со своим молокососом-сыном Джованни Монтанца по улицам, а за ним — рыцари и вельможи, и две сотни арбалетчиков в арьергарде. Он скакал на вороном жеребце под темно-зеленым бархатным, расшитым серебром чепраком, сам в серебряных доспехах, и встречен был «народным ликованием» — народ всегда ликует, если ему прикажут, а по какому поводу, ему неважно. Нынче, например, они воображают себя счастливыми от того, что мир пребудет вовеки. Три герольда, высланные герцогом навстречу, возвестили о прибытии Лодовико и о причине сего визита, и во всех церквях города ударили в колокола. Великолепная увертюра к нашему позору. Дан был даже салют из водруженных на насыпи бомбард, направленных дулами в небо, — следовало бы, по-моему, направить их на процессию, да ударить посильнее. Лошадь под сыном Монтанца испугалась салюта, а может, и чего другого, и на какой-то момент показалось, что ему не удержаться в седле, но он быстро справился с шарахнувшимся животным и поскакал дальше, красный до ушей. Он выглядит совсем ребенком, ему, должно быть, не больше семнадцати. Хотя все обошлось, кругом тут же принялись гадать, уж не дурной ли это знак. Они вечно выискивают при «торжественных случаях» всякие знаки и предзнаменования, и где же им еще было пустить в ход свою проницательность.

У ворот замка Лодовико спешился и приветствуем был в напыщенных, высокопарных выражениях герцогом. Он оказался приземистым толстяком с упитанными щеками, до того полнокровными, что они у него сплошь в красных прожилках, и с короткой бычьей шеей. Борода у него растет только по краям подбородка, да и то реденькая, и отнюдь не украшает его и без того не слишком красивую физиономию. Острые серые глаза притворяются приветливыми, но этому не следует доверять, всем ведь известно, что он за плут. Он производит впечатление человека горячего и кажется, будто его в любую минуту может хватить удар.

День прошел в церемониях приема, трапезах и переговорах касательно соглашения между двумя нашими государствами, обсуждениях не знаю уж какого там его содержания, а также самого по себе текста. Вечером разыгрывалось ужасно скучное представление на латыни, из которого я не понял ни слова, да и прочие, насколько мне известно, тоже. Зато потом стали представлять на обычном языке неприличную комедию, которую все поняли уже намного лучше. И очевидно, смаковали втихомолку грубые шуточки и всякие мерзости.

Мне она показалась тошнотворной.

На сегодняшний день наконец-то все, и я сижу, наконец, в своей каморке и радуюсь одиночеству. Что может быть приятнее! Хорошо, что потолки в покоях для карликов такие низкие, а то еще и сюда поселили бы гостей. Это было бы ужасно.

Герцогский сынок должен, конечно, представляться людям красавцем; если он действительно красавец, то, значит, не в отца. Когда он скакал рядом с тем на своем жеребце под голубым бархатным чепраком и сам в наряде того же цвета, все кругом называли его красавцем. Возможно. На мой лично взгляд, он слишком изнежен и немужествен — эти его оленьи глаза, узкая черная бородка и девичья кожа, краснеющая по всякому пустяку. Возможно, это недостаток моего именно восприятия, но я терпеть не могу такой внешности. По-моему, мужчина должен выглядеть мужчиной. Говорят, он похож на свою мать, прекрасную и прославленную Беатриче, которая якобы была очень красива и, хоть умерла всего десять лет назад, попала, говорят, уже в рай.

После полудня я видел, как он прогуливался с Анжеликой по розарию. А позже я видел, как они гуляли у реки и кормили крошками лебедей. В обоих случаях они, как я заметил, о чем-то друг с другом разговаривали. Не понимаю, о чем он может говорить с этим ребенком, совсем глупеньким. Он, должно быть, даже не замечает, как она некрасива, иначе, наверно, избегал бы ее общества. Быть может, он и сам примитивен.

Дон Рикардо, разумеется, тут как тут, участвует во всех церемониях, высказывает, как обычно, вперед при каждом удобном случае. Раны его уже зажили. Хотя что я говорю? Какие раны? По нему ничего и не заметно, кроме того, что одна рука немного хуже двигается. Вот вам и все геройство.

Уже третий день, как неприятель у нас в городе. Празднества в его честь следуют одно за другим, и нет ни минуты покоя. Я слишком устал вчера к вечеру, чтобы что-то записывать, и вот сейчас, уже утром, тороплюсь набросать несколько строк о том, как прошел день и какие у меня были впечатления. Оба герцога выехали еще до рассвета из замка и посвятили несколько часов соколиной охоте в лугах, что к западу от города. Лодовико очень интересуется такого рода охотой, а наш герцог держит превосходных соколов, среди них несколько очень редких, полученных им в дар от короля Франции, и ему не терпелось показать их искусство. После того сидели, без конца ели, а потом был концерт, который пришлось слушать, хотя, по-моему, нет ничего на свете хуже музыки, а потом выступали жонглеры, от которых все пришли в восторг, и это было единственное, на что стоило посмотреть. Сразу же вслед за тем снова начали есть и ели до поздней ночи, и тут была разыграна пантомима, в которой и мужчины и женщины одеты были в такое облегающее платье, что казались чуть

ли не голыми. Большинство к этому моменту были пьяны, как свиньи. Программа дня была исчерпана, и я смог пойти спать и заснул как убитый.

Герцог все это время в приподнятом настроении, любезен и очарователен, как никогда. Похоже, он не знает, как угодить своим «гостям» и до того перед ними лебезит, что тошно делается. Я смотреть на него не могу без отвращения. Можно подумать, они с Торо закадычнейшие на свете друзья. По крайней мере, он. Уж такой преданный друг, что дальше вроде бы некуда. Лодовико вел себя вначале несколько сдержанно и был как будто чуточку настороже, но постепенно это прошло. Да и явился-то он сюда с телохранителями и не одной сотней солдат. Кажется, к чему бы столько воинов, когда едешь заключать вечный мир. Но так оно, без сомнения, и положено в подобных случаях. И герцог, без сомнения, не может явиться к чужому двору без подобающей свиты. Да я и сам прекрасно знаю, что таков обычай. Тем не менее я видеть их спокойно не могу, всех этих врагов, просто ужасно — смотреть на них и пальцем не иметь права шевельнуть.

Поведение моего господина совершеннейшая для меня загадка — как он может так позорно себя вести по отношению к нашим заклятым врагам? Я ничего не понимаю. Впрочем, оно и не ново — мне не суждено понять этого человека. Да я и пытаться больше не намерен, хочу только еще раз повторить то, что уже говорил: мое презрение к нему поистине не знает границ.

Джованни и Анжелику я снова видел вчера вместе, и не раз. Им, верно, скучно. Уже под вечер я видел их сидящими у реки, но на этот раз они не кормили лебедей и не разговаривали, а просто сидели молча рядом и глядели на воду. Им, верно, не о чем больше говорить.

Что еще стоит отметить? Пожалуй, больше ничего. Сегодня соглашение о вечном мире будет подписано, и после этого устроен будет парадный пир, который вместе со всякими затеями продлится, пожалуй, всю ночь. Настроение у меня ужасное, и все мне на свете противно.

Герцог доверил мне столь почетное дело, что голова кружится! Я не могу сказать, что именно, ни полслова. Это наша с ним тайна. Я не понимал до сих пор, насколько мы близки.

Я бесконечно счастлив. Это единственное, в чем я могу признаться.

Сегодня в шесть часов вечера начнется большой парадный пир. Это главное из всех празднеств, и к нему столько всего придумано замечательного, что удастся он, без сомнения, на славу. Я жду его не дождусь.

Герцог великий человек!

Я расскажу сейчас, как прошел последний день, и, главное, про пир, которым завершились празднества в честь соглашения между нашим герцогским домом и домом Монтанца, а также про некоторые связанные с ним события.

Итак, сначала мы собрались в тронном зале, где зачитано было соглашение между двумя нашими государствами о нерушимом мире. Оно было составлено в поистине прекрасных и возвышенных выражениях и затрагивало, в частности, вопросы об упразднении пограничных крепостных сооружений и свободной торговле между нашими народами и о том, что следует предпринять для облегчения торгового обмена. Затем последовала церемония подписания. Оба герцога в сопровождении самых знатных приближенных подошли к столу и начертали свои имена на двух разложенных там больших листах бумаги. Все происходило очень торжественно. И тотчас грянули фанфары; шестьдесят трубачей были расставлены вдоль стен на расстоянии трех шагов один от другого и одеты через одного в цвета нашего герцога и Монтанца. Затем под звуки специально по такому случаю сочиненной торжественной музыки вся процессия во главе с церемониймейстером двинулась в трапезную. Огромная зала утопала в свете пятидесяти серебряных канделябров и двухсот факелов, которые держали лакеи в расшитых золотом ливреях, но, помимо лакеев, еще и подобранные с улицы мальчишки, в жалких лохмотьях, с грязными босыми ногами — от них, если подойти поближе, довольно скверно пахло. Было накрыто пять столов во всю длину залы, которые в прямом смысле слова ломились под тяжестью столовой посуды из серебра и майолики, разноцветных гор закусок и фруктов и колоссальных, выпеченных из сладкого теста фигур, изображавших, как мне сказали, сцены из греческой мифологии — какая-то языческая религия, с которой я плохо знаком. Посередине главного стола все было из золота: канделябры, вазы для фруктов, тарелки, кувшины для вина, кубки, и там сели оба герцога и члены герцогских фамилий, а также самые знатные приближенные. Герцог сидел прямо напротив Торо, а по правую руку от него сидела герцогиня в пунцовом платье с разрезными, осыпанными драгоценными камнями рукавами из белого дамаста и золотым шитьем на жирной груди. На голове у нее была унизанная брильянтами серебряная, сетка, которая скрашивала ее безобразные коричневые волосы, и, поскольку она, безусловно, не один час белилась и румянилась, яснее обычного было видно, что это слишком мягкое и полное лицо когда-то, верно, было очень красиво. Она улыбалась своей обычной улыбкой. На герцоге был облегающий черный бархатный костюм, совсем простой, с прорезями в рукавах, из которых выбивался пышный желтый шелк. Он был строг и похож на юношу, гибок как клинок. Держался он немного замкнуто, но был, как видно, в духе, поскольку беспрестанно поглаживал по хорошо знакомой мне привычке свою ко-

роткую черную бородку. И я вдруг почувствовал, как безгранично я ему предан. На Торо была короткая, широкая накидка из превосходной темно-зеленой ткани, отделанная соболем, а под ней ярко-красный костюм, украшенный свисавшими на грудь массивными золотыми цепями. В этом наряде он выглядел еще шире и приземистее, а из коричневого собольего меха особенно упрямо торчала его багровая бычья шея. Лицо его так и светилось сердечностью и дружелюбием, но человеческие лица мало что значат, человека выдает тело.

Дон Рикардо тоже, разумеется, занимал место поблизости, и одно из самых почетных, хотя ему полагалось бы сидеть где-нибудь подальше, совсем за другим столом. Но он вечно лезет вперед, и герцог, разумеется, не может без него обойтись — так же, как и герцогиня. Он тотчас принялся болтать и надоедать всем, с самодовольным видом крутя между пальцами свою черную кудрявую бороду. Я смотрел на него ледяным взглядом, об истинном смысле которого никто даже и не догадывался. Впрочем, пока помолчу.

Как бы сами по себе — хотя места их, разумеется, были в общем ряду, — сидели друг подле друга Джованни и Анжелика. Поскольку они почти одного возраста, вполне естественно, что их и посадили рядом. К тому же оба они герцогского рода; он, по крайней мере. Она-то, очень возможно, и ублюдок. Они были самые юные среди гостей и выглядели скорее детьми, чем взрослыми, и поэтому, как я сказал, были здесь как бы сами по себе. Казалось, они очутились здесь просто по недоразумению. Для бедняги Анжелики это был первый выход в большой свет, и ее вырядили в белое шелковое платье с длинными узкими рукавами из золотой парчи, а на голове поверх совсем светлых волос у нее была надета расшитая жемчугом и золотом шапочка. Выглядела она, само собой, ужасно. А тому, кто привык ее видеть не иначе как в простом, чуть ли не нищенском платье, она казалась в этом наряде особенно уморительной. Рот был, как всегда, полуткрыт, и младенческие щеки пылали смущением. Ее большие голубые глаза восхищенно сияли, словно она невесть какое диво увидела. Впрочем, и Джованни, кажется, смущался, очутившись среди всех этих знатных людей, и время от времени бросал на них робкие взгляды. Но он, как видно, все же более привычен к обществу, робость скорее у него в натуре. На нем был голубой бархатный наряд с золотым шитьем по воротнику, а на тонкой цепочке висел овальный золотой медальон, в котором, говорят, портрет его матери, той самой, что, по всеобщему утверждению, пребывает в раю — откуда им про это знать, она, быть может, преспокойно жарится в аду. Он, я полагаю, должен был представляться гостям красавцем, я слышал, они об этом перешептывались, однако, услышав про «красивую пару», я понял, что представления о красоте у них довольно странные. В общем, он не в моем вкусе.

По-моему, мужчина должен выглядеть мужчиной. Трудно представить себе, что он герцогский сын и из рода Монтанца. Как он будет управлять народом и восседать на троне? По-моему, ничего у него не выйдет.

Эти дети не принимали участия в разговоре, и любое внимание их тяготило. Они, собственно, и друг с другом не очень разговаривали, но я заметил, что они все время как-то странно поглядывали друг на друга и, встречаясь взглядами, тайком улыбались. Мне странно было видеть, как эта девица улыбается; насколько я помню, я ни разу не видел ее улыбающейся с тех самых пор, как она вышла из младенческого возраста. Правда, улыбалась она как-то неуверенно, словно пробуя. Возможно, понимала, что улыбка у нее некрасивая. Впрочем, человеческая улыбка всегда, по-моему, некрасива.

Чем дольше я за ними наблюдал, тем сильнее недоумевал, что это, собственно, с ними творится. Они едва прикасались к кушаньям, а то и просто сидели, уставившись каждый в свою тарелку. При этом, я заметил, руки их под столом тайком встречались. Если в это время кто-нибудь из окружающих, перемигнувшись с соседом, принимался их разглядывать, они страшно смущались, краснели и начинали преувеличенно оживленно болтать. В конце концов я понял, что между ними совершенно особенные отношения — любовь. Это открытие ужасно подействовало на меня. Я и сам толком не понимаю, отчего это меня так возмутило. Отчего мне стало так ужасно противно.

Любовь всегда отвратительна. Но любовь между этими двумя, выглядевшими совсем невинными детьми, вызвала во мне неиспытанное доселе омерзение. Меня даже в жар кинуло, настолько я был взбешен и возмущен, что приходится быть свидетелем подобного безобразия.

Впрочем, довольно пока. Я слишком отвлекся на этих малюток, отнюдь не самых важных особ на торжественной трапезе. Продолжу ее описание.

После того как гости запаслись холодными закусками, которые, как я говорил, в изобилии имелись на столе, в открытых дверях появился гофмаршал верхом на белой кобыле под пурпурным седлом и зычным голосом провозгласил названия первых двенадцати блюд, которые тотчас же и были внесены бесчисленными камерьере и стольниками. И два трубача, державшие под уздцы лошадь, дружно затрубили. Дымящиеся блюда распространяли запах мяса, приправ и жира, и меня при моем вообще отращении к запахам съестного чуть не стошнило. Старший стольник с обычным своим идиотски важным видом, выгнув по-петушиному шею, приблизился к герцогскому столу и принялся резать жаркое, уток и каплунов, при этом с пальцев левой руки, которой он придерживал кушанья, у него капал жир, а ножом он орудовал, точно знаменитый фехтовальщик, демонстрирующий свое

смертельно опасное искусство. Гости поглощали кушанья, и я почувствовал, как мне делается противно; во мне росло то неясное чувство брезгливости, которое всегда меня охватывает при виде жующих людей, особенно таких вот прожорливых. Чтобы запихнуть кусок побольше, они отвратительным образом разевали рты, и челюсти у них работали безостановочно, в глубине же виднелся шевелившийся язык. Среди сидевших за герцогским столом противнее всего было смотреть на Торо, он ел по-хамски, поглощая кусок за куском с чудовишной прожорливостью. И язык у него был мерзкий, ярко-красный, широкий, как у быка. Герцог, напротив, ел без жадности. Он съел в этот вечер даже меньше обычного, а пить почти не пил. Один раз я заметил, как он поднял бокал и задумался, глядя на зеленоватое стекло, точно рассматривал через него мир. Прочие пили страшно много. Слуги без усталости сновали взад-вперед, подливая в бокалы и кубки.

На огромных майоликовых блюдах внесли раззолоченных осетров, карпов и щук, которыми все долго восторгались, так искусно они были приготовлены, потом колоссальные блюда заливного, до того изукрашенного причудливым восковым орнаментом, что и не разобрать было, что это, собственно, такое, затем паштеты в форме оленьих и кабаньих голов, зажаренных целиком молочных поросят, тоже позолоченных, подслащенных и политых благовониями кур и разные прочие пахучие кушанья, приготовленные из перепелов, фазанов и цапель. И, наконец, наряженные егерями пажы внесли сплошь позолоченного дикого кабана, из разинутой пасти которого вырывались языки пламени, так как туда было заложено какое-то горючее вещество, отвратительно вонявшее. Тут выскочили переодетые нимфами девицы — скорее голые, чем одетые, — и стали посыпать пол ароматическими порошками, от чего сделалось только хуже, и в воздухе распространился удушливый чад. Я просто задыхался.

Торо жадно набросился на кабанье жаркое, словно ничего до того не ел. Все прочие тоже положили себе по огромной порции темно-красного мяса, которое, хоть оно и сочилось кровью, считалось у них за лакомство. Я с отвращением наблюдал, как они снова принялись двигать челюстями, пачкая губы и бороды жирным мясным соком, я словно присутствовал на каком-то непотребном действе, и, поскольку я обычно избегаю есть вместе со всеми и довольствуюсь лишь самой необходимой пищей, мне все противней делалось глядеть на этих багрово-красных, раздувшихся от еды и питья, слишком больших людей, состоявших, казалось, из одних желудков. И невыносимо было смотреть, как старший стольник вспарывал кабана, вырезая изнутри кровавые куски, пока, наконец, не остался один скелет с висящими на нем лохмотьями мяса.

Дон Рикардо, который ел левой рукой с помощью слуги, специально приставленного нарезать ему мясо, отправлял себе в рот

кусок за куском, запивая их огромным количеством вина. Лицо его представляло собой одну сплошную глупую улыбку, и здоровой рукой он беспрестанно подносил ко рту кубок. На нем было бархатное платье глубокого красного цвета, который должен был, видимо, обозначать страсть, он всегда одевается в честь дамы своего сердца. Взгляд его был горячее, пламеннее обычного, и он вдруг ни с того ни с сего взмахивал рукой и начинал декламировать какие-нибудь вздорные стишки, обращаясь к любому, кто только желал его слушать — кроме герцогини. Напыщенные слова о любви к женщине и о любви к этой жизни изливались из него таким же потоком, каким вливалось в его глотку вино. Глаза герцогини вспыхивали, когда он изредка взглядывал на нее, и она дарила его своей загадочной улыбкой, хотя все остальное время сидела с полутсутствующим видом, как обычно на праздниках. Кроме того, они иногда украдкой подолгу смотрели друг на друга, когда думали, что никто их не видит, и тогда у нее в глазах появлялся влажный, почти болезненный блеск. Я-то все видел. Я ни на минуту не выпускал их из виду — хоть они и не подозревали о том. Не подозревали они и о том, что таилось в глубинах моей души. Кто может про это знать? Кто может знать, что за неведомое зелье приготавливаю я, карлик, в тайниках моей души, куда никогда никому не проникнуть? Кто знает что-нибудь о душе карлика, в сокровенных глубинах которой решается их судьба? Никто и не подозревает, что я собой представляю. Их счастье, что не подозревают. Если бы узнали, они бы ужаснулись. Если бы узнали, улыбка поблекла бы у них на губах, и губы увяли бы и ссохлись на веки веков. И все вино в мире не способно было бы снова увлажнить их и окрасить.

Способно ли будет какое-нибудь вино в мире снова увлажнить их? Будут ли они когда-нибудь снова улыбаться?

Я смотрел также на дамиджеллу герцогини Фьяметту, которая сидела хоть и не за герцогским столом, но на хорошем в общем-то месте, на лучшем, чем имела право по своему положению. При дворе она появилась недавно, и до сих пор я не обращал на нее особого внимания, теперь мне это кажется необъяснимым. Она ведь очень приметно красива, рослая и прямая, юная и в то же время зрелая, вполне созревшая для этого мира. У нее смуглое, очень гордое и жесткое лицо с правильными чертами и угольно-черные глаза, в самой глубине которых светится лишь одна-единственная искорка. Я заметил, как герцог бросал на нее время от времени беспокойные взгляды, словно хотел выпытать у этого неподвижного лица ее мысли или, может, ее настроение. Она на него совсем не смотрела.

Но вот в зале погасили почти все свечи, и неизвестно откуда зазвучала быстрая музыка. В темноту стремительно ворвались двенадцать мавританских танцовщиц с зажженными факелами в зубах и начали бешеный танец. Все смотрели затаив дыхание.

Они то крутились вихрем в огненных ореолах, окружавших их черные головы, то перебрасывались факелами, то швыряли их высоко в воздух и ловили потом сверкающими хищными зубами. Они играли с пламенем, точно с опасным врагом, и все зачарованно и испуганно смотрели на эту дикую игру и на все их диковинное, зловещее обличье. Они крутились в основном около того места, где сидели герцоги, и когда швыряли факелы, искры вихрем летали над столом. В момент, когда они готовились поймав зубами факел, их черные лица искажались жуткими гримасами, словно то были злые духи, которые вырвались из преисподней, прихватив оттуда адский огонь. А почему бы и нет? Кто сказал, что они не там зажгли свои факелы? Кто сказал, что они не обмакнули их в адскую купель? Я стоял, укрытый мраком, который делал невидимым мое древнее лицо карлика, и смотрел на этих духов и на их диковинный, зловещий танец, перенятый, казалось, у самого дьявола.

И словно в подтверждение своей дьявольской сущности и в напоминание о царстве мертвых, ожидающем всех живых, они перевернули под конец факелы вниз, быстро погасили их об пол и исчезли, будто сквозь землю провалились.

До того как снова зажгли свечи, я успел различить своими глазами карлика, которые видят в темноте зорче человеческих, что иные из гостей судорожно сжимали рукоятку кинжала, словно готовые к любым неожиданностям.

С какой стати? Ведь то были всего-навсего танцовщицы, которых князь нанял в Венеции для развлечения гостей.

Как только огни в зале снова засияли полным светом, в дверях снова появился гофмаршал и зычно возвестил о «событии» вечера, удивительнейшем, изысканнейшем кушании, и тотчас со всех сторон стали стекаться к столам слуги — их было, верно, больше пятидесяти — они несли над головами огромные, отделанные драгоценными камнями серебряные блюда, на которых восседали, как на тронах, павлины, позолоченные, с распущенными хвостами, переливавшимися всеми цветами радуги. Их появление вызвало совершенно идиотский восторг, и недавний страх, и перевернутые факелы, напоминавшие о смерти, все улетучилось, словно и не бывало. Люди, как дети, одну игру тотчас забывают ради другой. Лишь ту игру, в которую я с ними играю, им не удастся забыть.

Потарашив глаза на диковинное кушанье, они накинулись на него с той же жадностью, как и на все прочее, что ставилось перед ними на стол. И пиршество началось заново по вине этих надменных птиц, которыми я всегда гнушался и которые напоминают мне людей — видно, поэтому люди ими так восхищаются, почитая за лакомство. Когда с павлинами было покончено, стали подавать другие кушанья, снова фазанов, каплунов, перепелок, уток, осетров, карпов и сочащееся кровью жаркое из диких живот-

ных, снова целые горы еды, которую они заглывали с такой алчностью, что я почувствовал самую настоящую тошноту. А затем горы пирогов, печений, конфет и всяких вонявших мускусом сладостей, пожирившихся с такой быстротой, точно гости весь вечер просидели голодные. А под конец они набросились на искусно выпеченные и прекраснейшие, по их собственным словам, фигуры богов из греческой мифологии, резали их на куски и запихивали в рот до тех пор, пока не остались одни крошки. Столы выглядели так, словно здесь было нашествие варваров. Я смотрел на это опустошение и на этих разгоряченных, потных людей с величайшим омерзением.

Тут выступил вперед церемониймейстер и попросил тишины. Он объявил, что сейчас будет представлена замечательнейшая сцена-аллегория, сочиненная по милостивому повелению герцога его придворными поэтами для развлечения и удовольствия высокочтимых гостей. Тощие, малокровные поэты, которые сидели в самом дальнем углу за самым бедным столом, наострили уши, эти примитивные существа с нетерпеливым самодовольством предвкушали исполнение своего хитроумного творения, которое, по причине глубокомысленного и иносказательного содержания, должно было составить украшение праздника.

На сооруженных у стены подмостках появился, сверкая доспехами, бог Марс и заявил, что он решил свести двух могучих воинов, Целефона и Каликста, в битве, которая прославится на весь мир и увековечит их имена, но прежде всего убедит людей в *его*, бога войны, всемогуществе и величии, пусть все увидят, как два благородных мужа склонились пред его волей, и, вступив в героическую схватку, пролили в его честь свою кровь. Доколе отвага и рыцарство пребудут на земле, они, эти неоценимые добродетели, станут служить *ему* и никому другому, сказал он и с этими словами удалился.

Тут на подмостки вышли оба воина и, едва завидев друг друга, тотчас схватились так, что искры полетели, и показали в этой довольно долго длившейся сцене такое искусство владения мечом, что те из гостей, кто знал в этом толк и мог по достоинству оценить битву, пришли в восторг. Я тоже должен признать, что дрались они совершенно замечательно и что я получил большое удовольствие от этой сцены. Они делали вид, что наносят друг другу ужаснейшие раны, от которых еле удерживаются на ногах, пока, наконец, обессиленные от потери крови и увечий, не повалились оба мертвыми на пол.

Тут опять выступил вперед бог войны и стал говорить в красивых выражениях про их славную битву, уготовившую им смерть героев, про свою неодолимую власть над людскими душами и про самого себя, могущественнейшего из всех богов Олимпа.

Потом он удалился. Послышалась вкрадчивая, тихая музыка, и через некоторое время на подмостки выплыла богиня Венера

в сопровождении своих девиц и увидела двух поверженных воинов, валявшихся в совершенно растерзанном виде и купавшихся, как она выразилась, в собственной крови. Девицы склонились над ними и стали причитать, что двое таких красивых, великолепных мужчин ни за что ни про что лишились своей мужской силы и испустили дух, а их повелительница, откуда они оплакивали горькую судьбу воинов, объясняла, что, без сомнения, это жестокий Марс их раззадорил и заставил кинуться в бессмысленную битву. Девицы с этим согласились, но не преминули ей вместе с тем напомнить, что Марс ее любовник, которого она, несмотря на всю свою небесную кротость, заключила в свои объятия. Но она заявила, что это низкая клевета, разве могла бы богиня любви полюбить это кровожадное, варварское божество, всем ненавистное и отвратительное, вплоть до собственного его отца, великого Юпитера. С этими словами она подошла и коснулась убитых своей волшебной палочкой, и они тут же вскочили, живые и невредимые, и протянули друг другу руки в знак вечного мира и дружбы, обещая никогда больше не поддаваться на соблазны жестокого Марса, который вовлек их в эту кровавую, смертельную битву.

Затем богиня произнесла длинную речь о любви, в которой восхваляла ее как самую могучую и самую кроткую из всех властвующих над нами сил, как источник жизни и начало всех начал, она долго говорила о благодатной власти любви, которая самой силе дарует нежность и которая диктует земным существам небесные законы и способна заставить склониться перед собой все живое, которая способна изменять и облагораживать грубое и низменное в людях, управлять поступками правителей и обычаями народов, и о человеческой любви и человеческом милосердии, которые начали свое триумфальное шествие по разоренному, оскверненному кровью миру, имея у себя в услужении благородство и рыцарственность и одаряя род человеческий иными добродетелями, нежели воинская честь и боевая слава. И, подняв вверх свою волшебную палочку, она возвестила, что именно Ее всемогущее божество завоюет грешную землю и обратит ее в обитель любви и вечного мира.

Будь у меня лицо, способное улыбаться, я непременно бы улыбнулся, услышав это наивное заключение. Чувствительные излияния богини встретили, однако, живой отклик у зрителей и многих взволновали и растрогали, заключительные же красивые словеса все слушали, можно сказать, затаив дыхание. Сочинители, которые породили на свет это творение, приписывали, видно, весь успех представления себе, хотя про них и думать забыли. Они, я уверен, рассматривали эту свою изобилующую намеками и красивыми словами аллегорию, как самое значительное из всего, что происходило на празднествах в честь заключения договора о вечном мире между нашим герцогским домом и домом Мон-

танца. Я же смею думать, что самым значительным было то, что последовало позже.

Мое место было, как обычно, за спиной моего господина и повелителя, поскольку, прекрасно изучив его, я могу угадывать его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и исполнять его приказания так, будто я часть его самого. Он сделал мне знак, никем, кроме меня, не замеченный, чтобы я налил Торо, его сыну и его приближенным того редкостного вина, которым я сам заведую и рецепт которого известен только мне. Я взял свой золотой кувшин и налил из него сначала Торо. Он давно сбросил отороченную мехом накидку, так как от всего выпитого ему сделалось жарко, и сидел в своем ярко-красном платье, низенький, мясистый и с совершенно багровым лицом от явного избытка крови в голове. Золотые цепи, которые обвивали его бычьего шеню, до того перепутались, что он выглядел в них как закованный. Воздух вокруг его напичканной снедью туши был отравлен газами, потом и винными парами, и находиться рядом с этим звероподобным существом было противно до тошноты. Есть ли на свете что-нибудь более мерзкое, нежели человек, подумал я, отходя, и стал наливать по очереди самым знатным его приближенным, тем, кто сидел за герцогским столом. Потом я наполнил золотой кубок Джованни, заметив при этом, что Анжелика уставилась на меня своими большими светло-голубыми глазами, такими же наивными и удивленными, как в тот раз, когда она, будучи еще ребенком, поняла по моему окаменевшему древнему лицу, что я не хочу с ней играть. При моем приближении она выпустила его руку, и я заметил, как она побледнела, опасаясь, видно; не проник ли я в их постыдную тайну. И она не ошиблась. Мне гадко было наблюдать за их сближением, тем более преступным, что они принадлежат к двум враждующим родам и что они совсем еще дети, а тем не менее уже погружаются в грязную трясиину любви. Я наблюдал румянец на их лицах, эту краску, выступающую, когда кровь взбудоражена постыдными желаниями, которые, когда они вырываются наружу, представляют собой тошнотворное зрелище. Противно было видеть эту смесь невинности и похоти, особенно пакостную и превращающую любовь между людьми в этом возрасте в нечто совершенно уж безобразное. Я с удовольствием подлил ему в бокал, который был пуст только наполовину — оно и неважно, моего вина достаточно только капнуть.

Затем я подошел к дону Рикардо и налил ему до краев. Это не входило в мою задачу. Но у меня есть свои собственные задачи. Я и сам себе могу давать задания. И, увидев, что герцог на меня смотрит, я спокойно выдержал его взгляд. Он был странный. У людей бывает такой взгляд. У карлика никогда. Словно бы все обитавшее в его душе всплыло вдруг на поверхность и со страхом, испугом и сладострастием наблюдало за мной и за тем,

что я задумал. Оно словно вынырнуло из темных глубин, как вынырнуло бы боящееся света водяное чудище с извивающейся скользкой спиной. У древнего, подобно мне, существа никогда не бывает такого взгляда. Я твердо смотрел ему в глаза, и надеюсь, он заметил, что рука моя не дрогнула.

Я знаю, чего он хочет. Но я знаю также, что он рыцарь. Я не рыцарь. Я всего лишь карлик рыцаря. Я угадываю его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и, будучи как бы частью его самого, исполняю даже самые неслышные его приказания. Хорошо иметь при себе такого маленького храбреца, делающего за тебя часть твоих дел.

В то время как я наполнял дону Рикардо бокал, по обыкновению пустой, он захохотал, откинувшись назад так, что борода у него встала торчком, а рот с двумя рядами широких белых зубов разинулся во всю ширь, зазияв огромной дырой. Я мог заглянуть ему в самую глотку. Я уже говорил, насколько неприятно, по-моему, наблюдать смеющегося человека. Но видеть, как хочешь своим вульгарным хохотом этот шут, «влюбленный в жизнь» и считающий ее такой неотразимо приятной, было противно до невозможности. Десны и губы у него были совершенно мокрые, а у тех гадких слезных желез в уголках глаз, откуда к темно-коричневой, с неестественным блеском радужной оболочке шли тоненькие кровяные прожилки, все время скапливались слезы. Ниже короткой черной щетины под бородой прыгал на шее кадык. На левой руке у него я заметил то самое кольцо с рубинами, которое послала ему в подарок герцогиня, когда он лежал больной, и которое я прятал у себя на груди, завернутое в одно из ее похотливых любовных писем.

Чему он смеялся, я не знаю, да мне это и неинтересно, я уверен, что сам я все равно не нашел бы в этом ничего забавного. Смеялся он, во всяком случае, в последний раз.

Мое дело было сделано. И, стоя подле этого жизнерадостного шута и распутника, я ждал дальнейших событий, и чувствовал его запах и запах бархата от его темно-красного костюма, того самого, что должен был обозначать страсть.

И вот герцог, мой повелитель, поднял свой зеленоватый бокал и с самой любезной улыбкой обратился к своим почетным гостям, к Лодовико Монтанца и окружавшей его блестящей свите, прежде всего, разумеется, к сидевшему напротив Торо. Его бледное, породистое лицо производило впечатление благородства и изысканности и сильно отличалось ото всех остальных, красных и опухших. Своим приятным, мягким и в то же время мужественным голосом он провозгласил здравицу в честь вечного мира, что воцарится отныне между обоими государствами, между герцогскими домами и между народами. С бесконечными, бессмысленными войнами отныне покончено, настало новое время, которое всем нам принесет счастье и радость. Наконец-то исполнится Слово Писания

о мире на земле. С этими словами он осушил свой бокал и одновременно с ним осушили в торжественном молчании свои золотые кубки и высокие гости.

Мой повелитель так и остался потом сидеть с бокалом в руке, глядя отсутствующим взором, точно рассматривая сквозь стекло мир.

Праздник снова зашумел, и мне трудно точно сказать, сколько это продолжалось — такие вещи трудно определить, представление о времени как бы утрачивается. К тому же слишком велико было во мне внутреннее напряжение, почти нестерпимое — и слишком велика моя злоба на Джованни, который не притронулся к своему напитку. Охваченный гневом, я смотрел, как Анжелика с бледной улыбкой передвинула его к себе, делая вид, будто хочет выпить сама. Я надеялся, что они оба попробуют напиток, что, будучи влюблены, они захотят выпить из одного источника. Но ни один даже не притронулся. То ли проклятая девчонка что-то заподозрила, то ли они и без вина были пьяны своей страстью. Злоба кипела во мне. Для чего им жить! Дьявол бы их побрал!

Зато дон Рикардо опрокинул, разумеется, кубок залпом. Этот последний в своей жизни кубок он осушил, кстати, за здоровье герцогини, неизменно галантный к «даме своего сердца». Даже и гут, попытавшись сострить, он указал комическим жестом на свою негодную к употреблению правую руку и поднял левой роскошный напиток, которым я его попотчевал, и улыбался при этом во весь рот своей прославленной, а на самом деле просто-напросто глупой улыбкой. Она ему тоже улыбалась, сначала чуть лукаво, а потом с тем влажным, томным блеском во взгляде, который я видеть не могу без отвращения.

Вдруг Торо издал какой-то дикий вопль и устался перед собой странно остекленелым взглядом. Несколько человек из его свиты, которые сидели по ту же сторону стола, кинулись было к нему, но не смогли даже устоять на ногах, ухватились за край стола и грузно повалились обратно на стулья, корчась от боли, невнятно причитая и жалуясь, что их-де отравили. Расслышать их было трудно. Но кто-то из тех, кому не было еще так плохо, крикнул на всю залу: «Нас отравили!» Все повскакали со своих мест, и поднялся страшный переполох. Люди Торо, выхватив кинжалы и другое холодное оружие, бросились со всех концов залы к главному столу и начали колоть и рубить наших, пытаясь пробиться к герцогу. Но наши люди тоже повскакали с мест, защищая себя и герцога, и заварилась невообразимая каша. И у них, и у нас падали убитые и раненые, и кровь лилась рекой. Словно на поле брани, сражались в четырех стенах между накрытыми столами пьяные, краснолицые воины, которые только что мирно сидели бок о бок и вдруг сошлись лицом к лицу в смертельном поединке. Со всех сторон неслись крики и вопли, заглушая стоны и хрипы

умирающих. Жуткие проклятия призывали всех духов преисподней явиться на место ужаснейшего из преступлений. Я взобрался с ногами на стул, чтобы лучше видеть происходящее. Вне себя от возбуждения, смотрел я на дело своих рук, смотрел, как выкашиваю под корень это мерзкое племя, которое и не заслуживает лучшей участи. Как гуляет по их головам мой могучий меч, беспощадный и разящий, взыскующий кары и мести. Как я отправляю их вечно гореть в адском пламени. Пусть все они сгорят в адском пламени! Все эти существа, называющие себя людьми и внушающие одно лишь омерзение и гадливость! Для чего им жить! Для чего жрать, хохотать, любить и плодиться по всей земле! Для чего нужны эти изологавшиеся комедианты и хвастуны, эти порочные, бесстыжие существа, чьи добродетели еще преступнее, чем грехи! Стори они все в адском пламени! Я казался себе Сатаной, самим Сатаной, окруженным всеми духами тьмы, которых они вызвали из преисподней своими полуночными проклятиями и которые толпились теперь вокруг них, злобно гримасничая и утаскивая за собой в царство мертвых их провонявшие плотью души. С неизведанным мной доселе наслаждением, с наслаждением острым почти до потери сознания ощущал я свою власть на земле. Как благодаря мне мир полнится ужасом и гибелью и из блистательного праздника превращается в прибежище смерти и страха. Я смешиваю свое зелье, и герцоги и вельможи стонут в предсмертных муках или корчатся на полу в собственной крови. Я потчую своим напитком, и гости за роскошно накрытыми столами бледнеют, и никто уже не обменивается ни с кем улыбкой, и не поднимает бокала, и не разглагольствует о любви к женщине и о любви к этой жизни. Ибо мой напиток заставляет забыть, что жизнь удивительна и прекрасна, и густой туман обволакивает все вокруг, и глаза слепнут, и наступает мрак. Я переворачиваю их факелы и гашу их, и наступает мрак. Да, это я собираю их на свою мрачную Вечерю, где они слепнут, отдавая моей отравленной крови, той самой, что каждый день питает мое сердце, но для них означает смерть.

Торо сидел неподвижно, лицо у него посинело, а поросшая редкой бородкой нижняя челюсть зловеще отвисла, словно он собрался укусить кого-то своими желто-коричневыми зубами. Глаза вылезли из орбит, пожелтев и налившись кровью, на него было страшно взглянуть. Вдруг он резко дернул сдавленной цепями шеей, с такой злостью, словно хотел ее вывихнуть, и тяжелая голова свесилась на сторону. Его короткое бычье туловище изогнулось дугой, содрогнулось, словно в него всадили нож, — он был мертв. Все его приближенные, сидевшие за герцогским столом, корчились меж тем в адских муках, но вскоре и они затихли и не подавали больше признаков жизни. Что до дона Рикардо, то он умирал, откинувшись назад и полузакрыв глаза, точно наслаждаясь моим напитком — он всегда так делал, смакуя изысканное

вино, — потом вдруг раскинул руки, будто хотел обнять весь мир, грохнулся затылком об пол — и был готов.

В завязавшейся яростной драке и всеобщей сумятице ни у кого не было возможности ими заниматься, им пришлось умирать самим, кто как умел. Один только Джованни, который сидел по ту же сторону стола, что Торо, и не притронулся благодаря проклятой девчонке к моему зелью, кинулся к отцу и склонился над его безобразным телом, словно в состоянии был ему помочь. Но как раз в тот момент, когда старый мошенник испустил дух, к Джованни пробился какой-то детина с кулачищами, как у хорошего кузнеца, схватил его, точно перышко, в охапку и поволок за собой через всю залу. Этот трус позволил, разумеется, выгнать себя из драки. Таким образом он и улизнул от нас. Дьявол его побери!

Стол опрокинулся, и все, что на нем было, тут же превратилось в сплошную кашу под ногами сражавшихся, которые, обезумев от ярости, только и жаждали что пустить друг другу кровь. Женщины сразу же с визгом разбежались, но в самый разгар схватки я увидел герцогиню, которая стояла, словно окаменев, посреди царившего кругом разгрома, помертвевшая, с застывшими чертами лица и остекленелым взглядом. Эта мертвенно бледная маска с остатками румян на дряблой коже производила комическое впечатление. Наконец слугам удалось увести ее из этой залы ужасов, она последовала за ними безвольно, точно не соображая, где находится и куда ее ведут.

Люди Торо, теснимые нашими превосходящими силами, стали отступать к выходам, но все еще бешено оборонялись, хоть оружия у них явно недоставало. Сражение продолжалось на лестницах, их преследовали до самой площади. Тут, однако, на помощь жестоко теснимому со всех сторон неприятелю подоспела вызванная из палатки Джеральди личная стража Монганца, и под ее прикрытием врагу удалось бежать из города. Иначе их перебили бы всех до единого.

Я стоял один посреди опустевшей залы, в полумраке, поскольку все канделябры попадали на пол. Одни лишь оборванные и, судя по всему, голодные уличные мальчишки шныряли вокруг со своими факелами и разыскивали среди трупов остатки еды и загаженные сласти, которые тут же и поглощали с невероятной жадностью, не забыв, однако, прихватить побольше столового серебра — столько, сколько могли спрятать под лохмотьями. Побоявшись особенно долго задерживаться, они тихонько улизнули со своей добычей, и я остался совсем один в целой зале. Погруженный в свои мысли, я не торопясь оглядывался вокруг.

Освещенные колеблющимся светом догоравших на каменном полу факелов, среди луж крови и растоптанных, загаженных скатертей и остатков пиршественных яств валялись кучами обезображенные трупы, свои и враги вперемежку. Их парадные платья были разорваны и выпачканы, а бледные лица еще искажены злоб-

ными гримасами, потому что умерли они в битве, в пылу безумной ярости. Я стоял, глядя на все это своим древним взглядом.

Человеческая любовь. Вечный мир.

Говоря о себе и своей жизни, эти жалкие существа никак не могут обойтись без громких, красивых слов.

Когда на следующее утро я явился по обыкновению в спальню покои герцогини, она лежала в постели совершенно безразличная, с пустым взглядом и иссохшими губами. Рот был так плотно сжат, что, казалось, никогда уже больше не раскроется. Неубранные, тусклые волосы сбились в сплошной колтун на смятом изголовье. Руки неподвижно и бессильно лежали поверх покрывала. Она, видимо, даже не замечала моего присутствия, хотя я стоял посередине комнаты и смотрел прямо на нее, ожидая, не будет ли каких распоряжений. Я мог рассматривать ее сколько душе угодно. Румяна еще не сошли с ее щек — единственное свидетельство прошлых радостей, кожа лица была увядшая и высохшая, а шея, несмотря на свою полноту, вся в морщинах. Такой выразительный прежде взгляд застыл в неподвижности. Весь его блеск пропал. Никто бы не поверил, что она когда-то была хоть сколько-нибудь красива, что кто-то мог любить и обнимать ее. Самая мысль о чем-либо подобном казалась абсурдом. В постели лежала просто старая, уродливая женщина.

Наконец-то.

При дворе у нас траур. Двор лишился своего шута. Сегодня состоялись похороны. Весь придворный штат, и все рыцари, и знать города провожали его и, конечно, вся его собственная челядь, которая, я уверен, вполне искренне его оплакивает — приятно, должно быть, служить у такого нерадивого, расточительного хозяина. Толпы черни высыпали на улицы поглазеть на процессию, этим беднягам нравилась, говорят, его легкомысленная особа. Они, как ни странно, таких любят. Сами живя впроголодь, они рады послушать всякие истории про его беспечную, расточительную жизнь. Они знают, говорят, наизусть все анекдоты, которые про него ходят, про его «подвиги» и «проказы», и пересказывают их в своих жалких лачугах, приютившихся около его дворца. А теперь он еще раз их порадовал, дав возможность поглазеть на свои пышные похороны.

Герцог шел первым в процессии, низко опустив голову, и казался совершенно подавленным скорбью. Когда надо притвориться, он поистине удивителен. Хотя особенно удивляться, пожалуй, нечего. Ведь он многолик по своей природе.

Никто не осмеливался ни о чем перешептываться. Что они там потом будут говорить в своих лачугах и дворцах — роли не играет. Случившееся объяснили роковым недоразумением. Дон Рикардо

случайно выпил отравленного вина, которое было предназначено лишь для высоких гостей. Всем ведь известно, какой он страдал неутолимой жадой, он сам, к сожалению, виноват в своей трагической смерти. Впрочем, всякий волен думать, что ему хочется. А что Лодовико со свитой отравили, так все тому только рады.

Герцогини на похоронах не было. Она лежит как лежала, недвижимая и словно отрешенная от всего, и отказывается от пищи. Вернее, не отказывается, а просто ничего не говорит, но слуги не могут ничего в нее впихнуть. Дура камеристка суетится вокруг, растерянная, с покрасневшими глазами, и размазывает по толстым щекам слезы.

Меня никто не подозревает. Ибо никто не знает, что я собой представляю.

Очень может быть, что герцог действительно скорбит по нем. При такой натуре это вовсе не исключено. Я склонен думать, что ему нравится по нем скорбеть, ему это кажется красивым и благородным. Рыцарская, бескорыстная скорбь — чувство возвышающее и приятное. К тому же он всегда был к нему привязан, хоть и желал его смерти. Теперь, когда его больше нет, он стал ему вдвойне дорог. Прежде всегда существовало нечто, что сковывало его чувства к другу. Теперь этого больше не существует. Добившись своего, он чувствует, как все больше и больше привязывается к нему.

Кругом только и разговоров, что о доне Рикардо. Говорят о том, какой он был, да как жил, да как умер, да что сказал тогда-то и тогда-то, да как великодушно поступил в таком-то и таком-то случае, да какой он был безупречный рыцарь, да какой веселый и храбрый мужчина. Кажется, будто он стал теперь еще живее, чем когда был жив. Но так всегда бывает, когда человек только что умер. Это быстро проходит. Нет истины вернее той, что тебя забудут.

Они же утверждают, что он никогда не будет забыт. И, выдумывая всякие неблуды про его исключительность и необыкновенность, они надеются сделать его бессмертным. Удивительно, до чего они ненавидят смерть, особенно когда дело коснется их любимчиков. Итак, мифотворчество в полном разгаре, и тому, кто знал всю правду об этом кутиле, этом вертопрахе и шуте, остается только руками развести, слушая их неблуды. Их нисколько не смущает, что все это не имеет ни малейшего отношения к истине, по их словам, он был сама радость, сама поэзия и бог вещь что еще, и мир без него уж не тот, и никогда уже им, увы, не услышать его хохота, и кончены его веселые проказы, и все они осиротели и убиты тоской. Всем ужасно нравится скорбеть по нем.

Герцог великодушно принимает участие в чувствительном спектакле. Он печально выслушивает хвалебные речи, вставляя время

от времени реплики, которые кажутся особенно красивыми потому, что исходят от него.

Но, в общем, мне все же думается, он вполне доволен своим маленьким наемным убийцей, своим маленьким храбрецом. Хотя, конечно, не подает виду. Он ни слова не сказал мне о случившемся, ни одобрения, ни упрека. Герцог волен и не замечать своих слуг, если ему так удобнее.

Он меня избегает. Как всегда в подобных случаях.

Скорбь герцогини никак не выражается. Не знаю, как это истолковать — возможно, это значит, что она очень сильно горюет. Она просто лежит в постели, уставившись в одну точку, и все.

Я и никто иной причина ее скорби. Если она в отчаянии, то только из-за меня. Если она переменялась до неузнаваемости и никогда не станет прежней, то только из-за меня. И если она слегла и лежит все время в постели, старая и безобразная, и не заботится больше о своей внешности, то все это тоже только из-за меня.

Я и не подозревал, что имею над ней такую власть.

Убийство снискало герцогу популярность. Все твердят в один голос, что он великий герцог. Никогда еще его торжество над врагом не было таким полным и не вызывало такого восторженного поклонения его личности. Им гордятся, считая, что он проявил необыкновенную изобретательность и решительность.

Кое-кто сомневается, приведет ли все это к добру. Говорят, что, мол, предчувствуют недоброе. Но такие всегда отыщутся. Большинство же настроено восторженно, и стоит герцогу появиться, как его встречают ликованием. Кто из людей устоит перед обаянием правителя, который не дрогнет ни перед чем.

Народ надеется, что наконец-то настанет спокойная и счастливая жизнь. Они довольны, что соседям отрубили головы, теперь они их больше не потревожат и не смогут уже помешать их счастью.

У них только и забот что о собственном счастье.

Интересно, какие такие новые великие планы он теперь вынашивает. Думает ли он снова на них напасть, пройти, не останавливаясь, прямо до их столицы и овладеть ею и всей страной. Это было бы проще простого после того, как все их главари, все сколько-нибудь значительные личности убраны с дороги. Мальчишку Джованни не стоит принимать в расчет, он не доставит нам никаких хлопот, этот трусливый сопляк, который чуть что — сразу удирать. Хорошо бы взять да поучить его, как подобает вести себя мужчине.

Я не сомневаюсь, что он намерен пожать плоды убийства. Это

было бы только разумно. Не удовольствуется же он тем, что есть. Уж коли посеял, то надо, разумеется, и пожать.

Ходят дурацкие слухи, будто народ Монтанца в ярости схватился за оружие, поклявшись отомстить за своего герцога и его приближенных. Одна болтовня, конечно. Что они в ярости — вполне вероятно. Того мы, собственно, и добивались. Но что они взяли за оружие и намереваются мстить за такого герцога — что-то не верится. А даже если и так, какое это имеет значение. Народ без вожака все равно что жалкое стадо баранов.

Я слышал, будто во главе встал дядя юного Джованни, брат его отца. Он будто бы и поклялся отомстить. Вот это уже звучит правдоподобней. Народ не мстит за своих герцогов, с какой стати, спрашивается. Ему при всех при них живется одинаково, и он только рад избавиться хотя бы от одного из своих мучителей.

Говорят, он человек того же склада, что и сам Торо, но до сих пор ему не давали возможности сыграть сколько-нибудь значительную роль. Зовут его Эрколе Монтанца, и он, должно быть, опасная личность, хоть и не воин. Говорят, будто он взял бразды правления в свои руки, чтобы, как он выразился, спасти страну в минуту смертельной опасности и вместе с тем попытаться оттеснить в сторону юного наследника престола, слишком, по его мнению, изнеженного для роли герцога, в то время как сам он достойный продолжатель рода Монтанца и весьма, на его собственный взгляд, подходит на роль властителя. Такая версия гораздо более вероятна. Так оно обычно и происходит на свете.

Начинает, кажется, сбываться мое предсказание, что этому молодому человеку с его оленьими глазами и медальоном на груди никогда не сидеть на троне.

Стянуты уже, говорят, значительные силы для осуществления этой самой мести, и неприятель якобы уже хлынул в страну, продвигаясь по долине вдоль реки. Во главе их стоит Боккаросса, который за двойную по сравнению с нашей плату вызвался умереть с своими наемниками за нового Монтанца. Они зверствуют, жгут и опустошают все на своем пути и вовсе, видимо, не намерены умирать, а предпочитают, чтобы умирали другие.

Наши полководцы спешно собирают войска, чтобы задержать их продвижение. В городе снова полно солдат, отправляющихся на поле боя, чтобы снова приняться за свое дело.

Герцог ничего, в сущности, не предпринимает.

С людьми у нас, говорят, трудновато, принимая во внимание, сколько было убито на предыдущей войне. Не так легко набрать

достаточное количество годных мужчин, которые хоть как-то умели бы сражаться. Стараются, однако, наскрести из последнего, чтоб было не меньше, чем у Монтанца, они ведь тоже понесли большие потери, которые выкачали из них всю лучшую кровь. Воодушевления прежнего не заметно, но все с готовностью покоряются, понимая, что это неизбежно. Все понимают, что надо примириться со своей судьбой и что нельзя жить ради лишь собственного счастья.

Захватчики рвутся к городу, и остановить их может разве что случай. Наши войска не в силах сколько-нибудь долго удерживаться на своих позициях и каждый раз вынуждены бывают отступить. С театра войны приходят все те же надоедливые, безрадостные донесения об отступлениях и потерях.

Там, где побывает неприятель, он разоряет все дотла. Села грабят и сжигают, попадающихся на пути жителей тут же прикалывают. Скотину отнимают, закалывают и пожирают у лагерных костров, остатки тащат за собой на обозах, про запас. Хлеб на полях сжигают. Наемники Боккароссы творят на своем пути что хотят. Они не оставляют за собой ничего живого.

В город потянулись толпы беженцев, идут и идут через городские ворота со своими тачками, нагруженными самым непонятным имуществом: горшками, одеялами, грязным рваньем, всевозможным старым хламом, настолько никчемным, что смешно на них смотреть. Кое-кто ведет за рога козу или отошавшую коровенку, и вид у них у всех ужасно испуганный. Никто их сюда не ждал, и непонятно, что им тут делать. Они спят на площадях возле своей скотины, и город все больше становится похож на грязную деревню, и запах там, где они располагаются, стоит ужасный.

Наши войска только и делают что отступают. По слухам, неприятель не так уже далеко от города, но где именно, я не знаю, сведения самые противоречивые, и доверять им не приходится. И ничего, кроме все тех же надоедливых, безрадостных донесений, что, мол, оказали сопротивление, но вынуждены были отступить, что теперь, мол, надеются удержаться, а потом, что опять, мол, пришлось оставить позиции. Поток беженцев продолжается, они наводняют город своей скотиной, своим тряпьем и своим нытьем.

Странная война.

Мне понятно в общем-то безразличие герцога и почему он предоставляет все командованию. Его не интересует оборона, она его не увлекает. Он как я, он любит наступать. Дух атаки — вот наш

дух. Что за удовольствие обороняться, все одно и то же, одно и то же, ни блеска, ни возбуждения битвы. Да и к чему? Чистая бессмыслица. Кому это может нравиться? Скудная война.

Войска Монтанца и Боккароссы уже видны с городских стен. Сейчас вечер, и из окна моей каморки в покоях карликов я различаю светящиеся точки лагерных костров на равнине. В темноте это чарующее зрелище.

Я ясно представляю себе лица воинов-наемников, сидящих вокруг костра и вспоминающих сегодняшние свои подвиги. Вот они подбрасывают в костер корни оливы, и пляшущие языки пламени освещают их суровые, решительные черты. Это настоящие мужчины, которые сами вершат свою судьбу, а не живут в постоянном страхе перед волей случая. Они разжигают свои костры на любой земле и не задумываются над тем, какому народу обязаны награбленной добычей. Они не спрашивают, каким властителям они служат — в любом случае они служат прежде всего самим себе. Усталые, растягиваются они прямо на земле и отдыхают перед завтрашней резней. Это люди без родины, но им принадлежит вся земля.

Вечер чудесный. Осенний воздух чист и насыщен прохладой, которую приносит ветер с гор, и небо, вероятно, звездное. Я долго сидел у окна и смотрел на бесчисленные точки костров. Пора уже и мне пойти отдохнуть.

Странно, в сущности, что я различаю костры, которые так далеко, а вот звезд на небе я вообще не вижу, никогда не мог увидеть. Глаза у меня не такие, как у других, но это не недостаток зрения, поскольку все, что на земле, я вижу совершенно отчетливо.

Я часто думаю о Боккароссе. Он стоит у меня перед глазами, огромный, чуть ли не великан, с этой своей зверской челюстью и глубоко запрятанным взглядом. И морда льва на груди, злобно оскаленная хищная пасть, показывающая всему миру язык.

Наши войска сами явились беженцами в город после битвы, которая разыгралась под самыми стенами. Сражение было кровопролитное и стоило нам не одной сотни убитых, не говоря уже о раненых, которые во множестве приползли через городские ворота или втащены были женщинами, побежавшими на поле брани разыскивать своих сыновей и мужей. К тому моменту, когда наши солдаты, наконец, сдались и отступили под прикрытие городских стен, они были уже в самом жалком состоянии. С их появлением в городе началась совершеннейшая неразбериха, город, кажется, вот-вот лопнет, переполненный солдатами, ранеными и

толпами беженцев из сел. Беспорядок ужаснейший, и настроение, естественно, такое, что хуже не придумаешь. Люди спят прямо на улицах, хотя ночи уже сильно похолодали, да и днем то и дело натыкаешься на спящих, измученных людей или на раненых, о которых некому позаботиться, хотя, наверное, и учредили какое-нибудь там общество. Безнадежность полнейшая, и мысль о предстоящей нам осаде отнюдь не способствует тому, чтобы развеять эту безнадежность.

Стоит ли, собственно, делать попытку сопротивляться такому, как Боккаросса? Лично я никогда не верил в успех этой войны.

Говорят, однако, что город будет защищаться до последней капли крови. И что он, мол, хорошо укреплен, и что продержаться может очень долго, и вообще неприступен. Все города неприступны, пока их не возьмут приступом. У меня свое мнение насчет их неприступности.

Герцог ожил и берет, кажется, руководство обороной в свои руки. Смотрят на него теперь косо и не встречают при появлении восторженным ликованием. Отнюдь. Считают, что убийство Монтанца и его приближенных было безрассудным поступком, который и не мог повлечь за собой ничего иного, кроме новой войны и новых бедствий.

Герцогиня снова на ногах и начала понемногу есть, но по-прежнему на себя непохожа. Она очень исхудала, и кожа на ее когда-то полном лице высохла и посерела. Ее как будто подменили. Платя на ней висят, словно с чужого плеча. Одета она всегда в черное. Если и скажет когда слово, то очень тихо, чуть не шепотом. Рот у нее по-прежнему какой-то иссохший, и худоба совершенно изменила выражение ее лица, глаза ввалились и, обведенные темными кругами, смотрят неестественно горящим взглядом.

Она часами молится перед распятием, пока колени окончательно не онемеют, так что она едва может подняться. О чем она молится, я, конечно, не знаю, но молитвы ее, видно, не доходят, поскольку каждый день она начинает все сызнова.

Она никогда не покидает своей спальни.

Маэстро Бернардо помогает, как я слышал, герцогу в укреплении оборонных сооружений и придумывает всякие хитрые приспособления, неоценимые при защите осажденного города. Работа, говорят, кипит и не прекращается ни днем ни ночью.

Я очень верю в гениальность маэстро Бернардо. Но против Боккароссы он, думается мне, бессилен. Старый маэстро — могучий дух, и мысль его объемлет многое, если не все. На службе у него, бесспорно, великие силы, отвоеванные им у природы и ему послушные, хотя скорее всего и против собственной воли. Но Боккаросса производит на меня такое впечатление, словно он одно

целое с этими самыми силами, и они служат ему непринужденно и охотно. Мне кажется, он гораздо больше сын природы.

Бернардо — человек, отошедший от матери-природы, и его выскомерные, аристократические черты всегда внушали мне известное недоверие.

Мне кажется, бой будет неравный.

Всякий, кто взглянул бы на них рядом, на Бернардо с его лбом мыслителя и на Боккароссу с его мощной, хищной челюстью, не усомнился бы, кто из них сильнейший.

В городе становится трудно с продовольствием. Здесь, при дворе, мы этого, конечно, не замечаем, но народ, говорят, голодает. Да оно и не удивительно при такой перенаселенности, при таком множестве пришлого люда. На беженцев смотрят все с большей и большей неприязнью, считая их не без основания причиной недостатка продовольствия. Для горожан они тяжкое бремя. Особенно раздражают их хнычущие, замурзанные дети, которые шныряют повсюду, выклянчивая милостыню. Говорят, они даже воруют при случае. Хлеб раздают два-три раза в неделю, да и то очень помалу, потому что к осаде никто не был подготовлен, и запасы незначительны. Скоро они, видимо, кончатся. Те из беженцев, кто привел с собой козу или корову и кормился вначале молоком, вынуждены были резать своих отощавших животных, полумертвых от голода. Некоторое время несчастные поддерживали свое существование, питаясь их мясом и меняя его то на муку, то на что-нибудь еще. Теперь у них ничего не осталось, а в разговоры горожан, что, мол, они припрятали мясо и живут лучше них, я не очень верю, по их виду этого не скажешь. Они страшно худые и явно изголодались. Я не потому так говорю, что испытываю какие-нибудь симпатии к этим людям. Я вполне разделяю неприязнь горожан. Они тупы, как все деревенские, сидят целыми днями сложа руки и таращатся по сторонам. Общаться они ни с кем не общаются, разделились на кучки, земляки с земляками, и чуть не все время проводят в своих грязных становищах, на каком-нибудь облюбованном кусочке площади, где сложено их грязное тряпье и где они расположились как у себя дома. Вечерами они сидят вокруг костров, если удастся раздобыть топливо, и разговаривают на своем примитивном наречии, из которого ни слова не поймешь. Да и стоит ли понимать, о чем они там говорят.

Грязь и вонь ото всех этих расположившихся на улицах и площадях людей совершенно ужасная. При моей чистоплотности и аккуратности и при моей чувствительности в этом смысле к поведению окружающих нечистоплотность этих людей мне просто нестерпима. Особое — по мнению многих, даже преувеличенное — омерзение вызывают во мне человеческие испражнения и тот запах, который они распространяют. А эти примитивные существа подоб-

ны скотине, с которой они имеют дело, и справляют свою нужду где попало. Безобразное свинство. Воздух словно зачумлен, и улицы и площади пришли, на мой взгляд, в такое омерзительное состояние, что я стараюсь как можно реже выходить в город. Да и поручениями меня не очень обременяют с тех пор, как герцогиня так переменялась, а дон Рикардо, по счастью, умер.

Все эти бездомные ночуют прямо на улице, и теперь, когда наступила зима, и зима необычайно суровая, им, должно быть, не слишком тепло в своем рванье. Некоторых, говорят, находят утром замерзшими, лежит такой сверток тряпья и не встает, как другие, а когда посмотрят, уже никаких признаков жизни. Но погибают они, видно, скорее от голода, чем от холода, и всегда это только старики, у которых организм уже, естественно, не может сопротивляться, а тело не держит тепла. И пусть себе умирают, они ведь только в тягость другим, а в городе и без того слишком много народу.

Люди Боккароссы ни в чем не терпят недостатка. В их распоряжении вся страна, грабь сколько хочешь, и они так и делают, продвигаясь все дальше и дальше вглубь и обеспечивая себя всем необходимым. Разграбленные села они потом сжигают, и часто по ночам можно видеть в небе далекие зарева пожаров. Всю окружающую местность они давно уже опустошили.

Но, как ни странно, никакого штурма города они пока не предпринимают. Меня это удивляет, ведь взять его сейчас было бы, разумеется, проще простого. Быть может, они считают, что меньше хлопот взять его измором, и при том, что могут грабить страну сколько угодно, готовы ждать.

Анжелика только и знает что бездельничать. Прежде она занималась хоть своим рукоделием. Чуть ли не все время она проводит у реки, сидит там и кормит лебедей или же просто смотрит, как бегут мимо волны. Все думает, наверное, о своем принце.

Удивительно, что за дурацкий вид у людей, когда они влюблены, а особенно когда влюблены безнадежно. Выражение лица у них тогда на редкость тупое, и я не понимаю, как можно утверждать, будто любовь делает человека красивее. Глаза у нее, если это только возможно, еще глупее и невыразительнее, чем прежде, а щеки бледные, не то что на пиру. Но рот стал словно бы больше, губы словно припухли, и видно, что она уже не ребенок.

Я, кажется, единственный, кто знает ее престоупную тайну.

К моему удивлению, герцогиня спросила меня сегодня, не думаю ли я, что Христос ее ненавидит. Я ответил — и так оно и есть, — что мне про то неизвестно. Она посмотрела на меня своим горящим взглядом, чем-то, казалось, взволнованная. Вообще-то,

он ее, должно быть, ненавидит, если не дарует ей душевного мира. Он должен ее ненавидеть за ее грехи. По-моему, это понятно, и я ей так и сказал. Ее точно успокоило, что я того же мнения, что и она, и, глубоко вздыхая, она опустила на стул. Я не знал, что мне, собственно, дальше делать, поскольку поручения у нее ко мне, как обычно, никакого не было. Когда я спросил, могу ли я идти, она ответила, что не в ее власти мной распоряжаться, но смотрела при этом так умоляюще, словно ждала от меня какой-то помощи. Я, однако, чувствовал себя ужасно неловко и предпочел уйти, и когда был уже в дверях, увидел, как она бросилась на колени перед распятием и в отчаянии стала бормотать молитвы, судорожно перебирая худыми пальцами четки.

Все это произвело на меня очень странное впечатление.

Что случилось со старой дурашкой?

Без сомнения, она вполне серьезно думает, что Он ее ненавидит. Сегодня она опять к этому вернулась. Все ее молитвы ни к чему, сказала она, Он ее все равно не прощает. Он ее не слышит и ничем даже не показывает, что вообще замечает ее существование, разве лишь тем, что не дает ей ни минуты покоя. Это ужасно, она этого не вынесет. Я сказал, что, по-моему, ей следует обратиться к своему духовнику, который всегда выказывал самое горячее сочувствие к ее духовным нуждам. Она покачала головой — она уже пробовала, но он ничем не мог ей помочь. Он ее даже и не понял. Он считает, что она безгрешна. Я язвительно усмехнулся этому высказыванию лстивого монаха. Тогда она спросила, что я сам о ней думаю. Я сказал, что считаю ее грешной женщиной и уверен, что ей суждено вечно гореть в адском пламени. Тут она бросилась передо мной на колени и стала ломать себе пальцы так, что суставы побелели, вопила, и причитала, и молила спасти и помирловать ее, несчастную. Но я спокойно смотрел, как она корчится у моих ног, во-первых, потому, что не имел средства ей помочь, а во-вторых, я считал, что мучится она заслуженно. Она схватила мою руку и омочила ее слезами, попыталась даже поцеловать, но я отдернул руку и не позволил ей ничего такого. Тут она стала еще громче вопить и причитать и довела себя до настоящей истерики. «Исповедуйся в своих грехах!» — сказал я и почувствовал, что лицо у меня стало очень строгое. И она начала исповедоваться во всех своих преступлениях, в своей развратной жизни, в своих недозволенных связях с мужчинами, в объятия которых ее толкал сам дьявол, и в том наслаждении, которое испытывала, окончательно запутавшись в его сетях. Я заставил ее подробнее описать ее грех и то чудовищное наслаждение, которое она от него получала, и назвать имена тех, с кем состояла в преступной связи. Она покорно исполнила все, что я ей велел, и передо мной возникла

ужаснейшая картина ее постыдной жизни. Однако она ни словом не упомянула про дону Рикардо, что я ей и заметил. Она недоумевающе посмотрела на меня и, казалось, никак не могла уразуметь, что я хочу этим сказать. Разве это тоже грех? Я объяснил ей, что это тяжчайший из всех ее грехов. Она, казалось, никак не могла себе этого уяснить и смотрела на меня удивленно и даже с сомнением, но потом я заметил, что она задумалась над тем, что я сказал, над этой не приходившей ей, видно, в голову мыслью и что, задумавшись, она испугалась. Я спросил, разве она не любила его больше всех? Да, ответила она шепотом, еле слышно, и тут же снова принялась плакать, но уже не так, как прежде, а как обычно люди плачут. Это продолжалось так долго, что мне, в конце концов, надоело слушать, и я сказал, что мне пора идти. Она умоляюще и беспомощно посмотрела на меня и спросила, не могу ли я ее чем-нибудь утешить. Что ей сделать, чтобы господь смилостивился над ней? Я ответил, что большая дерзость с ее стороны желать чего-либо подобного, в ней столько грехов, что вполне естественно, что Искупитель не слышит ее молитв. Он не для того был распят, чтобы искупать грехи таких грешников, как она. Она безропотно меня выслушала и сказала, что она и сама точно так же чувствует. Она недостойна быть услышанной. Она всегда это чувствовала в глубине души, когда молилась на коленях перед изображением Распятого. Вздыхая, но все же успокоенная, она уселась на стул и начала говорить о себе, как о величайшей на свете грешнице, самой падшей из людей, и жаловалась, что никогда ей не вкусить небесной благодати. Я много любила, сказала она. Но бога и его сына я не любила, и поэтому только справедливо, что я так наказана.

Потом она поблагодарила меня за то, что я был добр к ней. Ей стало легче, когда она исповедалась, хоть она и сама прекрасно понимает, что отпущения грехов ей не получить. И сегодня она в первый раз смогла поплакать.

Я ушел, а она осталась там сидеть с покрасневшими глазами и волосами, сбившимися и спутанными, как старое сорочье гнездо.

Герцог и Фьяметта много времени проводят вместе. Они часто остаются посидеть вдвоем после вечерней трапезы, и я тоже остаюсь, чтобы прислуживать им. С герцогиней они тоже иногда так сидели по вечерам, но очень редко. Фьяметта — совсем другого типа женщина, холодная, сдержанная, неприступная, и настоящая красавица. Ее смуглое лицо жестче любого виденного мною женского лица, и не будь оно так красиво, могло бы показаться лишенным всякой доброты. Угольно-черные глаза с этой их единственной искоркой покоряют и гипнотизируют.

Я предполагаю, что она и в любви холодна и не столько отдает, сколько берет, и от того, кого снисходит полюбить, требует

полнейшего подчинения. Герцогу это, кажется, нравится, нравится покоряться. Холодность в любви, возможно, ценится не меньше, чем страстность, откуда мне знать.

Лично я ничего против нее не имею. Зато все другие имеют. Слуги для нее пустое место, а они, по их словам, к такому не привыкли, и для них она не матушка-кормилица, а просто герцогская наложница. Других придворных дам она как бы и не считает уже себе ровней — да и считала ли когда, считала ли вообще когда-нибудь кого-нибудь ровней себе. Но в ней это кажется не обычной спесью, а скорее врожденной гордостью. Они, разумеется, бесятся. Но виду показать не смеют, поскольку она, как полагают, может занять место герцогини, если, конечно, госпожа вдруг снова не захочет вернуть его себе.

Весь двор говорит, что она позволила себя «соблазнить» из одного лишь тщеславия, и что кровь у нее рыба, и что это безнравственно. Я не понимаю, что они имеют в виду, поскольку в противоположность всем прочим, кто пускается в подобные бесстыдства, она вовсе не производит впечатления безнравственной.

Герцог, безусловно, очень ею увлечен и в ее присутствии всегда старается показать себя особенно любезным и остроумным. Вообще же он, видимо, чем-то обеспокоен, какой-то раздражительный и нервный, и может вдруг ни с того ни с сего вспылить и накинуться на прислугу, чего за ним никогда прежде не водилось — и не только на прислугу, но и на особ повыше. Говорят, он очень раздражен тем, как развиваются события, и не в последнюю очередь тем, что народ им недоволен, что он уже, как говорится, не популярен. Голодающие, которые приходят сюда под окна и кричат, чтоб им дали хлеба, особенно, конечно, портят ему настроение.

По-моему, ниже достоинства герцога обращать внимание на подобные вещи, на то, что там думает или кричит окружающая его чернь. Они вечно найдут повод покричать. Если задумываться обо всем, про что кричит народ, только и дела будет, что угождать им.

Утверждают, будто он втайне ото всех велел наказать плетью придворного астролога Никодемуса и других длиннордых за их исключительно благоприятные предсказания. Что ж, может быть, ведь так же поступил и его отец, хотя причина тогда заключалась в том, что они предсказали иное, чем желательно было герцогу.

Нелегко читать по звездам. И читать при этом так, чтобы другие остались довольны.

Положение в городе все ухудшается и ухудшается. Можно, пожалуй, сказать, что теперь там свирепствует самый настоящий голод. Каждый день люди умирают от голода или от холода и

голода, трудно сказать. На улицах и площадях много валяется таких, кто уже не в силах подняться, и похоже, им все уже безразлично. Другие же скелетами бродят по городу в поисках чего-нибудь съедобного или хоть чего-то такого, что могло бы заглушить чувство голода. За кошками, собаками и крысами ожесточенно охотятся, они считаются теперь лакомством. Крысы, о которых прежде говорили, как о настоящем бедствии для лагерей беженцев, где они во множестве рыскали среди нечистот, считаются теперь ценной дичью. Но, говорят, они стали исчезать, и все труднее становится их отыскивать. Они, видимо, заболели какой-то болезнью, поскольку всюду натываются на их трупы, и таким образом подвели в тот самый момент, когда вдруг оказались нужны.

Меня не удивляет, что крысы не выдержали соседства с этими людьми.

Произошло нечто неслыханное. Я попытаюсь рассказать об этом спокойно и сдержанно и в том порядке, в каком развивались события. Это не так легко, поскольку я сам принимал непосредственное и важное участие в ходе дела и до сих пор возбужден до чрезвычайности. Теперь, когда все уже позади и окончилось, смею сказать, благополучно, так что я вполне могу быть доволен и результатом, и самим собой, я хочу посвятить часть ночи тому, чтобы быстренько записать все, что произошло.

Когда я вчера поздно вечером сидел у своего окошка и смотрел на огни костров Боккароссы, как я всегда теперь делаю перед тем, как отправиться спать, я неожиданно заметил крадущуюся меж деревьев у реки фигуру, которая направлялась к правому крылу замка. Мне показалось странным, что у кого-то могло найтись там дело в это время суток, и я еще подумал, не из прислуги ли это кто. Светила луна, но сквозь густой туман, так что человека этого я различал с трудом. Он был, похоже, закутан в широкий плащ и чуть не бегом бежал к флигелю, где и исчез, воспользовавшись одним из боковых входов. Казалось бы, раз знает вход, значит, кто-то из своих. Но что-то в его фигуре меня насторожило, да и все его поведение было подозрительно. Поэтому я решил разобраться, в чем дело, быстро спустился вниз и последовал за ним через тот же вход. На лестнице была кромешная тьма, но если мне и знакома какая-нибудь лестница в замке, так именно эта, поскольку когда-то меня гоняли по ней бесчисленное число раз. Она ведет, между прочим, и в покои Анжелики. А теперь и вообще только к ней, поскольку все остальные помещения больше не используются.

Я ощупью поднялся наверх, к ее двери, и стал подслушивать. К моему неописуемому удивлению — хотя отчасти я был уже к тому подготовлен — я услышал за дверью два голоса. И один из них принадлежал Джованни!

Они говорили шепотом, но благодаря моему тонкому слуху я разбирал все, что они говорили. Судя по всему, я был невидимым свидетелем трогательного и бесконечного «счастья».

— Любимая! — задыхался один голос и: — Любимый! — отвечал ему шепотом другой. — Любимая! — и снова: — Любимый! — ничего другого не произносилось, и для постороннего уха эта увлекавшая их беседа не представляла слишком большого интереса. Если бы не серьезность, не ужас всего происходящего, это бесконечное повторение одного и того же слова показалось бы мне просто смешным. К сожалению, в этом не было ничего смешного. Мороз побежал у меня по коже, когда я услышал, как они нежно и бездумно произносят то самое слово, которое, задумайся они хоть на минуту над его смыслом и над тем, что оно означает в их устах, заставило бы их содрогнуться от ужаса. Потом я услышал, как преступники начали целоваться, наивно и косноязычно уверяя друг друга в любви. Это было чудовищно.

Я кинулся обратно. Где искать герцога? Может, в трапезной, где я какой-нибудь час назад оставил его вдвоем с Фьяметтой? Я прислуживал им там, пока мне не было сказано, что я ему больше не понадобится.

Больше не понадобится! Выражение показалось мне странным, и я не переставал удивляться, в страшной спешке спускаясь ощупью по темной лестнице. Карлик господину всегда понадобится.

Я побежал через внутренний двор замка к арке главного входа, разделяющей старую и новую части строения. Тамошные лестницы и переходы тоже, разумеется, были погружены во мрак. Я, однако, добрался куда следует и, наконец, задыхающийся, очутился перед высокими двустворчатыми дверями. Я прислушался. Не слышно было ни звука. Но, возможно, они были и там. Мне хотелось, естественно, это выяснить. Но, к моей досаде, я не смог заглянуть в щелку, поскольку эта дверь из тех, которые я не могу открыть из-за своего роста. Я еще раз прислушался. И мне ничего не оставалось, как отправиться восвояси, так ничего и не выяснив.

Я направился к спальным покоям герцога. Они расположены не слишком далеко от трапезной, только выше. Я поднялся по лестнице, подошел к его двери и снова стал прислушиваться. Но сколько ни слушал, не мог различить ни звука, ничего, что указывало бы на его присутствие. Может, он уже спал? Это было, собственно, не так уж невозможно. Я подумал, не осмелиться ли мне и не разбудить ли его? Нет, это было немыслимо, такое мне никогда и в голову не приходило. Но ведь дело у меня было неотложное, чрезвычайной важности. Важнее у меня никогда еще не было.

Я набрался духу — и постучал. Никто не ответил. Я забарабанил в дверь кулаком изо всех сил. Никакого ответа.

Его там, безусловно, не было. Я ведь знаю, какой у него чуткий сон. Так где же тогда? Я все больше и больше нервничал. Сколько времени уходило! Где же он мог быть?

Может, у Фьяметты? Может, они пошли туда, чтобы никто их не стеснял? Это была моя последняя надежда.

Я ринулся вниз по лестницам и выскочил во двор. Фьяметта живет совсем в другой части замка, возможно, это сделано для того, чтобы замаскировать их отношения с герцогом. Чтобы добраться туда, надо пересечь весь двор.

Я нашел нужный вход, но поскольку эта часть замка мне гораздо меньше знакома, я долго блуждал наугад, поднимался не по тем лестницам, спускался, опять поднимался, а потом путался в бесконечных переходах, где тоже было темно и где я, все больше досадуя на потерянное время, метался взад-вперед и никак не мог найти то, что искал. Я чувствовал себя кротом, который мечется по лабиринту подземных ходов, тревожно обнюхивая все на своем пути. К счастью, я, подобно кроту, хорошо вижу в темноте, мои глаза словно специально так устроены. Я знал, кроме того, расположение ее окон по фасаду, и, в конце концов, мне удалось сориентироваться и отыскать нужную дверь.

Я прислушался. Есть ли кто? Есть!

Первое, что я услышал, — это холодный смех Фьяметты. Я никогда раньше не слышал, как она смеется, но сразу понял, что это она. Смех был жестковатый и, пожалуй, немного деланный, но в нем было и что-то возбуждающее. Потом я услышал, как засмеялся герцог, коротко и невесело. Я вздохнул с облегчением.

Потом я услышал их голоса, но слов не разбирал, они, видимо, находились где-то в глубине комнаты. Однако ясно было, что они действительно ведут беседу, а не просто, как те двое, обмениваются одним и тем же словом. Говорили ли они о любви, я не знаю, но вряд ли, непохоже было. Потом вдруг наступила тишина. Как я ни напрягал слух, я не мог уловить ни звука. Но через некоторое время я расслышал какое-то неприятное пыхтение и понял, что они занимаются чем-то постыдным. Я почувствовал легкую тошноту. Хоть я и не думал, что в том возбужденном состоянии, в каком находился, мне действительно может стать плохо, я на всякий случай отошел подальше, но не слишком далеко, чтобы не упустить герцога, и стал пережидать. Я ждал довольно долго, чтобы не пришлось снова услышать эти неприятные звуки. Мне показалось, что я простоял там целую вечность.

Когда я, наконец, снова подошел к двери, они о чем-то хладнокровно разговаривали, уж не знаю о чем. Неожиданная перемена столь же удивила меня, сколь и обрадовала, я уже надеялся, что скоро смогу привести в исполнение задуманное. Они, однако, не торопились, лежали себе там и без конца рассуждали, скорее всего о каких-нибудь пустяках. Я просто из себя

выходил, слушая их и думая о том, сколько драгоценного времени упущено. Но я ничего не мог поделать. Я не мог, разумеется, объявиться и помешать им в такой ситуации.

Наконец я услышал, как герцог поднялся и начал одеваться, продолжая обсуждать с ней что-то, в чем они, видимо, были не согласны. Я отошел подальше от двери, в темноту, и стал его караулить.

Выйдя, он пошел, не зная того, прямо на меня. «Ваша светлость!» — прошептал я, держась на всякий случай подальше от него. Он пришел в ярость, обнаружив мое присутствие, и разразился отвратительными проклятиями и угрозами: «Что ты здесь делаешь! Чего тут шпионишь! Ах ты, мерзкий уродец! Змея ты ядовитая! Где ты там! Да я тебя прикончу!» И он стал бросаться в разные стороны, вытянув руки и пытаясь нащупать меня в темноте. Но поймать меня в таком мраке он, конечно, не мог. «Позволь мне сказать! Позволь мне сказать, в чем дело!» — возразил я сухо и холодно, в действительности же совершенно вне себя. И он в конце концов позволил.

Тогда я швырнул ему прямо в лицо, что его дочь насилует в эту минуту сын Лодовико Монтанца, который пробрался в замок, чтобы отомстить за своего отца и покрыть его самого и весь его род несмываемым позором и бесчестьем. «Это ложь! — крикнул он. — Что ты болтаешь, безумец! Это ложь!» — «Нет, это правда! — воскликнул я, бесстрашно подходя к нему вплотную. — Он сейчас у нее, и я сам, своими собственными глазами наблюдал приготовления к злодеянию. Ты придешь уже слишком поздно, преступление уже наверняка совершилось — но, возможно, ты еще застанешь его там». Я понял, что теперь он мне поверил, потому что он стоял как громом пораженный. «Это невозможно! — сказал он, но тем не менее быстрыми шагами направился к выходу, чуть ли не бегом. — Это невозможно! — повторял он. — Как бы он сумел проникнуть в город! И в замок — он же охраняется!» Я отвечал, изо всех сил стараясь поспеть за ним, что тоже этого не понимаю, но что я заметил его сперва у реки, возможно, он перебрался через нее на плоту или еще как, кто знает, что способен выдумать этот безрассудный молокосос, а от туда он уже мог попасть прямо во внутренний двор замка. «Невозможно! — настаивал он. — Ни один человек не сумеет проникнуть в город через реку, проскользнув незамеченным между крепостными башнями с той и другой стороны с их бомбардами и лучниками, охраняющими ее днем и ночью. Это просто немыслимо!» — «Да, это немыслимо, — согласился я. — Понять это совершенно невозможно, сам дьявол не поймет, как он умудрился проникнуть, но мальчишка тем не менее там. Я совершенно уверен, что я слышал там его голос». Мы спустились и вышли во двор замка. Герцог быстро направился к главному входу, чтобы отдать страже приказ о бдительнейшей, усиленной охране

всего замка и таким образом помешать ему улизнуть. Его предусмотрительность была вполне обоснованной и разумной — но что если преступник уже удрал! А то и оба они вместе! Эта ужасная мысль заставила меня кинуться бегом через двор и дальше, вверх по лестнице, к двери Анжелики.

Я приложился к ней ухом. Ни звука! *Неужели сбежали!* Мое собственное сердце так громко колотилось от бега и от волнения при мысли, что они, чего доброго, ускользнули от нас, что я, возможно, поэтому ничего и не слышал. Я постарался успокоиться, дышать спокойно и размеренно — и снова прислушался. Нет, из комнаты не доносилось ни звука. Я был вне себя! Я думал, я с ума сойду! Наконец я не вытерпел неизвестности и осторожно приоткрыл дверь. Мне удалось сделать это так, что она даже не скрипнула. В щелку мне было видно, что горит свет — но ни звука, ничего, что указывало бы на присутствие человека. Я проскользнул в комнату. И сразу вновь обрел душевное спокойствие. В свете маленького светильника, который они забыли погасить, я увидел их спящими друг подле друга в ее кровати. После первого своего знакомства с животной страстью любви они заснули, как уставшие дети.

Я взял светильник, подошел и посветил на них. Они лежали, повернувшись лицом друг к другу, полуоткрыв рты, порозовевшие и все еще разгоряченные преступлением, которое совершили и о котором теперь, заснув, словно бы и не ведали. Ресницы были влажные, а на верхней губе у обоих выступили капельки пота. Я наблюдал этот чуть ли не невинный в своем простодушии и своем забвении опасности и всего мира сон. То ли это самое, что люди называют счастьем?

Джованни лежал с краю, локон черных волос упал ему на лоб, а на губах застыла слабая улыбка, точно он был доволен удачно совершенным злодеянием. На шее висел на тонкой золотой цепочке медальон с портретом его матери, которая, как утверждают, пребывает в раю.

Тут я услышал на лестнице шаги герцога и его людей, а вскоре вошел и он сам в сопровождении двух стражей-наемников, один из которых нес факел. Комната ярко осветилась, но ничто не могло бы разбудить уснувшую крепким сном парочку. Неверным шагом, чуть ли не шатаясь, он подошел к постели и увидел свой неслыханный позор. И, мертвенно побледнев от гнева, он рванул к себе меч одного из стражей и одним яростным взмахом отделил голову Джованни от его тела. Анжелика вскочила и широко открытыми глазами смотрела, как вытаскивали из постели ее окровавленного возлюбленного и как его потом вышвырнули в окно на мусорную свалку. Тут она повалилась без чувств и до нашего уха так и не пришла в себя.

Герцог, отлично сделавший свое дело, весь дрожал от возбуждения, и я видел, как, выходя из комнаты, он придержался рукой

за косяк. Я тоже тотчас оттуда ушел и направился к себе. Я шел медленно, так как торопиться было уже ни к чему. Во дворе, в отдалении, я увидел факел, сопровождавший герцога на его пути, и как он потом исчез под аркой, словно растворился во тьме.

Анжелика слегла в жестокой горячке, против которой придворный лекарь бессилен, и все еще не пришла в чувство. Никто не испытывает к ней ни малейшего сострадания, поскольку считается очевидным, что она не оказала настоящего сопротивления, когда ее насиловали, и поскольку надругание над ней рассматривается как ни с чем не сравнимое бесчестие для герцогского дома и всего герцогства. За ней ухаживает одна старая женщина. Никто из придворных к ней не навещается.

Тело ее преступного любовника выбросили в реку, не желая, чтобы оно валялось дольше перед замком. Говорят, его не затащило в водовороты, а вынесло течением в открытое море.

В городе начала распространяться какая-то странная болезнь. Начинается она, как я слышал, с озноба и ужаснейшей головной боли, потом заплывают глаза и набухает язык, и человек не может даже толком говорить, а тело у него делается сплошь красное, и сквозь кожу сочится гнилая кровь. Больные все время кричат, требуя пить, потому что внутри у них все горит как огнем. Лекари бессильны оказать им помощь — а когда они, спрашивается, в силах? До сих пор почти все заразившиеся, говорят, умирали, сколько их может быть, я не знаю.

У нас при дворе случался эпидемии, разумеется, не было. Она обитает среди самых нищих и самых изголодавшихся и в особенности среди беженцев и связана, видимо, с тем невероятным свинством, которое они развели в своих становищах и во всем городе. Меня не удивляет, что они мрут от окружающей их грязи.

Анжелика не может пострадать от этой заразы. Ее горячка — в точности то самое, чем она болела как-то раз в детстве, не помню уж, когда именно и при каких обстоятельствах. Она всегда болеет по-своему и от таких причин, от которых никто другой не заболит. Ага, теперь я вспомнил, это было в тот раз, когда я отсек голову ее котенку.

Мор распространяется все больше и больше, со дня на день. Теперь заболевают уже не только бедняки, но все кто угодно. Из всех домов несутся вопли и стоны, на улицах и площадях то же самое, поскольку народу там живет не меньше. Проходя мимо, можно увидеть больных, которые мечутся на своем тряпье прямо на мостовой и громко, пронзительно кричат. Муки, должно быть, невыносимые и доводят людей до безумия. Ходить по городу стало

просто невозможно, рассказы очевидцев кишат отталкивающими, жуткими подробностями. Дыхание у больных страшно зловонное, а на теле появляются отвратительные нарывы, которые лопаются, выделяя какую-то гадость. Когда я слушаю про эти подробности, я чувствую позыв к тошноте.

Немного найдется таких, кто бы сомневался, что виноваты в страшной заразе беженцы, и их сейчас ненавидят, как никогда. Но есть, я слышал, и такие, кто объясняет все по-другому, кто считает мор наказанием господним за великие грехи человеческие. Они считают, что нынешние страдания ниспослал людям Бог, чтобы очистить их от греха, и что надо смириться пред его волей.

Я готов рассматривать это как наказание. Но вот Бог ли их бичует — не знаю. Очень может быть, что и какая-то другая, более темная сила.

Я сижу иногда у своего карликового окошка и смотрю сверху на город.

Герцогиня живет странной жизнью. Ее спальня, которую она никогда не покидает, постоянно погружена в полумрак, поскольку окна занавешены плотной тканью. Она говорит, что недостойна наслаждаться солнечным светом. Стены голы, и нет ни стульев, ни столов, одна лишь молитвенная скамеечка, и над ней распятие. Настоящая монашеская келья. Кровать стоит как стояла, но спит она не на ней, а на охапке соломы прямо на полу, которую она не разрешает менять и которая делается все более зловонной. Ужасно душно и непроветрено, и я задыхаюсь от этого спертого воздуха. Сначала, как войдешь, вообще ничего не видно, но постепенно глаза привыкают к полумраку. И тут обнаруживаешь ее, полуодетую, непричесанную, совершенно равнодушную к тому, что на ней и как она выглядит. Взгляд лихорадочный, а щеки худые и ввалившиеся, потому что она умерщвляет свою плоть и почти вовсе отказывается от пищи. Глупая деревенщина-служанка все хнычет, что не может заставить свою матушку-кормилицу покушать. Иногда она и съест кусочек, лишь бы дурочка перестала плакать. Сама девка круглая и толстощекая и пихает в себя сколько сможет. Громко причитая, она пожирает все те лакомые блюда, от которых отказывается ее повелительница.

Большую часть времени кающаяся грешница проводит перед распятием, стоя на коленях и читая свои бесплодные молитвы. Она знает, что пользы от них нет, и каждый раз, прежде чем начать, обращается к Распятому с особой молитвой, чтобы Он прости ей, что она опять к Нему взывает. Иногда, отчаявшись, она и начинает бормотать молитвы собственного изобретения. Но Он ее все равно не слышит, и поднимается она с колен такая же непрощенная, как была до молитвы. Часто она не в силах подняться без помощи камеристки, а бывает, навверное, и так, что она просто

падает от истощения и лежит, пока не появится камеристка и не оттащит ее на солому.

Теперь она считает себя виновной во всех постигших нас несчастьях. Не чьи-нибудь, а ее именно грехи — причина всех страданий и всего того ужасного, что творится в городе. Насколько ей известно происходящее вокруг, мне трудно сказать, но не думаю, чтоб у ней было хоть сколько-нибудь ясное представление. Однако она, вероятно, все же смутно догадывается об окружающих ее ужасах. При всем том она, мне кажется, достаточно равнодушна к этому миру и считает все, что тут делается, суетой сует. Она живет в своем собственном, особом мире, и у нее свои собственные заботы.

Теперь она поняла, что любовь к дону Рикардо — величайший из ее грехов. Из-за нее она цеплялась за жизнь и принимала ее за драгоценный дар. Она говорит, что любила его превыше всего, что чувство к нему заполняло все ее существо и делало ее очень счастливой. Нельзя так беспредельно любить человека. Так можно любить только бога.

Я не знаю, в какой степени ее нынешнее самоуничужение может быть связано с тем, что я открыл ей глаза на ее преступную жизнь и на то наказание, которое ожидает ее в аду. Я описал ей муки нечестивых, и она покорно выслушала мои разъяснения. В последнее время она начала бичевать себя.

Она всегда очень благодарна, когда я прихожу к ней. Я избегаю слишком часто к ней навещаться.

Анжелика оправилась от своей болезни и снова на ногах. Но она не появляется за столом и вообще при дворе. Я только видел ее несколько раз в розарии и у реки, где она сидела, уставившись на воду. Глаза у нее сделались, если это только возможно, еще больше и совершенно стеклянные. Такое впечатление, будто она ничего ими не видит.

Я обратил внимание, что она носит на шее медальон Джованни и что он запятнан кровью. Она, вероятно, нашла его в постели и взяла на память о нем. Но могла бы, кажется, отмыть сначала кровь.

Мать пребывает в раю, меж тем как сын томится в преисподней, поскольку умер он в греховном сне, без исповеди и покаяния. Выходит, они никогда не встретятся. Возможно, Анжелика молится за его душу. Напрасные старания.

Никому, однако, не известно, чем заняты ее мысли. Она не произнесла ни слова с момента своего пробуждения той ночью, вернее, с того момента, как сказала последнее слово своему любовнику. Что это было за слово, мне, зная их беседу, догадаться не трудно.

Она предоставлена сейчас самой себе, все ее избегают.

Те, кто считает, что мор и все прочее суть наказание господне, которого не страшиться следует, а, напротив, благословлять за него Всемогущего, таскаются сейчас по улицам, проповедуя свой символ веры и бичуя свою плоть, чтобы помочь Господу спасти их души. Это толпы скелетов с провалившимися глазами, до того истощенных, что они и на ногах бы не устояли, если бы не охвативший их экстаз. За ними идут очень многие, заражаясь этим их экстазом. Люди бросают все, что имеют, свой дом и своих близких, даже умирающих своих родичей, и присоединяются к ним. Вдруг раздается истошный, ликующий вопль, человек протискивается в толпу и, что-то пронзительно и бессвязно выкрикивая, начинает себя бичевать. Тут все принимаются восхвалять Господа, и толпящийся по обеим сторонам улицы народ падает на колени. Земная жизнь, ужасов которой они достаточно навидались, утрачивает всякий смысл. Все их мысли теперь только о душе.

Святые отцы, по слухам, косо смотрят на этих фанатиков, поскольку они отвлекают народ от церкви и от их собственных торжественных процессий с иконами и мальчиками-певчими, которые размахивают среди уличной вони благовонными кадильницами. Они говорят, что эти самоистязатели плохие христиане и что они в своем диком фанатизме бегут утешения, которое дарует религия. Господь не может взирать на них с радостью и одобрением. Но я считаю, что, если кто истинно верует, так это они, принимающие свою веру всерьез. Святые же отцы не любят, чтобы их проповеди принимались чересчур всерьез.

Есть, однако, и много таких, на кого все окружающие ужасы действовали иначе, кто полюбил эту жизнь гораздо больше прежнего. Страх смерти заставляет их цепляться за нее любой ценой. Ходят слухи, что в некоторых дворцах города празднества не прекращаются ни днем ни ночью, там пустились, говорят, в самое необузданное распутство. Да и среди нищих, среди самых убогих немало таких, кто ведет себя подобным же образом, в меру своих возможностей, кто безудержно предается единственному доступному сейчас для них греху. Они цепляются за свою жалкую жизнь и ни за что не желают ее лишаться, и, когда тут у нас, перед воротами замка, раздают еще изредка немножко хлеба, эти ничтожества яростно дерутся за куски и готовы разодрать друг друга в клочья.

Но, с другой стороны, есть, говорят, и такие, кто жертвует собой ради своих ближних, кто ухаживает за больными, хотя это совершенно бессмысленно, и они только сами заражаются. Они выказывают полнейшее равнодушие к смерти и всякой опасности, словно и не догадываются, чем рискуют. Их можно приравнять к религиозным фанатикам, только у них это выражается по-иному.

Таким образом, люди в городе, если верить доходящим до меня рассказам, продолжают жить точно так же, как жили и до того, каждый на свой лад и согласно своим склонностям, только более

возбужденно и истерично, и результат в целом, если смотреть с точки зрения их бога, совершенно ничтожен. Поэтому я сомневаюсь, он ли это устроил, послал им мор и все прочие испытания.

Фьяметта прошла сегодня мимо меня. Она не удостоила меня, разумеется, и взглядом. Но как она прекрасна и совершенна в этой своей невозмутимости. В нынешней мерзкой сутолоке и лихорадке она — как освежающая прохлада. Во всем ее облике, во всем ее неприступно гордом существе есть какая-то свежесть, что-то внушающее спокойствие и уверенность. Она не дает мерзостям жизни взять верх над собой, напротив, она сама им госпожа. Она умеет даже ими пользоваться. Незаметно, с большим достоинством и непринужденностью она заступает место герцогини и начинает играть при дворе роль повелительницы. Остальные все больше понимают, что тут ничего не поделаешь, и покоряются. Нельзя ею не восхищаться.

Если бы кто другой прошел мимо меня, не удостоив и взглядом, меня бы это взбесило. А тут я нашел это вполне естественным.

Я очень хорошо понимаю, почему герцог ее любит. Сам бы я не смог, но это уж дело другое. Способен ли я был бы вообще кого-нибудь полюбить? Не знаю. Если способен, то, пожалуй, герцогиню. Но я ее вместо того ненавижу.

И все же я чувствую, что она единственная, кого я, пожалуй, смог бы полюбить. Как это так получается — не понимаю, для меня это совершенно непостижимо.

Поистине, непонятная вещь любовь.

Анжелика утопилась в реке. Она сделала это, должно быть, вчера вечером или ночью, поскольку никто этого не видел. Но она оставила письмо, из которого совершенно ясно следует, что она лишила себя жизни таким именно способом. Целый день искали ее труп по всей реке в стенах осажденного города, но безрезультатно. Его, должно быть, унесло в море, как и труп Джованни.

При дворе у нас страшный переполох. Все ошеломлены и не могут поверить, что она умерла. По-моему, тут все ясно: ее любовник умер, вот и она умерла. Все хнычут, причитают и упрекают себя. И больше всего разговоров о письме. Пересказывают друг другу его содержание, без конца читают друг другу вслух. Герцог, говорят, был очень им взволнован, он вообще очень взволнован случившимся. Фьяметта тоже всхлипывает и вздыхает, они просто слезами исходят над трогательными выражениями этого письма. Мне их поведение совершенно непонятно. Я не могу взять в толк, что в нем примечательного, в этом письме. И оно ведь ничего не меняет: преступление, которое они только что сами осудили, остается тем же преступлением. Письмо не содержит ничего нового.

Я слышал его раз сто, до тошноты, и знаю чуть не наизусть. Оно звучит примерно так:

Я не хочу больше оставаться с вами. Вы были очень добры ко мне, но я вас не понимаю. Я не понимаю, как вы могли отнять у меня моего любимого, который приехал из далекой страны, чтобы сказать мне, что на свете существует любовь.

Я и не знала, что существует такое чувство, как любовь. Но, когда я увидела Джованни, я поняла, что любовь — это единственное, что есть на свете, все остальное ничто. В тот самый час, как я его встретила, я поняла, почему мне до сих пор было так трудно жить.

И теперь я не хочу оставаться здесь без него, я хочу пойти за ним. Я молилась Богу, и Он обещал мне, что я встречу с Джованни, и мы всегда будем вместе. Но куда Он меня поведет, Он не мог мне сказать. Я должна просто спокойно лечь спать на воду, и Он отведет меня куда надо.

Вы не должны поэтому думать, что я лишила себя жизни, я просто сделала, как мне было сказано. И я не умерла, а просто ушла, чтобы навеки соединиться с моим любимым.

Медальон я беру с собой, хотя он мне и не принадлежит, потому что так мне было сказано. Я открыла медальон и посмотрела на портрет, и мне очень захотелось уйти из этого мира.

Она просила сказать вам, что она вас простила. Сама я прощаю вас от всего сердца.

Анжелика.

Герцогиня забрала себе в голову, что это она виновата в смерти Анжелики. Она впервые, по-моему, проявила какой-то интерес к своему ребенку. Она бичует себя хуже прежнего, чтобы смыть свой грех, и совсем уж ничего не ест, и молит Распятого о прощении.

Распятый не отвечает.

Сегодня до обеда герцог послал меня в Санта Кроче с письмом для маэстро Бернардо. Я с величайшей неохотой отправился в город, где не был с того самого времени, как там начался мор. Не то чтобы я боялся заразы, но есть вещи, которые ужасно неприятно на меня действуют, я смотреть на них не могу без какого-то даже страха. Мне не зря так не хотелось идти. То, что мне пришлось увидеть, оказалось действительно ужасно. Но вместе с тем это было сильное переживание, увиденное поразило меня своей мрачной первобытностью и дало почувствовать суетность и эфемерность всего земного. Больные и умирающие устлали мой путь, а умерших подбирали монахи-могильщики в черных капюшо-

нах с пугающими прорезями для глаз. Их мрачные фигуры появлялись как из-под земли, придавая всей картине характер нереальности. Мне казалось, я путешествую по царству мертвых. Еще не заболевшие тоже отмечены были печатью смерти. Истощенные, с провалившимися глазами, брели они по улицам, напоминая выходцев с того света. С жутковатой для свежего глаза уверенностью лунатиков они обходили валявшиеся на их пути свертки, о которых часто нельзя было даже сказать, сохранилась в них жизнь или нет. Трудно представить себе что-либо более жалкое, чем эти жертвы заразы, и мне то и дело приходилось отворачиваться, чтобы меня не стошнило. Иногда на них были только остатки каких-то лохмотьев, сквозь которые виднелись отвратительнейшие нарывы, а часто и та синюшность на коже, которая означает, что конец близок. Одни пронзительными воплями давали знать, что они всей своей плотью еще принадлежат жизни, другие же лежали в беспомысленности, но вышедшие из-под их власти члены еще судорожно и бессмысленно дергались. Я впервые видел такое человеческое унижение. У иных бездонный взгляд горел безумием, и, преодолевая немощь, они бросались на тех, кто доставал для больных воду из колодцев, и вырывали из рук черпак, расплескивая воду по земле. Иные же ползли по улицам на четвереньках, как звери, добираясь до желанных колодцев, заветной цели всех этих несчастных. Эти существа уже одним своим жалким цепляньем за потерявшую всякую цену жизнь непохожи были на людей, они лишились последних остатков человеческого достоинства. О зловонии, исходившем от них, я не хочу и говорить, одна мысль о нем вызывает у меня тошноту. На площадях были разложены костры, где штабелями сжигались трупы, и в воздухе стоял их приторный запах. Над слабой дымкой, окутывавшей весь город, разносился непрерывный погребальный звон, все колокола города наперебой звонили по усопшим.

Я застал маэстро Бернардо погруженным в созерцание его Тайной Вечери, как заставал уже не раз. Он сидел, чуть наклонив свою седую голову, и показался мне постаревшим. Восседающий за трапезой Христос преломлял хлеб, оделяя им учеников. Вокруг головы у него было все то же неземное сияние. Чаша с вином ходила по кругу, а на столе была белоснежная льняная скатерть. Здесь не было ни голодающих, ни жаждущих. Но сидевший за мольбертом старик казался погруженным в мрачные раздумья.

Он ничего не ответил, когда я сказал, что у меня к нему письмо от герцога, а просто сделал мне знак, чтобы я его куда-нибудь положил. Он не хотел, чтобы его уводили из его мира. Какого мира?

Я ушел из Санта Кроче в недоумении.

На обратном пути я проходил мимо кампанилы, той самой, которая должна вознестись над всеми прочими. За время войн работы на ней, конечно, не велись, и все про нее забыли. Она так и

осталась незаконченной, верхний ряд кладки кривой и неправильный, потому что работу бросили, не доведя до конца. Она похожа на руины. Но бронзовые барельефы и основания совсем закончены и очень удались.

Все обстоит так, как я и предсказывал.

Наш замок в трауре. Стены и мебель обтянуты черной материей, все говорят полушепотом и ходят на цыпочках. Придворные дамы все как одна в черных атласных платьях, а мужчины — в черных бархатных костюмах и черных же перчатках.

Всею причиной смерть Анжелики. При жизни она никому не причиняла столько хлопот. Но у нас при дворе просто обожают скорбеть. Скорбь по дону Рикардо сменилась теперь скорбью по ней, и значит, он наконец-то по-настоящему умер. На этот раз не вспоминают, какова была покойница при жизни, потому что ничего особенного, ничего интересного в ней не было — да никто, кстати, и не знает, каковая она была. Ее просто оплакивают. Все вздыхают над несчастной судьбой юной герцогской дочери и даже над судьбой Джованни, хоть он и принадлежал к вражескому роду, самому ненавистному из всех герцогских родов. Вздыхают над их любовью, в которой никто уже больше не сомневается, и над их смертью во имя любви. Любовь и смерть — излюбленные темы людей, ведь над любовью и смертью так сладко бывает плакать, особенно же если они сливаются воедино.

Герцог, видимо, очень переживает. Так мне, по крайней мере, кажется — он очень скрытен и ни с кем не делится. Во всяком случае, со мной, а ведь, случалось, он радовал меня своим доверием. Но это бывало при совсем других обстоятельствах. Теперь такое впечатление, что он, наоборот, избегает меня. Он использует меня гораздо реже, чем бывало. Письмо к Бернардо он отдал мне не прямо в руки, а передал через одного из придворных.

Иногда мне даже кажется, что он начинает меня бояться.

Эта краснощекая деревенская девка лежит больная. Наконец-то она побледнела. Что с ней, интересно, стряслось?

Странно, но я нисколько не боюсь гуляющей вокруг заразы. У меня такое чувство, что я не заражусь, что я ей неподвержен. Почему? Да просто чувствую, и все.

Это для людей, для всех этих существ, которые меня окружают. Не для меня.

Герцогиня опускается все больше. Тяжко наблюдать этот упадок, это разрушение в ней самой и весь тот беспорядок, равнодушие и грязь, которые ее окружают. Единственное, что еще ука-

зывает на ее высокое происхождение и ее прежний нрав — это то упорство и та душевная сила, с которой она идет своим путем, никому не позволяя вмешиваться.

После того как заболела камеристка, никому не дозволяется к ней входить, и грязь в комнате неопишущая. Она ничего не берет в рот и так истощена, что мне просто непонятно, как она еще не свалилась.

Я единственный, кому разрешено ее посещать. Она клянчит и молит, чтобы я пришел и помог ей в ее несчастье и позволил исповедаться в грехах.

Я не могу успокоиться. Я только что от нее и еще полон почти пугающего ощущения власти, какую я имею иногда над людьми. Опишу мое посещение.

В первый момент, когда вошел, я, как обычно, ничего не увидел. Потом проступило более светлое, несмотря на занавеси, пятно окна, а потом я различил и ее перед распятием, бормочущую свои бесконечные молитвы. Она настолько была погружена в молитву, что не слышала, как я открыл дверь.

В комнате была такая духота, что я чуть не задохнулся. Мне стало противно. Все мне было противно. Запах, полутьма, ее съеженная фигура, ее худые, непристойно обнаженные плечи, выступающие сзади на шее сухожилия, неубранные волосы, похожие на старое сорочье гнездо, все, что когда-то достойно было любви. Меня охватила своего рода ярость. Хотя я и ненавижу людей, но в унижении их видеть не могу.

Вдруг я услышал свой собственный бешеный крик в темноте, раздавшийся прежде, чем она успела меня заметить:

— Что ты молишься! Разве я не сказал тебе, чтоб ты не смела молиться! Что мне надоели твои молитвы!

Она обернулась, не испугавшись, лишь тихонько скуля, точно побитая сука, и не отрывая от меня покорного взгляда. Подобное не умеряет гнев мужчины. Я продолжал безжалостно:

— Ты думаешь, Ему нужны твои молитвы! Думаешь, Он простит тебя, если будешь так валяться, и клянчить, и без конца исповедоваться в грехах! Не велик фокус покаяться! Думаешь, ты Его обманешь! Думаешь, Он не видит тебя насквозь!

Ты дона Рикардо любишь, а не Его! Думаешь, я не знаю! Думаешь, ты меня обманешь, проведешь своим кривляньем, своими постами, своими бичеваниями развратной плоти! Ты по любовнику своему тоскуешь, а вовсе не по этому Распятому! Ты его любишь!

Она смотрела на меня с ужасом. Бескровные губы дрожали. Потом бросилась к моим ногам и простонала:

— Это правда! Это правда! Спаси меня! Спаси меня!

Услышав ее признание, я окончательно вышел из себя.

— Развратная шлюха! — крикнул я. — Изображаешь любовь к своему Спасителю, а сама развратничаешь потихоньку с распутником из ада! Обманываешь своего Бога с тем, кого он швырнул в преисподнюю! Проклятая ты дьяволица, смотришь смиренно на Распятого и признаешься Ему в своей пылкой любви, а сама наслаждаешься мысленно в объятиях другого! И ты не понимаешь, что Он тебя ненавидит? Не понимаешь?!

— Понимаю! Понимаю! — стонала она, корчась, как раздавленный червяк, у моих ног. Мне омерзительно было смотреть, как она пресмыкается, меня это только раздражало, как ни странно, мне не доставляло ни малейшего удовольствия видеть ее такой. Она протянула ко мне руки. — Накажи меня, накажи меня, ты бич божий! — простонала она. И, нащупав на полу кнут, она протянула его мне и вся съезжилась, как собака. Я схватил его со смешанным чувством отвращения и бешенства и стал хлестать ее ненавистное тело, слыша свой собственный крик:

— Это Распятый! Тот самый, что висит тут на стене, это Он тебя бичует, кого ты столько раз целовала своими пылающими, лживыми губами и говорила, будто любишь! Знаешь ли ты, что такое любовь! Знаешь ли, чего *он* от тебя хочет!

Я пострадал за тебя, а ты об этом и не думала! Так узнай же сама, что значит страдать!

Я был совершенно вне себя, едва ли я сознавал, что делаю. Не сознавал? Как бы не так! Прекрасно сознавал! Я вершил свою месть, я выскивал за все! Я вершил правосудие! Я осуществлял свою страшную власть над людьми! Но, несмотря ни на что, я не чувствовал настоящей радости.

За все это время она ни разу даже не застонала. Наоборот, успокоилась и затихла. И когда, все было кончено, так и осталась лежать, странным образом избавленная мною от своих терзаний.

— Гореть тебе в вечных муках! И пусть пламя вечно лижет твое гнусное лоно, издевавшее мерзкий грех любви!

И, произнеся этот приговор, я ушел, оставив ее там валяться словно в полузабытьи.

Я пошел к себе. С колотящимся сердцем я поднялся в покои для карликов и запер за собой дверь.

Пока я сейчас писал, возбуждение мое улеглось, и я чувствую только бесконечную опустошенность и пресыщение. Мое сердце уже не колотится, я не чувствую ничего. Я смотрю в пустоту, и мое окаменелое лицо сурово и совершенно безрадостно.

Возможно, она и права была, сказав, что я бич божий.

Сейчас вечер все того же дня, и я сижу и смотрю на город, который расстилается далеко внизу у моих ног. Уже опускаются сумерки, колокола прекратили свой погребальный звон, и церкви и человеческие жилища все больше и больше исчезают из глаз.

Я различаю, как струйками пробирается между ними дым погребальных костров, и приторный запах поднимается сюда ко мне. Словно густая вуаль опускается на землю, и скоро станет совсем темно.

Жизнь! Для чего ей существовать, что в ней пользы, какой в ней смысл? Для чего ей продолжаться во всей ее безнадежности и полнейшей пустоте?

Я переворачиваю вниз ее факел и гашу его об землю, и наступает ночь.

Девка-служанка умерла. Ее цветущие щеки не смогли помешать ей умереть. Ее скосил своей косой мор, хотя этому долго не верили, поскольку она не мучилась так, как другие.

Фьяметта тоже умерла. Она заболела вчера утром, и через несколько часов ее не стало. Я видел ее, когда призраки-монахи пришли за ней. На нее было страшно взглянуть. Лицо вздутое и безобразное, как, видимо, и все тело. В ней не было больше ничего достойного восхищения. Отвратительный труп, и больше ничего. Они накрыли ее страшное лицо и унесли.

При дворе ужасно боятся заразы и хотят только поскорее отделиться от покойников. Но ее будут хоронить сегодня вечером с особыми почестями, таково распорядение. Какая разница, если она все равно мертвая.

Никто по ней не скорбит.

Герцог, возможно, и скорбит. Пожалуй, что так. Или же чувствует облегчение. Возможно, и то и другое.

Никому про то неизвестно, поскольку он ни с кем не говорит. Лицо у него бледное и истощенное, и он на себя непохож. Лоб под черными завитками волос весь в морщинах, и ходит он, ссутулившись. Мрачный взгляд блестит странным блеском и полон какого-то беспокойства.

Я видел его сегодня мельком. С некоторого времени я вижу его очень редко.

Я не прислуживаю ему за столом.

У герцогини я с того раза не был. Говорят, она лежит в полубытьи. Герцог часто к ней навещается, просиживает ночи напролет у ее постели — еще бы, Фьяметта-то умерла.

Странные существа эти люди. И любовь их друг к другу я никогда не научусь понимать.

Неприятель снял осаду и удалился отсюда после того, как мор стал свирепствовать и среди них. С таким противником у насмников Боккароссы нет охоты сражаться.

Итак, зараза положила войне конец. Ничто другое, разумеется, не в силах было бы это сделать. Обе страны разорены, и в особенности вражеская. И оба народа, по всей вероятности, слишком измотаны двумя войнами, чтобы продолжать. Монтанца так ничего и не добился. И очень возможно, что его солдаты принесут сразу и домой.

При дворе у нас смертей все больше и больше. Погребальное покрывало Анжелики так и осталось тут висеть и неплохо подходит к общему похоронному настроению.

Я полностью отстранен от службы при дворе. Никто меня больше не зовет, никто от меня ничего не требует. Герцог, разумеется, меньше всех. Его я вообще больше не вижу.

Я по лицам замечаю, что что-то здесь неладно. Но в чем дело, не понимаю.

Не наговорили ли про меня чего?

Я удалился в свои покои, живу здесь сам по себе. Я не спускаюсь даже обедать, у меня сохранились остатки хлеба, которыми я и питаюсь. Мне вполне достаточно, потребности мои всегда были невелики.

Одинокий, сижу я под своим низким потолком, погрузившись в размышления.

Мне все больше и больше нравится это никем не нарушаемое одиночество.

* * *

Я уже очень давно ничего не записывал. Это связано с событиями, которые неожиданно вторглись в мою жизнь и помешали мне продолжать записи. У меня даже и доступа к ним не было. Я только теперь их сюда заполучил.

Я сижу прикованный к стене в одном из подземелий замка. До совсем недавнего времени у меня и руки были закованы, хоть и без всякой надобности, поскольку убежать я все равно бы не смог. Теперь мне их, наконец, расковали — не знаю уж почему, я этого не просил, я вообще ничего не просил. Так стало чуточку удобней, хотя в общем-то ничего не переменялось. Тогда, я и уговорил Ансельмо, моего тюремщика, принести мне из покоев для карликов мои письменные принадлежности и мои записки, чтоб поразвлечься ими иногда. Взявшись принести их, он, возможно, подвергал себя некоторой опасности, потому что, хоть они и расковали мне руки, но вряд ли согласились бы доставить это маленькое удовольствие, и он, как он сам сказал, не имеет права мне ничего разрешать, как бы ему ни хотелось. Но он услужливый и

бесхитрый парень, и в конце концов мне удалось его уговорить.

Я перечитал свои записки с самого начала и получил известное удовольствие, как бы пережив заново свою собственную жизнь и жизнь многих других и еще раз поразмыслив на досуге обо всем. Я попытаюсь теперь продолжить с того места, на котором остановился, чтобы внести хоть чуточку разнообразия в свое истинно однообразное существование.

Я, честно говоря, даже и не знаю, сколько я здесь просидел. Мое тюремное существование настолько лишено всяких событий, один день настолько похож на другой, что я перестал отсчитывать время и вовсе не слежу за его ходом. Но обстоятельства, при которых меня препроводили в эту дыру и приковали к этой стене, я помню совершенно отчетливо.

Однажды утром, когда я сидел спокойно у себя в камерке, в дверях вдруг появился один из подручных палача и велел мне следовать за ним. Объяснения он мне никакого не дал, а я не стал ничего спрашивать, поскольку считал ниже своего достоинства первым с ним заговаривать. Он привел меня в застенок, где уже сидел палач, огромный, краснолицый и до пояса голый. Был там и писец, и после того как мне показали орудия пыток, он призвал меня чистосердечно рассказать о том, что происходило во время моих посещений герцогини и почему она теперь в столь плачевном состоянии. Я, естественно, отказался. Он дважды призвал меня признаться, но все напрасно. Тогда палач схватил меня и положил на скамью пыток, собираясь пытать. Оказалось, однако, что скамья не приспособлена для туловища таких размеров, как мое, и мне пришлось слезть и ждать, пока они ее переделают, чтобы годилась для карлика. Я вынужден был выслушивать их пошлости и грубые шуточки и уверения, что они уж сумеют сделать из меня длинного и рослого парня. Потом меня снова втащили на скамью и стали мучить самым жестоким образом. Несмотря на боль, я не издал ни звука и только насмешливо смотрел на этих людей, занимавшихся своим презренным ремеслом. Законник стоял, склонившись надо мной, чтобы выслушать мои признания, но ни единого слова не сорвалось с моих губ. Я ее не выдал. Я не хотел, чтобы узнали про ее унижение.

Почему я так поступил? Не знаю. Но у меня и мысли не возникло признаться в чем-нибудь для нее унижительном, я готов был лучше вытерпеть что угодно. Сжав зубы, я терпел пытки ради этой ненавистной мне женщины. Почему? Возможно, мне нравилось страдать за нее.

Наконец им пришлось отступить, и, изрыгая страшные ругательства, они развязали веревки. Меня отвели в подземелье и заковали в те самые наручники, которые были изготовлены, когда я причастил Святых Тайн мой угнетенный народ, и которые, следовательно, были мне как раз впору. Та тюрьма была более госте-

приятна, чем эта. Через несколько дней меня снова взяли, и я снова прошел через те же муки. Но и на этот раз все было напрасно. Не было силы, которая могла бы заставить меня заговорить. Я по-прежнему храню ее тайну в своем сердце.

Через некоторое время я предстал перед своего рода судом, где узнал, что обвиняюсь во всех мыслимых преступлениях и, между прочим, в смерти герцогини. Я не знал, что она умерла, но я уверен, что мое лицо не выдавало, что я почувствовал при этом извещении. Она умерла, так и не очнувшись от полузабытья.

Меня спросили, имею ли я что привести в свою защиту. Я не удостоил их ни единым словом. Тогда объявили приговор. За все мои злодеяния, ставшие причиной стольких несчастий, я приговаривался к тому, чтобы быть прикованным к стене в самом темном подземелье замка и оставаться прикованным так навечно. Я был ядовитой змеей и злым духом Его Светлости герцога и по всемирнейшему повелению Его Светлости должен быть навсегда обезврежен.

Я выслушал приговор совершенно невозмутимо, и мое древнее лицо карлика выражало лишь насмешку и презрение к ним, и я заметил, что они смотрели на меня со страхом. Меня увели, и с тех пор я не видел ни одного из этих презренных существ, за исключением Ансельмо, который настолько примитивен, что я не даю себе труда даже презирать его.

Ядовитая змея!

Верно, я подмешал яду, но кто приказал мне это сделать? Верно, я уготовил дону Рикардо смерть, но кто пожелал его смерти? Верно, я бичевал герцогиню, но кто просил и молил меня это сделать?

Люди слишком слабые и возвышенные создания, чтобы собственными руками лепить свою судьбу.

Казалось бы, за все перечисленные ужасные преступления меня должны были приговорить к смерти. Но только близорукий или тот, кто не знает моего высокого повелителя, может удивляться, что приговор не таков. Я слишком хорошо его изучил, чтобы опасаться чего-либо подобного. Да у него, в сущности, и нет надо мной такой власти.

Власть надо мной! Какое имеет значение, что я сижу в этой дыре! Что пользы заковывать меня в цепи! Я все равно неотделим от замка! Они сами доказали это, приковав меня к нему! Я прикован к нему, а он ко мне! Нет, нам не избавиться друг от друга — моему господину и мне! Я в тюрьме, так и герцог в тюрьме! Я с ним связан, так и он со мной связан!

Я живу в этой своей норе, живу своей невидимой кротовьей жизнью, в то время как он свободно разгуливает по своим роскошным залам. Но моя жизнь — и *его* жизнь. А его великолепная и высокочтимая жизнь является, по сути, и *моей* жизнью.

Мне потребовался не один день, чтобы записать все это. Я могу писать только в те короткие минуты, когда луч солнца из узкого окошечка падает на бумагу, тут мне надо не упустить момент. Меньше чем за час он перемещается на пол, куда меня не пускает за ним моя цепь. Мои движения очень ограничены. Поэтому много времени уходило и на то, чтобы перечитать написанное, да оно и к лучшему, поскольку развлечение тем самым пролевалось.

Весь остальной день я сижу, как сидел до того, и мне совершенно нечем себя занять. Уже с трех часов начинает темнеть, и большую часть суток мне приходится проводить в полнейшей темноте. С темнотой появляются крысы и начинают шнырять вокруг, поблескивая алчными глазками. Я тотчас их замечаю, поскольку вижу в темноте не хуже их, и все больше и больше превращаюсь в некое подобное им подземное существо. Я ненавижу этих уродливых и грязных тварей и охочусь за ними, сидя неподвижно и подпуская поближе, а потом затаптывая ногами. Это одно из пока еще доступных мне проявлений жизни. Наутро я приказываю Ансельмо выкинуть их вон. Не понимаю, откуда они берутся. Видимо, пролезают через неплотно закрывающуюся дверь.

Стены сочатся сыростью, и в подземелье стоит промозглый, затхлый дух, который мучает меня, быть может, больше всего, потому что к таким вещам я необычайно чувствителен. Пол земляной, плотно утопанный узниками, что томились здесь до меня. Они, видно, не были прикованы к стене, как я, во всяком случае, не все, потому что пол с виду как каменный. Ночью я сплю на охапке соломы — как она. Но солома у меня не грязная и вонючая, как у нее, поскольку я велю Ансельмо менять ее каждую неделю. Я не кающийся грешник. Я свободный человек. Я не занимаюсь самоуничижением.

Таково мое существование в этой тюремной дыре. С окаменелым лицом сижу я здесь и предаюсь размышлениям о жизни и людях, точно так, как и всегда, и ни в чем не меняюсь.

Если они думают, что сумеют меня сломить, они ошибаются!

Какую-то связь с внешним миром я все же поддерживаю через моего добродушного тюремщика. Принося мне пищу, он рассказывает мне в своей бесхитростной манере о том, что происходит наверху, по-своему истолковывая события. Его очень интересует все, что делается на свете, и он любит выкладывать свои соображения на этот счет, стоящие ему немалых усилий мысли. В его изложении все выглядит страшно примитивно, и больше всего его волнует, что может думать по тому или иному поводу господь-бог, но при моей искушенности в делах этого мира мне все же удается составить себе хотя бы приблизительное представление

о происходящих наверху событиях. Таким образом я постепенно узнал обо всем касательно последних дней и смерти герцогини, и обо многом другом, что случилось со времени моего заточения. Герцог целыми днями преданно просиживал у ее постели, наблюдая, как лицо у нее делается все более и более прозрачным и, как говорили при дворе, необычайно одухотворенным. Она стала красивая, как сама мадонна, утверждал Ансельмо, будто он сам ее видел. Я-то, видевший ее собственными глазами, знаю, какой она была в действительности. Но я очень даже верю, что он просиживал там дни и ночи и полностью посвятил себя супруге, которая его покидала. Возможно, он заново переживал их юную любовь, хоть делать ему это приходилось одному, поскольку она уже отрешилась от всего земного. Он, конечно, видел в этой ее отрешенности, этом ее неземном облике ужасно много трогательного — ведь я его знаю. Вместе с тем он был, возможно, и смущен ее непонятным превращением, которое не имело к нему никакого отношения, и искренне хотел вернуть ее к жизни. Но она незаметно и без всякого объяснения ускользала от него, что, вероятно, усиливало его любовь, ведь так оно всегда бывает.

Будучи в таком настроении, он и подверг меня пыткам и заточению. Он любил ее за то, что она так недоступна, за это самое он и заставил меня страдать. Меня это не удивляет, меня ведь ничем не удивишь.

Бернардо и многие другие тоже ее навещали. Старый маэстро сказал будто бы, что лицо ее совершенно удивительно и что он начинает теперь понимать его. И понимать, отчего не удался ее портрет. Еще неизвестно, действительно ли он тогда не удался, хоть она и стала теперь непохожа на него. Подумал бы, что говорит.

Потом на сцену выступили святые отцы. Я представляю, как они шмыгали там взад-вперед. Они заявили, что ее вступление в вечную жизнь — прекрасное и возвышающее душу зрелище. И духовник, конечно, явился и рассказывал всякому встречному, как она была безгрешна. Когда она уже отходила, архиепископ собственноручно причастил и соборовал ее, и в комнате было полным-полно прелатов и других духовных лиц всех степеней и рангов. Но умирала она все же в полном одиночестве, не подозревая, что есть кто-то рядом.

После ее смерти нашли какую-то ее записку, написанную на грязном, смятом клочке бумаги, в которой говорилось, что она хочет, чтобы ее презренное тело было сожжено, как сжигаются тела зачумленных, а прах развеян по улицам, чтобы все его топтали. Слова эти сочтены были безумными, и никто не позаботился исполнить ее последнюю волю, хотя высказана она была вполне серьезно. Вместо того выбрали золотую середину, труп ее набальзамировали, но положили его в простой железный гроб, который так и понесли потом неукрашенный по улицам к герцогской усы-

пальнице в соборе. За процессией, настолько скромной, насколько это позволяло герцогское звание усопшей, следовал затаив дыхание простой черный бедный люд, еще оставшиеся в живых несчастные скелеты, и Ансельмо описывал это мрачное шествие через зачумленный город, как необыкновенное, разрывающее душу зрелище. Возможно, так оно и было.

Теперь люди, конечно, вообразили, что им все про нее известно, и стали обращаться с ней как со своей законной собственностью, переименовав услышанное на свой лад и на обычный в таких случаях манер. Их фантазию подстегнуло, разумеется, зрелище бедного уродливого железного гроба рядом с пышными герцогскими гробами из серебра в богато отделанной мрамором усыпальнице. Поскольку она в нем лежала, они как бы отождествляли ее с ним. А ее посты и бичевания, про которые камеристка всем успела разболтать, сделали из нее избранницу, которая страдала больше других, потому что, несмотря на свое унижение, она была все же знатной особой — это все равно как Иисус страдал больше всех, потому что был сыном бога, хотя ведь далеко не он один был распят, а некоторые даже и головами вниз, и истязали их и мучили гораздо больше, чем его. Она превратилась постепенно чуть ли не в святую, отвергавшую и презиравшую эту жизнь до такой степени, что собственноручно замучила свою плоть до смерти. И, не заботясь о правде, они не успокоились до тех пор, пока не довели творение своей фантазии до того вида, как им было желательно. И без чуда, конечно, тоже не обошлось! Ансельмо, во всяком случае, твердо уверовал в чудо. Он утверждал, что по ночам вокруг ее гроба появляется сияние. Возможно. Поскольку собор в это время суток на запоре, никто не может тут с полным правом сказать ни да, ни нет. А когда верующему человеку приходится выбирать между тем, что неправда, и тем, что правда, он всегда выберет первое. Ложь гораздо больше говорит чувству и гораздо необычнее правды, и потому он всегда предпочтет ее.

Слушая его рассказы, я подумал про себя, что ведь это я сам, своими руками сотворил для нее неумышленно нимб святой, или, во всяком случае, немало способствовал яркости его сияния. И за то, что я это сделал, сижу сейчас, прикованный цепями к стене. Они-то, разумеется, ничего про это не знают, а если б и узнали, как я ее мучил, все равно, я убежден, ничего бы не поняли. Да я и сам не подозревал, к чему это приведет. Но меня, конечно, немало удивляет, что такой далекий от святости человек, как я, был избран орудием в подобном деле.

В свое время — не помню уж, когда это было, — Ансельмо рассказал мне о том, что Бернардо пишет Мадонну, придавая ей сходство с герцогиней. Герцог и весь двор с увлечением следили за его работой и очень были счастливы. Старый маэстро заявил, что он хочет попытаться передать ее внутреннюю сущность

и все то, что он лишь предугадывал, пока не увидел ее на смертном ложе. Не знаю, насколько ему это удалось, мне уж не увидеть, но, если верить Ансельмо, все в один голос утверждают, что получился шедевр — впрочем, что бы он ни сделал, все называют шедевром. Работал он очень долго, но наконец закончил. Его Тайная Вечеря с раздающим хлеб Христом все еще не закончена и так, наверное, и останется, но эту свою вещь он докончил. Наверное, оно и легче. Ее повесили в соборе, в левом приделе, и Ансельмо, после того как ее увидел, восторгался как ребенок. Он описал мне ее в наивных выражениях и сказал, что все считают, что такой Мадонны никто еще никогда не создавал, такой милосердной и прекрасной Божьей матери. Особенно все восторгались ее таинственной, загадочной улыбкой. Всех она очень растрогала, все говорили, какая она удивительно одухотворенная, и необъяснимая, и неземная. Я понял, что эту улыбку живописец взял с ее прежнего портрета, того самого, где она походила на шлюху.

Нелегко было составить себе представление о произведении искусства на основании рассказов такого примитивного парня, как Ансельмо, но, насколько я понял, маэстро действительно удалось тронуть сердца набожных людей. Хотя сам он едва ли верует в Божью мать, ему удалось вдохнуть в созданный им образ истинное религиозное чувство, наполнить его истинным религиозным содержанием и заставить зрителя замереть перед ним в волнении. Народ хлынул к новой богородице, и скоро к ней уже стали приходить со свечами и преклонять перед ней колена. Коленопреклоненных там стало больше, чем у любого другого алтаря, а свечек перед портретом усопшей герцогини горело столько, что они первыми бросались в глаза, стоило только войти в собор. Особенно много там собиралось бедных, помолиться и обрести утешение в своем горе, все те несчастные и угнетенные, которых столько развелось в нынешние трудные времена. Она стала их излюбленной Мадонной-заступницей, которая терпеливо выслушивала их жалобы и отпускала с миром, утешенных и ободренных, хотя, насколько мне известно, она никогда не интересовалась бедными. Бернардо, выходит, как и я, пробудил в народе своим искусством глубокие и искренние религиозные чувства.

Я до сих пор все размышляю над этой историей. Кто бы мог подумать, что эта женщина будет висеть в соборе доброй Мадонной-утешительницей и станет предметом любви и обожания черни. Что она, непорочная и неземная, будет взирать на всех с высоты в сиянии бесчисленных свечей, пожертвованных ей за ее непорочность и доброту. А в замке висит другой ее портрет, который герцог велел вставить в раму и прибить на стену, хотя маэстро Бернардо им и недоволен, тот самый, на котором она выглядит шлюхой. И оба изображения, несмотря на всю свою несхожесть, возможно, правдивы каждое по-своему, и у обоих одинаковая, от-

сутствующая улыбка, та самая, которую коленапреклоненные в соборе называют неземной.

Люди любят отражаться в мутном зеркале.

Теперь, когда я описал все это, то есть все, что произошло со времени моего заточения, я нахожу, что писать мне в общем-то больше не о чем. Ансельмо, правда, продолжал передавать мне разные случаи в городе и при дворе, но ничего особенного там не случилось. Мор прекратился, унеся с собой немалую часть населения, исчез сам собой, как и появился, случаев болезни становилось все меньше и меньше, пока все не кончилось. Жизнь постепенно вошла в свое обычное, проторенное русло, и город, несмотря на все пережитое, приобрел постепенно прежний вид. Крестьяне вернулись к своим сгоревшим дворам и отстроили их заново, и страна постепенно оправилась и собралась с силами, хотя еще и очень бедна. Долги от войны остались огромные, и государственная казна пуста, и поэтому население, как подробно объяснял мне Ансельмо, обременено большими налогами. Но, что ни говори, а мир есть мир, как он выразился, и уж как-нибудь выкарабкаемся, все образуется. Народ не унывает, сказал он, и все его простецкое лицо засияло от удовольствия.

Он развлекает меня своей бесконечной болтовней, и я его слушаю, потому что говорить мне больше не с кем, хотя болтовня его порой очень утомительна. Не так давно он пришел и объявил мне, что большой долг Венеции наконец выплачен и страна избавилась от тяжелого бремени. Виден какой-то просвет, и времена после тяжелых испытаний меняются к лучшему, по всему заметно, сказал он. Начали даже вновь строить кампанилу, которая столько лет стояла заброшенная, и надеются скоро достроить. Я упоминаю об этом, хотя и не знаю, стоит ли такое записывать.

Ничего особенно интересного уже не происходит.

Я сижу в своем подземелье, дожидаясь, как мне кажется, целую вечность солнечного луча, а когда он наконец появляется, мне нечего доверить бумаге, которую он освещает. Перо мое бездействует, а мне лень даже пошевелить рукой.

Мне все больше и больше наскучивают мои записи, потому что мое существование исключает какие бы то ни было события.

Завтра должно состояться торжественное освящение кампанилы, и в первый раз на ней зазвонят колокола. Они отлиты частично из серебра, которое приобрели за счет народных пожертвований. По общему мнению, звук от этого получится красивее.

Герцог и весь двор будут, разумеется, присутствовать при освящении.

Освящение состоялось, и Ансельмо нарасказал мне о нем всякой всячины, услышанной им от очевидцев. Это было, утверждает он, удивительное и незабываемое событие, в котором приняло участие чуть не все население. Герцог прошел по улицам города во главе всего своего двора, и на улицах собралось множество народу, потому что все хотели посмотреть на повелителя и принять участие в торжественном событии. Он был очень серьезен, но опять такой же стройный и гибкий, совсем как прежде, и, видно, очень радовался великому дню. И он и вся его свита были одеты в роскошные одежды. Когда он подошел к собору, то прежде всего вошел внутрь и преклонил колена у гроба герцогини, а потом у алтаря, где висит ее изображение, и все остальные тоже опустились на колени. Помолвившись, они снова вышли на соборную площадь, и тут начали звонить колокола на кампаниле. Это было так прекрасно, что все замерли на месте и в молчании слушали чудесный звон, который раздавался, казалось, из самого поднебесья. Он разносился по всему городу, и все чувствовали себя счастливыми, слушая его. Весь простой люд собрался на площади вокруг герцога, и все говорили, что это самая счастливая минута в их жизни. Так рассказывал Ансельмо.

Сам он, к великому своему огорчению, не смог присутствовать, потому что как раз в это время ему надо было кормить узников, и он довольствовался тем, что слушал доносившийся с площади колокольный звон. Когда раздался первый удар, он ворвался ко мне и сообщил, что началось. Он был так взволнован, что даже открыл дверь, чтобы и я послушал. Мне кажется, у этого доброго парня даже слезы на глазах выступили, и он объявил, что таких колоколов не слышало еще ни одно человеческое ухо. На самом деле колокола были как колокола, ничего особенного. Я был рад, когда он закрыл наконец дверь и оставил меня в покое.

Я сижу здесь в своих оковах, и дни идут, и никогда ничего не случается. Жизнь у меня пустая и безрадостная, но я не жалею. Я жду других времен, и они, наверное, наступят, не могли же, в самом деле, засадить меня сюда навечно. У меня еще будет возможность продолжить мою хронику при свете дня, как когда-то, и я еще понадоблюсь. Если я правильно понимаю моего господина, он не сможет долго обходиться без своего карлика. Нет, я не унываю. Я думаю о том дне, когда ко мне придут и снимут оковы, потому что герцог придет за мной.



Во дни земной жизни великого царя Ирода равного ему могуществом не было в целом свете. Так думал он сам. И, быть может, не ошибался. Но был он все-го-навсего человек, один из тех, кто населяет землю и чей род преидет, не оставя следа, не оставя по себе воспоминанья. Но отвлечемся от этих мыслей и расскажем о его судьбе.

Он был царь иудейский, и народ не любил его. Частью за жестокость, частью же из-за того, что был он идумей и потому обрезан не по правилам; лишь часть крайней плоти удалялась у младенцев мужского пола по обычаю идумеев. Несчетные злодеяния множили ненависть к нему народа, и все желали его смерти, покуда он жил. И однако он воздвиг храм господу, великолепием превзошедший сам храм Соломонов. Народ этому дивился, но, хотя никто не мог отрицать красоту несравненной постройки, ненависть к царю

не уменьшалась. Его считали богопротивнейшим и страшнейшим из людей, врагом рода человеческого, и он наполнял сердца отвращением, тоской и ужасом. Таков был общий о нем приговор. Приговор справедливый и истинный.

И он любил Мариамну.

Хоть родился он в Иерусалиме, истинной родиной его была пустыня, земля его отцов, обозначившая их душу. Пустыня жила в нем, и он часто ощущал ее зов и страшную пустоту. Но жила в нем и дикая, радостная жадность к жизни, унаследованная от предков, страсть к убийству и страстная боязнь смерти.

И сердце его радовалось насилию, крови, битве, взмыленным коням, топчущим трупы врагов, оно радовалось бегущим и раненым, и пленницам во власти его солдат, всему, что влечет за собой выигранная война, радовалось его сердце — победам, золоту, власти. Но и поражения — а случались у него и поражения — наполняли его весельем, ибо ненависть к врагам, скрываемая от всех, кипела в его груди и ждала случая излиться в страшной местности, в новой битве. Зато неудачи с женщинами гасили в нем необузданную жажду жизни, и после них он ощущал сосущую пустоту в груди, о которой уже говорилось, страшную пустоту одинокой души сына пустыни.

Он был высок ростом, грузен, черты грубы и никто, пожалуй, не назвал бы его красавцем, но тот, кто видел его однажды, не мог его позабыть. И уж, во всяком случае, никто не мог позабыть его взгляда, хоть редко кому удавалось его вынести, не потупляя глаз. Взгляд этот был опасно испытующий, он судил людей и судил немилостиво. Глаза были темные, в светлых прожилках, иногда их сравнивали с глазами льва, однако у льва глаза вовсе не такие, они гораздо светлей. Кожа на его лице была желта, даже губы тронуты желтизной, а это цвет нездоровый, прочее же в нем все говорило о здоровье и силе. Иные думали, что желт он оттого, что его точит болезнь и он скоро умрет. Но они ошибались.

В поступи его не было явного порока, но ступал он на правую ногу всегда тяжелей, чем на левую. Сам он об этом едва ли догадывался, но другие замечали, и вся стать его казалась от этого еще тяжелей и страшней, особенно если смотреть со спины, когда он удалялся, оборвав беседу. Но, может быть, дело тут не в поступи, ибо беседу он обрывал чаще всего в гневе, и его внезапный уход никому не сулил добра.

Роковой могла оказаться всякая встреча с ним. И блажен тот, кого не призывал он к себе и кто мог не попадаться ему на дороге.

Кровавый путь привел его к престолу, священному престолу Давида и Соломона, и, едва завладев им, он тотчас принялся мстить всем тем, кто пытался препятствовать его воцарению. Он не забыл, что злодейства его некогда поставили его перед Верховным судилищем, перед синедрионом, и он не забыл, кто избличал его. И ни один не уцелел, хоть все это были пастыри и старейшины страны. Священнослужителей он презирал и открыто смеялся над ними и над богом, которому они поклонялись в старом, обветшалом храме, особенно чтимом ими за то, что он такой старый, где в самой постройке и в службе все оставалось извечно, без перемен. И все прочие, умышлявшие против него или подозреваемые в умысле, пали жертвой кровавой резни, которую он учинил, как только завладел властью. А еще через несколько лет он с помощью римлян осадил Иерусалим, собственную непокорную столицу, и, когда город пал, допустил поганых язычников грабить и убивать, так что улицы усеялись телами и в самом святилище лежали мертвые. Не удивительно поэтому, что народ ненавидел его и считал чудовищем в образе человека.

Но как же случилось, что такой человек немного лет спустя задумал возвести храм богу, в которого он не верил? Великолепный храм, не знавший себе подобных.

Как же это случилось? Где причина?

Все, кто видел, как постепенно воздвигается храм — как и те, кто и сейчас еще удостаивает мыслью иродову судьбу и поприще — считали, что делает он это из высокомерия и суетности, чтобы затмить славу Соломона, на чей трон он взошел неправдой, чтобы превзойти блеском даже сам знаменитый храм в Риме, чтобы восславить имя свое, себе самому он поставил храм, чтобы слава его не меркла от века и до века, чтобы обрести бессмертье.

Иных причин не существовало. Его беспримерное честолюбие не знало границ. И конечно только ради честолюбивых помыслов он задумал возведение храма. Если б его спросили, он не стал бы ничего отрицать и даже подивился бы вопросу.

Он со вниманием следил за строительством, во все входил придирчиво и тщательно и нередко подолгу любовался своим детищем, своим трудом, самим собой.

И часто, когда не шел сон, он покидал дворец и отправлялся к месту постройки. В этот час там не было ни души и он стоял совершенно один. Один в своем храме.

И тяжелой поступью обходил храм в темноте ночи.

И, оставив его, на пути во дворец он часто останавливался и глядел в звездное небо, подставляя блестящим звездным копьям свою пустынную душу, о которой он не знал ничего.

Ибо он был человек действия, устремленный вовне, озабоченный внешним. Он никогда не разбирался в себе. Он просто был таким, каким родился на свет.

Полные подозрения, смотрели иудеи, как возводит храм великий грешник, виновный в стольких кровавых делах, а к тому же не подлинный иудей и обрезанный не по правилам. Их возмущало, что он посмел строить дом господу. И как только господь до этого допустил?

Конечно, храм вырастет прекрасный и великолепный, стены его из мрамора, дивного камня, вывозимого издалека, из чужой страны, и он будет разубран золотом и серебром, и медью, и бесценной коринфской бронзой. Но пожелает ли господь поселиться в таком доме? Нужен ли ему такой дом? Не покажется ли ему все это великолепие мерзостью?

Не лучше ли ему было бы, чтоб на постройку храма наломали камней из окружающих гор, из гор вблизи его собственного города? Не лучше ли так было бы для господа?

Его волю узнать нелегко. Но судя по всему, так было бы для него лучше.

И вовсе ему не нужна вся эта пышность изнутри и снаружи, все это богатство и украшения, ему нужно место под стать старому храму, под стать ему самому.

Никто не мог знать этого точно. Никто никогда не знает точно желаний бога.

Но первосвященник, всех ближе к нему стоявший, считал, что, несмотря на неслыханную роскошь и красоту нового здания, господь, как и слуги его, хотел бы, чтобы все оставалось по-старому.

И однако же бог не сокрушил храмовых стен, как непременно сделал бы, если б затея Ирода оказалась ему вовсе не удобной. И возможно, объяснялось это тем, что старый храм не был снесен в одночасье, но заменялся новым исподволь, по частям, и то же касалось внутреннего убранства, так что богослуженье не прерывалось, хоть, конечно, ему мешал шум работ, а ничего так не боялись народ и священнослужители, как препятствий к службе, ибо ничего нет насущней, чем ежедневная служба господу.

И надо признать, что об этом позаботился сам Ирод, приказавший так вести постройку. Не странная ли забота для такого злодея и святотатца?

Но общее мнение о нем из-за этого не переменялось, да и не было причин менять его. Ибо он оставался прежним, и в Иерусалиме и в окрестных селеньях по-прежнему сеяли ужас его наемники. Были они больше пришлые люди и не ставили ни во что местных жителей, богохранимый народ. Это с их помощью удерживал Ирод власть и трон. Они чтили его, потому что он давал им волю грабить и убивать, и, справляясь с его врагами или с теми, кого только подозревали в крамоле, они завладевали чужим именем. Они были такие же, как их хозяин, и потому преда ны ему как псы.

Это знали все, и кровавый туман окружал имя Ирода и его тяжелый облик, и хоть редко кто его видел, присутствие его ощу-

шалось всеми, находился ли он у себя во дворце или в дальнем пределе царства, где того и гляди ждали беды.

Немногих допускали во дворец и немногие знали о том, что там делается. Но шли слухи, что во дворце ведут распутную жизнь и предаются оргиям, блуду и неведомым мерзким порокам с женщинами из неведомых, языческих стран. И порочнее всех сам царь.

И оно не удивительно — жители Иерусалима переговаривались об этом шепотом, потому что царь повсюду засылал соглядатаев, — оно не удивительно, ведь земля его предков родина порока, там прежде стояли Содом и Гоморра, которые Господь обратил в пустыню.

Правда, все это больше были догадки. А верно то, что был он груб и жесток в любви. Он презирал женщин, и презренья были полны его ласки. Как всякий восточный владыка, наложниц он имел без числа, и приближенные поставляли ему все новых с тем, чтоб забрать их себе, когда он ими наскучит. И ждать им приходилось недолго. Тотчас после утех царя томило отвращение. Иногда случалось и ему некоторое время удерживать подле себя одну и ту же женщину. Тогда приближенные дивились и менялось все во дворце. Но он никого не любил. И никто не любил его.

Порочная жизнь. Но, пожалуй, народ был не совсем прав в своем приговоре. Пожалуй, самый тяжкий грех заключался в том, что жизнь эта текла так безрадостно. До чего же пуста должна быть жизнь, когда и сама любовь не дает веселия сердцу.

Правда, и в жестокости можно найти уладу.

И шла постройка храма, и шла жизнь во дворце, грешная жизнь, порождавшая неверные слухи в народе. И те же были одинокие ночные прогулки царя к храму, собственному его храму.

И все те же стояли звездные ночи над святой землей, которая сделалась его царством.

Но он подолгу отлучался из столицы, пускаясь со своими людьми в кровавые набеги, избивая врагов или тех, кого воображал врагами, умышлявшими лишить его власти. Эта кочевая жизнь в седле больше всего ему подходила. Такую жизнь вели его отцы в пустынных краях юга, нападая на Иудею и грабя караваны ескупцов. Они вели глухую, суровую жизнь, и он ощущал их дикую кровь в своих жилах и дикую радость жизни. Подлинной жизни, жизни отцов, обозначившей его душу.

А его подданные говорили:

— Он сын пустыни. Потому-то нам и приходится так много терпеть.

Он стоял на дороге к Дамаску, за городскими воротами, и она прошла мимо. Ничего не случилось, и однако это мгновение было так непохоже на мгновение до этого, что все разом стало другим — солнце, поле, низкая трава на поле, цветы на нем, цветы в короткой траве. И что за цветы, никогда он их прежде не видел. Траву обвели овечьи стада, а цветов не тронули. Они всегда тут росли, но никогда б он их не заметил, не пройди она мимо.

Он видел ее всего мгновение, но такого мгновения никогда еще не было в его жизни. Он даже не понял, что с ним случилось, только знал, что это что-то небывалое, странное, и этого нельзя объяснить. А она ушла. Ее уже не было.

И он прикрыл глаза ладонью, чтоб не забыть увиденного, чтоб ни на что другое не смотреть.

Движение это прежде было ему незнакомо. Так он и стоял на дороге, прикрыв глаза ладонью, люди, верно, не понимали, думали, что он заслонился от солнца. Он не заслонился от солнца. Все нет.

Однако надо рассказать о том, что он увидел, что на самом деле так тронуло его сердце, что так пленило его.

Прошедшая мимо была молода, почти девочка, и светловолоса, что редко среди дочерей иерусалимских. По обычаю знати она была в греческой одежде и на голову ее, на светлые волосы наброшено белое полотняное покрывало. Странно, но красоты ее он почти не заметил, хоть при взгляде на других всегда сначала отмечал красоту. Красота ее словно была для него неважна. Позже он понял и объяснил себе это. Красота ее была самоочевидна и неважна, потому что все в ней было выше красоты. Легко, как птицу, несли ее ноги в легких сандалиях, охваченные по лодыжкам серебряными браслетами. Она словно плыла по воздуху.

Вот что он увидел. Но он почти ничего не разглядел подробно, так захватило его чувство, вызванное увиденным. Вспомним, каков он был и как непохоже было увиденное на него самого, и как мало он привык думать о чем-то, кроме самого себя.

Отчего с ним случилось такое?

И отчего он оказался здесь, именно здесь, и именно в ту минуту, когда она проходила мимо? Чистый случай. Чистый случай привел его к Дамасским воротам. Он сам не знал, зачем сюда пришел, у него не было для этого особой надобности. Но не в его обычае было отпрапляться куда-то без надобности.

Отчего же с ним это случилось? И что с ним такое случилось?

Он не мог понять.

Медленно отнял он ладонь от глаз и увидел людей, проходивших мимо него в ворота и из ворот, чужих людей, совершенно чужих.

В рассеянии он тоже приблизился к воротам и вошел в город.

Он пытался разузнать, кто она. Но это оказалось непросто. Ибо он не хотел открываться, не хотел выдавать, зачем ему это понадобилось. И он не хотел ее описывать, потому что бросать запечатлевшийся в нем облик своре предателей и шпионов, окружавших его, казалось ему бесстыдством. Они знали почти всех в Иерусалиме, кроме бедноты, а ведь к бедноте она не принадлежала. Но ему претила мысль им довериться, смешать ее с ними. Да и в его ли силах точно передать то, что он увидел, верно ее описать?

И потому время шло, а он так и не знал, кого встретил.

Много раз отправлялся он к Дамасским воротам в тот же самый час, стоял и ждал, не пройдет ли она мимо.

Она все не шла.

И он уже решил, что больше ее не увидит.

Но благодаря странному случаю он узнал, кто она такая. Узнал, что в Иерусалиме она недавно, живет у близкой родни и мало с кем свела знакомство.

И она из рода маккавеев, чью силу он старался подавить, предавая их лучших сынов смерти. Она из самых знатных маккавеев.

Один из ее родни, мальчик всего лет двенадцати или тринадцати, мстя за беды, причиненные его роду, пытался убить дворцового стражника. Его схватили и бросили в темницу, чтоб потом на досуге известным им способом выведать у него ценные сведения.

Это и было причиной тому, что на другой день, к великому своему удивлению, Ирод увидел перед собой ту самую девушку, так же легко скользящую и даже в той же одежде.

Он схватился за спинку кресла так, что у него побелели суставы, но, впрочем, сумел овладеть собой.

Она пришла просить за мальчика, он доводится ей родней, он так молод, почти дитя, и, конечно, не отдавал себе отчета в своем поступке.

Не дерзко ли такого, как он, просить о милости? Она стояла перед ним, хрупкая и маленькая, и оттого ее смелость казалась еще удивительней.

Так он ей и сказал.

Она даже не поняла. Что же тут необычного, ведь пришла она с самой насущной просьбой и на что тут нужна смелость? И чего ей бояться?

Последние ее слова странно его тронули. Ничего подобного ему никогда еще не приходилось слышать.

Наконец кому-то он не внушает ужаса... Он смотрел на нее. На открытое лицо с тонкой и белой, бледней, чем у других, кожей.

Но глаза ее и ресницы были темны, и темен и странно нежен был ее взор.

Теперь он увидел, как она прекрасна, лишь теперь он это заметил.

Рот полный и чуть припухлый, губы розовы и не накрашены, как у женщин во дворце и у многих городских матрон.

Из этих-то уст, из ее собственных уст услышал он, кто она такая. Ни мгновения не таясь, она рассказала, что происходит, как и тот мальчик, из рода Маккавеев, и он увидел, что она горда этим, ведь они тоже некогда были цари.

Он снова подумал, откуда в ней столько смелости? Не самая ли хрупкость придает ей смелость и силу?

Он смотрел ей в глаза, стыдясь своего взгляда, потому что он знал, как трудно его вынести. Но она не потупляла своих глаз. Она смотрела на него прямо и просто, без тени робости или смущенья.

— Приведите мальчика, — приказал он.

Стражник привел его. Он был худ и мал не по летам, с волосами черными как вороново крыло и с дикими черными глазами, в которых горела ненависть. Увидя Ирода, он словно хотел броситься на него. Ей он кинул лишь беглый удивленный взгляд и больше не поворачивался в ее сторону.

Ирод разглядывал мальчика с лукавым смешком, от которого все же делалось немного жутко.

— И как ты додумался до такой глупости? — сказал он и потрепал его по черным волосам.

Потом он потрогал его мускулы.

— О, какой ты сильный! — сказал он и засмеялся.

— Отпусти его, пусть бежит, — обернулся он к стражнику. — Больше он такого не сделает.

Мальчик бросил ему еще один ненавистный взгляд и спокойно и неспешно пошел по залу. На нем была набедренная повязка и больше ничего. Спина была худая и узкая, сильно выдавались лопатки.

Ирод обернулся к ней.

— Я уже видел вас однажды, — сказал он.

— Но этого не может быть, — ответила она.

— Нет, я видел вас. У Дамасских ворот. Там растут какие-то цветы, очень красивые цветы, но я не знаю их названия. И я не замечал их, покуда вы не прошли мимо.

Она не ответила и заслонила ладонью, будто обороняясь. Говорят, что все женщины во все времена делают это неосознанное движение. Так же и у нее оно было неосознанно.

— Много раз потом я ходил туда в надежде, что вы снова пройдете мимо. Но вы все не проходили.

И вот вы пришли сюда, вы пришли ко мне. И я радуюсь, я полон веселья. Если я сумел вам угодить, я от души доволен. Чего бы вы ни пожелали, всегда обращайтесь ко мне, и я сделаю для вас все, что только в моих силах. Думаю, я смогу сделать для вас все. Но есть ли надежда, что я снова вас увижу?

— Да, — ответила она неловко. Впервые ее покинула уверенность.

Он это заметил.

И они расстались, и очень медленно она прошла по залу и так же медленно она шла до самого дома.

Лучше б ей никогда не попадаться ему на глаза.

* * *

По городу поползла молва о неслыханной милости тирана и о девушке, которая спасла мальчика. Это было непостижимо, но в угнетенных проснулась надежда. Ведь у многих и многих мужья, сыновья и родные томились в темницах, если еще не погибли от побоев и голода или не пали от руки палача. Об их судьбе никто ничего не знал. И одна за другой приходили к ней женщины молить о помощи, молить, чтобы она опять попыталась смягчить сердце царя.

Их просьбы пугали ее. И ее пугали эти лица, измученные и отчаянные, каких она никогда не видела прежде.

Конечно, она хотела им помочь. Помочь им всем. Но как? Они осаждали ее мольбами, но они не знали того, что для нее означало исполнение их просьб. Но как могла бы она объяснить им? И нельзя просить за всех, такая просьба только вызовет его гнев и он никого не помилует. Можно просить только за одного. И она им это сказала, она объяснила. Но каждая женщина хотела, чтобы этим единственным стал ее муж, ее сын. Ибо так уж человек устроен. Трудно было ей смотреть в эти заплаканные, измученные лица и выбирать одного.

Сделавши свой выбор, она ничем не выдала, на кого он пал, и каждая из просительниц думала, что исполнится именно ее просьба и именно она увидит своего долгожданного.

И с беспокойной душой пошла она снова трудным путем во дворец.

При виде ее он встал и пошел ей навстречу с улыбкой, ясно показывающей, как он рад тому, что она пришла. Молча он смотрел на нее и взгляд у него был испытующий, но не тяжелый и не опасный. Вопреки всем слухам о царе во взгляде этом не было похоти. Он просто вematривался в нее, пытливо, без желания, но

с великой серьезностью и почти нежно. Ни ужаса, ни тревоги он не внушал.

Все оказалось легче, чем она думала, и она без страха высказала ему свою просьбу.

— Он тоже приходится вам родней? — спросил он.

— Нет, он мне не родня.

Царь пристально вглядывался в ее лицо, потом призвал начальника тюремной стражи, и оказалось, что узник был юноша, приговоренный к смерти.

Когда по знаку его начальник стражи удалился, царь повернулся к ней.

— Кто этот юноша? Он вам знаком?

— Нет.

— Так отчего же вы так озабочены его судьбою?

— Потому что за него просила его мать.

— Вот как. Его мать.

Он смотрел на нее с сомнением.

— Он правда вам незнаком?

— Откуда же мне знать его. Ведь я так недавно в Иерусалиме.

— Да, — сказал он успокоенный. — Верно.

Тогда впервые заметила она в нем эту подозрительность, его страшную болезнь.

И тотчас он переменялся, он пообещал освободить узника, и больше о нем не говорил. А потом он показывал ей дворец, он водил ее по всем дворцовым залам, и она дивилась их пустоте и унынию. И тому, как мало в них людей, только редкие слуги. Женщин не было — а ведь она слышала, что их здесь так много. Казалось, что он живет в огромном дворце совсем один. Не считая, разумеется, узников в подземельях да тех, кто их стережет.

Когда они возвратились туда, где он принял ее, он сказал:

— Вы знаете, конечно, что я отпускаю на волю преступников только для того, чтобы видеть вас. И ни по какой другой причине. Мне бы не следовало так поступать. Я знаю.

И на этом они расстались.

Пуст же был дворец оттого, что он изгнал оттуда всех женщин, всех этих размалеванных блудниц, а также всех проходивцев, женщин и мужчин, которые его окружали. Он очистил от них свой дом.

Он не приближался к женщинам с тех пор, как ее увидел.

Так не однажды еще ходила она к нему, потому что об этом ее молили родственницы несчастных и потому что сама она жалела тех, кто томился в его темницах. Иногда он отказывал ей резко и неуклонно, и, бывало, она догадывалась, что того, о ком она

просит, уже нет в живых. Но чаще она добивалась помилованья от этого злодея, всем внушавшего ужас, и тогда она думала, что, принося себя в жертву, делает добро. Ибо, конечно, она приносила себя в жертву.

Ее же родные косо смотрели на то, что она ходит к ненавистному идумею, столько из их рода предавшему смерти. А она жила у них и ела их хлеб, и ей нелегко было выслушивать их упреки. Неужели она не знает, что двое из ее дядей стали жертвами кровавого тирана, завладевшего троном с помощью римлян и даже не иудея по рождению? И что отец ее непременно разделит бы их участь, если б незадолго до их гибели не умер своей смертью?

Но хуже всех обращался с ней тот мальчик, тот, кто прежде был так предан ей, так неотступно ходил за ней по пятам. Его худенькое лицо совершенно искажалось, когда он молча выказывал ей презренье или осыпал ее бранью. Но она только тихо смотрела на него, а иногда гладила по голове, чтоб немного успокоить. Ее не удивляло поведение мальчика, ведь его отца Ирод убил сам, собственной рукой, своим мечом, тем самым мечом, наверное, который он всегда носил с собой, даже во дворце.

Но другие, те, кому она помогла, и те, кто надеялся на ее помощь, благословляли ее имя. При виде нее лица их сияли благодарностью, и женщины падали перед ней на колени и целовали край ее плаща. Признательность их доставляла ей великую радость, и снова и снова она пыталась смягчить сердце страшного владыки. Хоть едва ли возможно было смягчить это сердце. И не сказал ли разве он сам, что отпускает узников на волю лишь потому, что она его об этом просит, лишь в надежде снова ее увидеть?

Лучше ей не думать об этих его словах. Она вступила на опасный путь, и что-то ждет ее на этом пути?

А родня все больше от нее отдалялась. И больше всех отдалялся от нее упрямый мальчик, тот самый мальчик, который бросился к ней на шею, когда впервые ее увидел.

Ко дворцу она приближалась всегда с тяжелой душой. У всех входов стояла двойная стража, а у главного еще больше, и замки окружали войска, вооруженные мечами и другим оружием. А стерегли они одинокого человека, бродившего по пустынным залам и тоже вооруженного мечом, потому что, как говорили, он ежечасно страшился за свою жизнь.

Добьется ль она и на этот раз милости от того, кто сам словно узник заточен в заколоченном замке?

Однажды он попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, что ее любит, потому что она, конечно, сама давно об этом дога-

дывалась, и он не мог выговорить этих небывалых слов. Он никогда их не произносил и боялся их. И он чувствовал, что такие слова ему не к лицу.

Она не ответила. Он и не требовал ответа. Почти приниженно он попросил ее подумать.

С белыми губами, задыхаясь, уходила она от него в тот день. И как только удалось ей сдержать, не ускорить легкого шага, не побежать по залам дворца, по улицам города? Бежать? Но куда? Во всем мире ей не было прибежища.

Она пошла медленно. Все медленней, беспечно. Пыталась овладеть собой. Думать. Думать о том, как ей поступить. Никого не было, кто мог бы ей помочь. Все надо решать самой. К этому она уже привыкла. Но так трудно ей не бывало еще никогда

Пожертвовать собой до конца и разделить с ним судьбу? Его страшную судьбу. Если б от ее выбора зависела только ее жизнь, она б никогда не решилась. Но другие? Сделает ли она им добро этим? Предавшись ему. Сделает ли она добро несчастным, которые доверились ей, понадеялись на нее? Тем, кого он мучит.

Сделает ли она кому-то добро, предавшись ему? Она спрашивала себя снова и снова. Укротит ли она его дух, умерит ли его жестокость? Сможет ли она? По силам ли ей его изменить?

Он был ей немил. Но она смотрела на него все же немного не так, как другие. Она не могла отрицать, что постепенно в душе ее нашлось место для тирана, ненавидимого всеми, ненавидимого по справедливости.

Ей делалось его жаль. Что крылось за этой жалостью, сказать было трудно, она не могла да и не хотела в себе разбираться. Она жалела всех, вот и его пожалела. А что, если это не только жалость?

Полюбить его она никогда не сумеет, она знала, для этого он слишком ей противен. Но она жалела его. А жалость всегда толкала ее на жертву. Значит, надо пожертвовать собой и для него?

Она ничего не знала о любви и думала, что только приносит себя в жертву.

Но где это она? На какой улице? Кажется, она ее узнает. Не к Дамасским ли воротам ведет она? Да, вон они, ворота.

Пройти?

Она прошла через ворота, прошла еще немного, остановилась. На поле у дороги не было цветов. Уже не было. Кое-где торчали еще засохшие стебли, но цветов не было.

И она повернула к дому.

Вскоре она пошла во дворец и сказала царю, что, если он желает этого, она станет ему женой. Слова ее ошастливили его.

Было ясно видно, как он счастлив, хоть ощущение счастья было ему внове и он не привык выражать и показывать его.

Она протянула ему руку, и в его руке ладонь ее показалась такой маленькой, что, несмотря на всю торжественную серьезность, оба не могли удержать улыбки. Так стояли они друг против друга, непохожие, как только могут быть непохожи двое между собой — она хрупкая и нежная, с нежным лицом, унаследованным от многих поколений, прекрасных древней красотой, и он — тяжелый, с лицом тоже тяжелым, дурным и грубым.

Он не обнял, не притянул ее к себе, он был сдержан и почти-телен, и она была ему за это благодарна. Но потом, расставшись с ним, она корила себя за это чувство благодарности.

Она была из тех, кто непрестанно себя корит.

* * *

В брачную ночь ее напугала его неистовая страстность. Она не знала любви и никак не думала, что она такая. Она попыталась следовать за ним, но, не имев прежде мужчины и будучи неискушена в ласках, не сумела ни ответить на его пламень, ни его умерить. Темнота скрыла ее отчаянное лицо, и он ничего не заметил.

Первая брачная ночь стала для нее мучением.

Но потом иногда она делила с ним страсть. Она все больше к нему привыкала, а он делался все осторожней и нежней. И несмотря на их глубокую несхожесть, а может быть и по причине ее, его ласки порой давали ей глубокую радость. Хоть сам он внушал ей ужас.

И общая жизнь их оказалась куда лучше, чем она смела надеяться. Но приручить ее вполне он так и не мог. Она боялась, как бы он не заметил этого, старалась ничем себя не выдать. Но не всегда это ей удавалось. А она знала, как он подозрителен. Она заставляла себя не останавливаться мыслью на том, что было ей в нем противно. И это все лучше ей удавалось.

Но она знала, что не любит его.

Она распорядилась убранством дворца, и по крайней мере часть его стала походить на жильё. Она изгнала запустенье, и те залы, которые она выбрала, сделались почти уютны. Настоящим кровом они для нее не стали, но вид их совершенно переменялся. Остальные же залы стояли пустые и зловещие, как прежде, но это и неважно, она туда не заглядывала.

Одного не могла она снести: мучений узников в подземельях. Оттуда не доносилось ни звука, и никто, находясь во дворце, ничего не мог бы заметить, но она знала, что они томятся там. Об этом она и сказала царю. Сказала, что не в силах снести этой

мысли, что она молит его снять у нее тяжесть с души и отпустить их на волю. Она знала, что их он не пожалеет. Она просила, чтоб он пожалел ее. Она сделалась его женой и пришла жить под его кров, в его дом. В тюрьме она жить не согласна.

Все это она объявила ему, и он уступил ей. Отпустил всех узников, кроме виновных в особенно тяжких преступлениях и ожидавших скорой казни.

— Вот они и освободятся, — сказал он строго, без тени насмешки.

Необычайная весть разнеслась по городу со скоростью лесного пожара. Сомневались, не верили, но тотчас убеждались воочию. И те, кто снова обнял своих близких, благословляли имя Мариамны, имя доброй царицы Мариамны, смягчившей злое сердце царя и добившейся от него неслыханной милости.

Благослови ее, господь. Благослови ее, господь.

Но родня ненавидела ее без меры за то, что она сделала, за то, что стала женой презренного и гнусного тирана, неправдой захватившего трон. Какой позор на их род, истинно царский род. Какой грех и стыд. Такое нельзя простить, и они не желали с ней знаться. И отныне призывали на нее смерть, которая одна положила бы конец бесчестью.

Она ничего об этом не знала и не поверила бы, если б ей рассказали.

Народ же особенно чтил ее после дарованной узникам свободы и, зная ее добрую власть над тираном, надеялся только на нее. Все благие перемены совершались благодаря ей, по ее доброте. И народ во всем ей доверился.

Однако ее любили не только за благодеянья, ею оказываемые. Любили ее за то, что она такая непохожая на других. В то жестокое, грубое время она была нежна и тиха, и она дарила свою задумчивую улыбку каждому, кто встречался на ее пути, каждому, на кого падал ее темный взор. Как только она выходила на улицы города, навстречу ей устремлялась людская любовь. Все знали ее, тотчас узнавали. Еще и потому, что одета она была почти всегда одинаково. Ставши царицей, она ничего не изменила в своей одежде, такой простой и не совсем обычной. Покрывала ее были затканы серебром, плащи серебром оторочены, и еще любила она носить серебряные пояски. И сандалии у нее всегда были с серебряными браслетами.

Тусклое серебро было ей к лицу, шло к ее красоте, было сродни ей. Подвески ее всегда были из серебра, никогда из золота. Напрасно старался царь, в первое время особенно, задаривать ее дорогими ожерельями, бесценными камнями Востока, искус-

но выделанными в угоду прихотливому женскому вкусу. Она отвергала его подарки. Ставши царицей, она не хотела меняться ни в чем, она осталась прежней и одевалась в те же одежды, какие однажды избрала для себя, не слишком об этом задумываясь.

Такой любили ее люди. Лица их сияли, когда они видели ее на улицах города. И, падая перед ней на колени, целуя край ее плаща, женщины не могли представить ее себе иной. Такой они ее любили. И ее называли Мариамна — царица серебряная.

Однажды, поздним вечером, когда ее навестила старая служанка из дома ее родных, Мариамна узнала, что тот упрямый мальчик бежал в горы в стан засевших там Маккавеев.

Она спрашивала себя, не вызван ли его побег тем, что она стала женой ненавистного. Она все бы отдала за то, чтоб это оказалось не так. Но каждый вечер, ложась в постель, она думала о маленьком беглеце и видела перед собой его измученное, худенькое лицо.

Она и вправду имела доброе влияние на владыку. Он и вправду изменился к лучшему, правление его стало мягче, и жестокость умерилась или стала менее явной. Это нельзя было отрицать, нельзя не заметить. И все знали, что благодарить тут нужно Мариамну и никого другого. Признавали это и те, кто презирал ее за брак со страшным идумеем.

Только ее родня была неизменна в смертной ненависти.

Однажды он повел ее с собою к храму. Он хотел показать ей свое детище. Долго ходили они вокруг постройки, и он объяснял ей, как задумано сооружение и как оно превзойдет красотой и затмит славой сам храм Соломонов.

Она слушала, смотрела, но без внимания. Казалось, все это ей неважно. Может быть, храм был ей не нужен.

Она так мало думала о себе. В противоположность ему, воздвигшему в свою собственную честь эту святыню. О, она была углублена в себя, жила глубокой жизнью души. Совсем, совсем иначе, чем он. Может быть, она не была верующей? Или, веря, сама того не сознавала? Так же точно, как была добра, не сознавая своей доброты, не заботясь о ней?

Может быть, храм был ей не нужен?

Он не брал ее с собой, отправляясь по ночам к месту стройки. Он по-прежнему ходил туда один и один бродил во тьме.

Отчего? Он и сам не знал. Просто так. Но он ходил туда.

И долго бродил во тьме. И потом долго стоял под сверкающим ночным небом, устремив в него взгляд.

Ничто не связывало его с божеством. Пустынна была его душа, которую жалили холодные копыя звезд.

Многое он скрывал от нее, о многом она не догадывалась. Не только об одиноких ночных прогулках. Не в его привычках было кому-то доверяться. И ей он доверялся далеко не во всем. У них не было полного доверия, оба в нем не нуждались.

Она привыкла свободно располагать собой, и он предоставлял ей свободу. Каждого занимали свои заботы, и другой не участвовал в них.

Но он куда лучше знал, чем занята она, чем она знала о его делах. Он обладал настроженной чуткостью, основанной на подозрительности. А к тому же его шпионы исправно несли свою службу.

Так ему тотчас стало известно, что к ней приходила старуха-служанка из дома Маккавеев.

Мариамна очень бы встревожилась, если б об этом узнала.

Он загорелся гневом, когда ему донесли, что мальчишка, которого он отпустил на волю, бежал в горы к Маккавеем. Нелепо было его отпускать, не надо бы этого делать.

Долго бесила его эта безделица.

Но Мариамне он не сказал ничего.

Страсть его к ней не утихала. Ей трудно было утолять его неистовую жажду. Казалось, он наделен неиссякаемой силой, ее же потребность в нежности оставалась неудовлетворенной. Правда, он стал нежней и бережней, был внимательней к ней, но не всегда. Он по-прежнему думал больше о себе и в любви был жесток, как и подобало ему. Порой она боялась, что ее задушат его ласки.

Никогда прежде не знал он похжей на нее женщины, и это распалаяло его. Она была ему внове, полная ему противоположность. И он не мог понять ее, не мог проникнуть в мир иных, строгих и прохладных чувств.

Никогда прежде он не знал любви, не знал, что она такое. И любовь так чужда была всему его существу. Он понял, что любит Мариамну, но не понял, что влечет за собой любовь. Страсть не изменила его души. Но он хорошо осознал силу влечения к ней, и думал, что это и есть любовь.

Часто она бывала слишком истомлена дневной заботой, но все же ночами она старалась ему угодить, потому что она не смела ни в чем перечить ему, но не только поэтому. Еще она хотела, чтобы

в ее объятьях он нашел забвенье от всего, от диких своих порывов, от безмерных своих вождлений, ото всего на свете.

Когда потом она гладила его по голове, он затихал, и ей казалось, что она усмирила огромного зверя. Она любила эти минуты. Ведь она привязалась к нему. Жалела его и немного к нему привязалась.

Умерилась ли его злоба? Стал ли он лучше?

К ней-то он всегда был добр.

Но ей хотелось, чтобы он был добр ко всем.

Так протекала их жизнь, и в конце концов он не мог не заметить горьких усилий ее любви, такой отличной от его чувств. Прежде с другими женщинами он думал только о своем желании, остальное было ему безразлично. Но с нею все переменилось. Он страдал, хоть не показывал ей своих мучений, таил их в себе. Он ни за что и ничем не хотел себя выдать. Тяжело было ему, с его натурой, терпеть униженье, но куда тяжелей было бы ему себя выдать.

А страдал он горько и явственно. Он все больше замыкался в себе и часто взгляд его пугал ее, и она боялась смотреть ему в глаза. Он и сам избегал ее взгляда. Она все понимала, но не смела об этом заговорить. Да и как бы она ему сказала? Нелегко двоим, делящим ложе, говорить о таких вещах. А им, друг другу не доверявшим, и вовсе невозможно. Она еще больше старалась угодить ему, показать, что не только он в ней нуждается, но и она в нем, что все не так, как он думает. Но от этого только росла его подозрительность, его острая чуткость, он понимал ее еще верней и еще злосчастней делалась жизнь обоих.

Теперь оба почти всегда молчали, он избегал показывать, как она необходима ему, принуждал себя к сдержанности. И наконец совсем перестал приближаться к ней, подавил в себе желания.

Так он выражал теперь свою любовь.

А в горах снова вспыхнули бои. В Иерусалиме мало кто слышал об этом, но связанные с отрядами Маккавеев знали все. Ирод же, принимавший гонцов со всех краев страны, узнал, разумеется, тотчас, где и когда началась битва. Не его войска первыми вступили в сраженье, на этот раз напали маккавеи. Его войска уступали маккавеям в численности, потому-то те и открыли бой.

Гонцы осаждали дворец, и все поняли, что происходят какие-то важные события. Поняла и Мариамна. И она не удивилась, когда Ирод объявил, что должен на время покинуть город, что его присутствие необходимо в другом месте, где именно — он, однако же, умолчал. Они простились. Она задержала его руку в своей. В обеих своих прохладных ладонях задержала она его руку.

Как всегда, оставив Иерусалим и дворец, он испытал облегчение. На этот раз, как и прежде, он радовался свободе.

Приближаясь с подкреплением к горам, он всей грудью вдыхал их вольный ветер и в нем играла древняя кровь предков, и он снова радовался и снова был самим собой, несмотря на темную страсть, гложущую его душу.

На коне он далеко обогнал пеших телохранителей и отряды подкрепления и был совсем один. Его люди привыкли к этому, он никогда не подпускал к себе близко ни солдат, ни военачальников. Но, как уже говорилось, они его любили. Отчасти, конечно, за то, что он не сдерживал их необузданности, позволял вволю убивать и грабить. Но к тому же им нравилось, что держался он так отдаленно, никого не устаивал близостью, ибо им нужен был вождь, полководец. Особенный человек, не им чета.

Давно уже не ходил он с ними в походы, и они ликовали при виде его. Но не могли не заметить, что на этот раз он особенно хмур и суров.

В горах они тотчас нашли своих, счастливо наткнувшись на свой пост в теснине. Им стало известно расположение частей. Они залегли правее за перевалом и грелись у костров, ибо тут, высоко, было холодно. Начальник удивился неожиданным гостям, правда, он просил подкрепления, но не чаял увидеть самого Ирода. Он рассказал обо всем, что произошло, и Ирод выслушал его в молчании. Потом царь за многое ему выговорил и, когда тот сосался на малочисленность войска, возразил, что надо бы разумней использовать силы. Он не скрывал своего недовольства. Начальник, человек уже немолодой и хорошо изучивший нрав царя, понял, что за этим недовольством что-то кроется. Слишком хорошо знал Ирод условия горных сражений, чтобы так несправедливо о них судить.

Во время их беседы что было духу примчался дозорный и еще издали крикнул, что враг идет через узкое ущелье с востока. Это был единственный вход в долину.

Ирод сам встал во главе войска и поспешно отдавал приказы. Он хотел закрыть врагу выход из ущелья, но это ему не удалось. Маккавеи уже рассыпались по долине. Но тут-то их и сдержали солдаты Ирода, и горы огласились воинскими кличами.

Маккавеи ничего не знали о подкрепленье, оно застало их врасплох. Но они бились с тем же презрением к смерти и безумной отвагой, какие всегда были им присущи. Не подоспей сюда Ирод со свежими отрядами, маккавеи разбили бы и уничтожили засевшее в горах войско. Но их ждал иной исход сраженья. На Маккавеев неслись неисчислимые солдаты врагов. Потери с обеих сторон были значительные, для маккавеев более роковые, ибо противник несравненно превосходил их силой.

Ирод, как всегда, сражался в гуще боя. Но в нем не замечалось обычного упоения битвой. Он как никто умел опьяняться сра-

жением. Только не теперь. Он бился как простой солдат, без собственного ему бешеного порыва.

А бой шел, как было ему предопределено. Маккавеи несли такие потери, что надежда все более угасала в них, хоть они медлили сдаться.

На самом исходе битвы среди взрослых Маккавеев появился хрупкий мальчик, вооруженный мечом, меньшим, чем у других, но все же слишком для него тяжелым. Странное зрелище.

Но куда более странен был Ирод, который, завидя мальчика, бросился прямо на него и разрубил его от левого плеча до самого сердца.

Все, кто видел это, подивились той ярости, с какой царь бросился на мальчика, всего лишь ребенка, а не достойного противника. Но мальчик был воин, всякий же воин может умереть в бою. Мертвое тельце, все в крови, и совершенно белое худенькое лицо выглядели до крайности жалобно. Странно, и зачем они взяли с собой ребенка, никогда они прежде такого не делали.

Ирод еще долго с трудом переводил дух. Бегло глянул на убитого и больше не смотрел в его сторону.

А битва к этому времени уже почти кончилась, маккавеи уже уходили по ущелью. Лишь горстка их осталась прикрыть отступление. Потом и те спаслись бегством.

Тела остались на поле боя, на поле поражения, среди прочих и мальчик.

Солдаты Ирода унесли своих раненых, а врагов не подобрали, ибо таково было тогда обыкновенье. Потом они ушли греться вокруг костров.

День клонился к вечеру. Солдаты принялись чистить оружие. Ирод тоже почистил меч

И настали сумерки.

Мариамна узнала все потому, что один из маккавеев, свидетель происшедшего, спустился с гор и решился пробраться в Иерусалим врачевать свои раны. Но передала ей известие старая служанка из дома ее родичей.

* * *

Долго не возвращался Ирод в Иерусалим. Ему не хотелось туда возвращаться. Но Мариамна не замечала, как утекает время, она горевала по мальчику, принявшему такую смерть. Она, с ее душою, не могла понять, как могло это случиться. И неотступно стояло у нее перед глазами худенькое лицо упрянца, бросившегося к ней в объятия, когда она впервые пришла в дом родни.

Бледное, бледное это лицо, и какой укоризненный взгляд.

Виновна ли она в его смерти? В его бегстве и, значит, в его смерти? Не потому ли он бежал, что она стала женой ненавистно-му Ироду? Возмутился и бежал?

Она не могла избавиться от этих мыслей.

И почему Ирод убил мальчика? Да еще так непостижимо жестоко. Не потому ли, что никогда никого не прощал, будь то взрослый или ребенок? Таков он был, и она это знала, он и сам порой в этом признавался. Может быть, он раскаялся в своей непривычной мягкости и вскипел, завидя его в рядах врагов?

Ну и что же, от этого ее вина не меньше. Она, она во всем виновата.

Или... или... Но нет, невозможно...

Не отомстил ли ей Ирод за то, что она не любит? За то, что любит его недостаточно крепко?

Неужто это возможно?

Если так, то разве меньше ее вина?

Нет, ничего, ничего не могла понять Мариамна.

Но она была из тех, кто вечно себя корит.

Воротаясь в Иерусалим, Ирод тотчас понял, что Мариамне все известно. Лицо ее преобразилось печалью, но так, что стало еще прекрасней, чем прежде. Оно сделалось еще бледней, прозрачней, его освещала скорбь, и еще яснее в нем проступила душа.

У нее больше не было слез, она все выплакала, но в глазах стояло горе. Странно, от этого взор ее стал еще нежней и теплей, а ведь часто страдания ожесточают взгляд и черты. Ее же чертам горе лишь прибавило нежности.

Когда Ирод увидел в ней эту перемену и понял, что он ей причинил, что она из-за него выстрадала, на лбу у него выступил холодный пот, он со стоном упал к ее ногам, протянул к ней руки, не смея ее коснуться, и с мольбой устремил на нее налитые кровью глаза. Без слов он молил ее, чтобы простила ему злобу, простила его за то, что он такой. Она, всепрощающая.

И она провела прохладной ладонью по его лбу, стерла холодный пот с этого страшного лба, отвела с него мокрые темно-рыжие волосы и гладила, гладила, пока у Ирода не перестали дрожать губы, пока он не затих.

Он плакал у нее на груди, и потом она приняла его в свои объятия, чтобы его успокоить. Она старалась быть прежней, как это ни было ей трудно. Она надеялась вернуть свое влияние на него, и для этого, она знала, ей надо было утолить его страсть. Но было и еще одно, хоть это и удивляло ее, хоть она и не хоте-

ла в этом себе признаться: он был ей нужен. Разбуженное им тело томилось по нему, хоть они были такие разные и по-разному чувствовали. Мариамну удивило, что после всего случившегося ей радостны его ласки. Но так это было. И она корила себя за это. Как за все и всегда корила себя. А в темноте перед нею неотступно стояло бледное мальчишечье лицо с замученными глазами, которые теперь, после смерти, стали еще больше.

Ирод и вправду на время успокоился, и на время умолкли страшные слухи, по крайней мере стало тихо в самом Иерусалиме. Тихо, насколько знала Мариамна. Но связи ее с миром были бедны. Все, что она знала, рассказывала ей старая служанка из дома родственников. Она приходила к ней, не сказавшись хозяевам, если б они об этом проведали, ей пришлось бы худо. И все же она приходила. Потому что, хоть об этом обе молчали, она всей душой привязалась к Мариамне за недолгие месяцы, что они провели под одним кровом, и Мариамна к ней привязалась. У старухи было изрытое морщинами суровое лицо, но она только на вид казалась такой суровой. Просто она никогда не улыбалась. Отчего? Кто же знает, никто не знает. Просто бывает, что человек никогда не улыбается, особенно старый человек, у которого за плечами целая жизнь

Она передавала Мариамне все происшествия в доме родственников, и все толки о событиях в Иерусалиме и в мире. Она не тратила лишних слов, а случалось, что и рассказать ей было нечего, но она и тогда приходила посумерничать возле Мариамны.

И Мариамна радовалась и благодарила ее. Она радовалась, что видит ее, и радовалась связи с миром и тому, что может расспросить о родственниках, к которым крепко привязалась. Ей говорили, что они ненавидят ее. Но она не верила.

Она, как и прежде, часто бродила по городу и выходила за городскую черту. Редко какая женщина бродила здесь так свободно, но Мариамна привыкла к одиноким прогулкам. Она ведь родилась не в Иерусалиме, а в маленьком городке, принадлежавшем их семье, от которой теперь никого не осталось. И от городка ничего не осталось. Когда она видела его в последний раз, то была груда дымных развалин.

Много людей встречалось ей во время прогулок, но все незнакомцы, и она ни с кем не разговаривала. Порой все же они узнавали ее и улыбались ей, может быть, в благодарность за помощь. Ибо все добрые перемены и смягченье гнета людская молва приписывала только ей. И потому, завидя ее, встречные улыбались, а иные даже падали перед ней на колени и целовали полы плаща Мариамны.

Мариамны, царицы серебряной.

И дивились тому, как она переменилась. Отчего бы?

И тому, что она уже не улыбается им, как прежде.

* * *

Улучшение жизни подданных и тишина во дворце не могли длиться вечно.

Ирод все больше делался беспокоен, все больше делался самим собой. Он ускользал от нее в собственный мир подозрительности и недоверья, и она ясно видела, что теряет над ним власть.

Она знала, отчего. На этот раз он сам ей все высказал.

И снова покинул Иерусалим ради войны в горах, ради походной жизни, которая всегда была ему больше по сердцу.

Мариамна не очень печалилась, потому что присутствие его день ото дня делалось для нее тяжелей. Он открыто укорял ее за то, что она его не любит, только об этом и твердил. Прежде он пересиливал себя, пытался скрыть, как он сам это называл, свое унижение, носил его в себе. Теперь же, напротив, он все высказал без обиняков, все бросил ей в лицо. Сказал, что знает, что она не любит его, что он замечал это всякий раз, как был с нею, и сама она прекрасно это знает и еще больше себя выдает тем, что так старается выказать ему пыл и страсть, каких никогда не испытывала, никогда, никогда, да и никогда не испытает, ведь для страсти не создано ее прохладное тело, ее бледное, хрупкое тело, ни руки ее не созданы для страсти, ни лоно ее, ни сердце, все в ней прохладно, все, все.

Она смотрела в его налитые кровью глаза горящими темными глазами, не потупляя их. И, не в силах вынести ее взгляда, он бросился прочь и бессильно упал на скамью в соседнем зале с безумно колотящимся сердцем.

На этом они расстались. И он ринулся в горы.

* * *

Для Мариамны настала одинокая, тихая пора. Она жила теперь сама по себе; это готовилось уже давно. Ничуть не занятая собой, она от всего отошла, углубилась в себя. Она просто ступала по земле, жила на свете, и что-то неведомое проходило сквозь ее душу, сквозь ее хрупкое, прохладное тело, как ветер проходит по листве.

Она и сама-то себя почти не знала — такая необычная, особая, она удивительно мало знала себя. И удивительно, до чего ей это было все равно. Верней, было бы все равно, подумай она об этом. Но она и вовсе не думала о том, как мало она себя знает.

Да, это верно — она жила, как дерево. Ведь и дерево ничего о себе не знает. В каждом дереве тайна, великая тайна. Но оно о ней ничего не знает. И не думает о ней.

Вот, наверное, отчего ей не нужен был храм.

Ведь деревьям, цветам и прекрасным камешкам на морском берегу храм не нужен.

Да и кто бы вздумал его для них строить?

Так и ей не нужен был храм.

Она была как деревья. Ветер в их кронах — вот и вся их церковная служба, он поет, а они слушают. Иногда.

Они вслушиваются в себя, и они слушают службу.

Так созданы деревья.

И как деревья, была Мариамна в ту тихую одинокую пору своей жизни.

Она бродила по залам дворца, которым постаралась придать вид жилья. Настоящим кровом они не стали. Но у нее нигде не осталось настоящего крова. Он был когда-то в маленьком городке, но тот городок давно в развалинах. Светлый, радостный кров, и при одной мысли о нем до сих пор радуется ее сердце.

И она вспоминала отца и мать и братьев, никого не осталось в живых. Она одна. Правда, вот родственники в Иерусалиме. Они, кажется, ее ненавидят. Но ничего, все-таки родственники. Значит, она не одна.

Бывало, к ней приходила старуха-служанка и рассказывала о них. Об их ненависти она не говорила Мариамне. И она никогда не говорила худого об Ироде, хоть многое знала о нем. Она ни о ком не говорила худого. Но теперь, когда его не было во дворце, она чаще навевалась туда.

Однажды, бродя по городу, Мариамна добрела до колодца, откуда женщины брали воду. Колодец стоял неподалеку от маленькой площади, и из него женщины брали воду с незапамятных времен. И площадь и колодец были стары, как все старо в Иерусалиме.

И вот, проходя мимо колодца, она среди женщин узнала свою сестру, двоюродную сестру почти одного с ней возраста. Она бросилась к ней, раскрыв объятия, и губы ее уже открылись, готовые произнести слова приветия. Но молодая женщина тотчас отвернулась и, поставив на голову уже наполненный кувшин, поспешила прочь, не оглядываясь, по узкой улочке к тому дому, где жила прежде и Мариамна.

Мариамна смотрела ей вслед.

Воротясь в Иерусалим, Ирод был пасмурен больше обычного. Ес он избегал, а на все расспросы отвечал, что в горах все было прекрасно, и многие из ее непокорного рода сложили там головы. Чего же ей еще?

Позже, без видимого повода, он вдруг рассказал ей, что имел в горах других женщин из тех, что следовали за отрядами, и пленниц, не ей чета, хоть из того же маккавейского рода.

Мариамна ничего не ответила.

Он был уязвлен ее молчаньем. Неужто ей все равно? Но он не показал виду.

Он не только был уязвлен, он удивился. Он ожидал иного, ожидал, что ее больно заденут его слова.

О том же, что все те женщины вызывали в нем отвращенье, он не сказал ей. В этом он не хотел признаваться и самому себе. Но не только отвращенье вызывали они в нем. Станным образом само это отвращенье разжигало его похоть. Они так несхожи были с Мариамной. С той, кого он любил.

Ему сладка была именно полная их несхожесть с ней, с ее чистотой. Иногда приедается и чистота.

Но только ее одну он любил.

Мариамна смолчала, хоть его признание оскорбило и опечалило ее, но она и не ждала ничего иного. Так зачем же его упрекать? И она не упрекала.

Больше он к ней не приближался, не искал ее любви. И несмотря ни на что, она тосковала по нему, хоть все в нем внушало ей отвращенье и ужас.

И еще она опасалась, как бы он не только с женщинами, но и во всем прочем не вернулся к прежним своим привычкам. Свою власть над ним она утратила совершенно, это ясно, но что же теперь будет?

Прошло немного времени, и худшие ее опасенья сбылись.

Расползлась молва о том, что снова настало черное время. Что людей хватают в их домах, отрывают от семей и потом они без следа исчезают. Снова пополз ужас по улицам иерусалимским.

Темницы в подземельях дворца снова наполнились узниками, и можно было только догадываться, каким мученьям их подвергают. Мариамна жила в тревоге и тоске и не понимала, отчего же не разорвется ее сердце. Она боялась, что и в дом ее родни тоже вломились люди Ирода. Но ей удалось узнать, что их дом не тронули. Конечно, останься там мужчины, едва ли бы им уцелеть, но мужчин не было, остались только женщины.

Были и другие перемены во дворце. Ирод снова привык ко множеству женщин, размалеванных блудниц и шлюх, и приближенные поставляли ему все новых, совсем как прежде. Но с этими женщинами он не просто ублажал свою похоть, они нужны ему были, чтобы унижить, оскорбить и ранить ту, которую он любил и которая его не любила. Ибо сердце его и в любви осталось злым.

Но нелегко было унижить Мариамну. Что-то в душе ее и в облике ограждало ее и делало неуязвимой. Она бродила по дому порока, словно ничего не замечая. Конечно, она замечала все,

но она не испытывала унижения. Этого чувства она не знала совсем.

Однажды он осыпал ее горькими упреками за то, что она терпит такую жизнь, и как-де она не замечает, что творится вокруг, не корит его за беспутство. Как она допустила такое!.. Как позволила!..

Но вдруг он осекся, умолк, отвел от нее налитый кровью взгляд. И ей не пришлось ничего отвечать.

Он ушел, и долго потом не видели они друг друга. Верней даже сказать, что это была последняя их встреча, ибо еще он видел ее лишь один-единственный раз, когда опоздал к ней, умирающей.

До этого дня оставался покуда немалый срок. Но они избегали друг друга.

Между наложницами Ирода и Мариамной не случалось раздоров. Они ни в чем не повинны, в чем же ей их обвинять? Вот она их и не обвиняла. Они же старались не обидеть ее. Быть может, и их поразили ее облик. А быть может, они жалели ее. Думали, что она больше их самих достойна жалости.

К тому же и встречались они мало. Мариамна жила в тех покоях дворца, которым постаралась придать вид крова. Там никто ее не тревожил.

Но одна, пленная дочь Маккавеев, взятая во дворец за грубую красоту, однажды, столкнувшись с Мариамной, высказала ей свою безмерную ненависть.

— Меня-то взяли в плен, — кричала она, — меня силой отдали подлому тирану, мерзкому идумею. А ты отдалась ему доброй волей, стала царицей, и думаешь, что ты благородная! Я-то не царица! Я попорченная дочь врага, и я горжусь этим! А тебе чем гордиться! А ну, скажи! Тьфу!

Другие женщины донесли Ироду о том, как она обошлась с Мариамной. Он сам избил ее неистово и безжалостно. Она не проронила ни звука. И все же, хоть все думали, что он ее выгонит, он оставил ее при себе. Ибо знал, что она никогда не смирится со своей судьбой, никогда не покорится ему и он всякий раз будет брать ее силой.

Он никому не позволял обижать Мариамну.

Старая служанка давно уже не навещалась во дворец, и Мариамна стала думать, отчего бы. Может быть, ничего не случилось, она и прежде, бывало, редко ходила, она еще придет. Конечно, она еще придет.

А та все не шла.

Минули недели, потом месяцы. Мариамна встревожилась не на шутку. Что стряслось? И во всем свете некого ей спросить.

Не прознали ли хозяйева об их тайных встречах и запретили ей ходить во дворец? Или иная беда разразилась? Как бы узнать?

А потом она узнала от одной из царских наложниц, что старухи больше нет, и напрасно бродит Мариамна по залам дворца, поджидая ее.

Мариамна принялась расспрашивать, откуда та узнала. Да так, слыхала от людей.

Что же, она умерла? Ну, об этом точно неизвестно, но ее нет, а стало быть, наверное, умерла.

Позже известие подтвердилось. Мариамна точно узнала, что старуха умерла, что Ирод убрал ее с дороги, заподозрив в том, что она помогает Мариамне сноситься с Маккавеями. А Мариамну он заподозрил в тайной связи с его врагами. Вот что узнала Мариамна.

Какой вздор. У нее это даже в голове не укладывалось.

И ей не верилось, что старой служанки больше нет. Она говорила по ней всем сердцем, она к ней так привязалась, хоть никогда ей об этом не говорила. Неужели она уже не придет во дворец? Вот и последняя близкая душа ушла от Мариамны. И она осталась совсем одна

Целыми днями она вспоминала старуху. Вспоминала морщинистое лицо, такое суровое на вид, хоть она не была сурова. Нисколько. Просто она никогда не улыбалась. Отчего? Кто же знает, никто не знает.

И вот ее нет.

А он и вправду заподозрил ее в связи с Маккавеями, с его врагами. Заподозрил из-за того, что старая служанка так часто навещала во дворец. И приказал убрать старуху с дороги.

Но на этом он не успокоился.

Как многих людей, наделенных страстной жадностью бытия, его преследовал страх смерти. Он загубил тысячи жизней, а сам боялся умереть. Он не боялся смерти в бою, в упоенье битвы, в бою он ничего не боялся. Но его пугала смерть от болезни, подтачивающая изнутри, пугала смерть от руки врага, невидимого, незнаемого врага. Он боялся, что его убьют сзади, ударом кинжала под лопатку, под левую лопатку, это будет, этого не миновать, от этого не уйти.

И если против него готовится заговор, так чего же лучше для заговорщиков иметь своего человека рядом с царем, вне подозрения, в собственном его доме? Чего же еще лучше?

Верил ли он в это? Конечно, нет. Подозрительность его была ужасна, но не настолько, однако, чтоб заподозрить Мариамну в посягательствах на его жизнь. Она — в одном лагере с заговорщиками? Возможно ли?

Но ему удалось себя убедить.

Тщательно скрывал он от себя самого то, что в действительности было причиной все больше и больше одолевавших его мыслей. И он не признавался самому себе в темных побуждениях, прятаясь на дне его души. На илистом, грязном ее дне.

Мариамну по-прежнему любил народ, большинство народа. Когда она выходила из дворца — а выходила она теперь не часто, — люди выказывали ей свою любовь. Хотя теперь она уже ничем не могла им помочь, ничего не могла для них сделать. И все же они любили ее. Хотя она им больше не улыбалась, никогда не улыбалась. Они знали, каково ей и отчего она всегда печальна, они знали все. Они знали, отчего она так переменилась, она стала совсем другая. И все же они любили ее. А она больше не улыбалась, никогда не улыбалась.

И ее любили.

Мариамну, царицу серебряную.

Он решался. Он проверял себя. Сможет ли он и дольше терпеть, что она живет на свете. Трудно, трудно решиться, но нужно, наконец, взглянуть в глаза неизбежному.

Давно уже он ее не видел. Она уже казалась ему чужой женщиной. Чужая женщина жила рядом с ним, в его доме. Что же это такое? Он никогда не виделся с ней, но она жила с ним под одной кровлей. И он об этом не забывал. Под одной кровлей с ним. И, быть может, в тайной связи с его врагами. Он решался. Нельзя более откладывать. Довольно. Нельзя откладывать ни дня.

И оттого что он давно уже ее не видел, решиться было легче.

И вот он нанял человека убить ее. И как только распорядился, он тотчас облегчил душу.

Жребий был брошен, и он успокоился.

Он и прежде нередко употреблял этого наемного убийцу для подобных дел. Подобных? Подобных?

Тот был высок ростом, как и сам царь, и похож на него лицом. Почему он нанял его?

Почему он именно его выбрал? Похожего? Есть ведь столько других. Отчего же он не выбрал их? Почему именно этого? Похожего на него самого.

Он использовал его уже не однажды. Но есть ведь столько других. Так отчего же непременно этот, похожий?

Он оседлал коня и пустился в путь, прочь от Иерусалима. Неспешно ступал конь, неся царя куда глаза глядят. Стоял погожий день ранней осени, с ясным, безоблачным небом. По солнцу царь определял время дня. Он то и дело взглядывал на небо.

Вдруг, без видимой причины, он повернул коня, повернул обратно, к Иерусалиму. И вскоре — не сразу, но вскоре — он натянул поводья. Сперва не очень, не изо всей силы. Но неподалеку от городских ворот он погнал коня уже во весь опор.

Возле дворца, у дворцовых ворот он бросил поводья, соскочил наземь и кинулся вверх по ступеням лестницы.

Вбежав к ней, он увидел ее на полу, в луже крови, пораженную насквозь двумя ударами — в шею и в грудь. Она была еще жива, но дышала почти незаметно. Глаза ее были закрыты, но, почувствовав, что он вошел, она открыла их и взглянула на него.

— Любимая, любимая, — шептал он, склонясь над нею. — Любимая, любимая...

Услышала ли она?

Этого ему не суждено было узнать.

Говорить она не могла, только сделала беспомощное движение рукой. И положила в его руку свою маленькую, узкую ладонь.

Так она не знает? Не знает?

Или она знает и все же?..

Все же?..

Он рухнул на колени с ней рядом, он не понимал, что ему делать с самим собой, совершенно не понимал, что ему делать.

Он только твердил одно слово:

— Любимая.

А она вновь открыла глаза. Глубоко вздохнула и умерла. Он понял, что она умерла.

Он склонился над нею.

— Любимая, любимая, — повторял он снова и снова.

Но она не слышала.

Не сразу, но вскоре он схватил убийцу. Он накинулся на него в бешеной ярости, поражая несчетными ударами меча все его огромное тело.

Хоть тот был высок ростом и сложенья такого же могучего, как царь, он без всякого сопротивления, покорно подставлял себя ударам кинжала.

* * *

О жизни Ирода по смерти Мариамны остается рассказать, что жил он в точности как прежде, в злобе и пороках, и жизнь его ничуть не переменилась. Как не могла изменить его любовь, так

не изменила его и смерть Мариамны. Лишь на короткое время немного смягчился его нрав, и подданные вздохнули с облегчением, радуясь последней помощи серебряной царицы. А потом все потекло по-старому. Он снова стал самим собой.

Да, пороки его множилось с годами, как росла и делалась безграничной его вера в себя и росла убежденность в том, что равно ему могуществом нет в целом свете.

Власть его и вправду еще укрепилась; он одолел сопротивление Маккавеев, наголову разбив их силы в горах и вырезав всех, кто мог быть ему опасен. И страшное единодержавное правление тяготело над поверженным, растоптанным народом.

И продолжались его бесчинства и беззакония, и здоровье его под конец расшаталось от безудержного распутства. Однако лишь телесные силы изменяли ему, сам он оставался тот же, необузданный и страшный для всех, кому выпадал на долю его гнев или простое недовольство. Он был еще в полной силе. И в полной силе была ненависть к нему народа.

Но старость подбиралась к нему все заметней. И почти старик, которому совсем немного осталось, продолжал жизнь жестокою, неистовую, предаваясь прежним страстям и порокам.

Но Мариамну он не забыл.

Однажды, когда пришел посмотреть храм, который стоял уже во всем великолепии, он вспомнил, как приходили они сюда с Мариамной. Как мало заняло ее тогда зрелище постройки, как равнодушна она осталась к нему. На диво равнодушна. словно ей вовсе и не нужен храм.

И снова подивился этому царь.

И снова бродил он вокруг здания, вокруг святыни, воздвигнутой им, чтоб восславить имя свое, чтобы слава его не меркла от века и до века, чтобы обрести бессмертие. Прекрасный храм, быть может прекрасней всех на свете. Вновь любовался царь золотом и медью, бронзой и серебром отделки, сверкающим мрамором несметной цены, вывезенным из дальних стран. Он обходил храм своей странной поступью, с годами еще отяжелевшей. На лице его запечатлелись старость и болезни, но это неважно, этого никто не видел, никого не было вблизи. И медленно обойдя храм, снова удостоверясь в несравненной его красоте, он возвращался к себе во дворец, в те покои, которые Мариамна старалась превратить в кров. Когда бывал один, он всегда шел в те покои. А один он бывал часто, потому что часто ему делались ненавистны те, кем он себя окружил.

Мариамне и вправду не нужен был храм. Богослуженье шло в ее душе, и она могла прислушаться к нему, когда ей вздумается.

Она была словно дерево, полное тайн, которые нашептывает ему ветер, как дерево в одежде из шепчущей листвы, была Мариамна, и она не нуждалась в алтаре.

Ироду же храм был нужен. Ибо он был сын пустыни. И в пустыне воздвиг он храм, чтоб восславить себя самого.

Только ли себя самого? Точно ли?

Кто же знает? Я не знаю.

Когда немощи совсем одолели его и тело его стали терзать непереносимые боли, он отправился в страну отцов, в пустынные пределы к югу от Мертвого моря, чтобы там обрести покой и исцеленье. Там, слышал он, бьют горячие ключи, дарящие молодость и силу.

Он не бывал там прежде и с удивленьем рассматривал страну, обозначившую его душу, — царство голых равнин и кроваво-красных гор. Все это нагоняет ужас, но и наполняет душу восторгом. Ирод, однако, был уже так болен и стар, что почти ничего не ощутил при виде земли предков.

Тело его не нашло исцеленья, сернистая желтая вода горячих ключей не избавила его от страданий, а лишь усилила их, жгла его огнем. То была страна смерти, не жизни.

Он стал еще немощней.

Совсем разбитый воротился царь в Иерусалим. Раздувшееся тело издавало зловоние, мучительное для него и для других. Нрав его сделался еще страшней, он на всех обрушивал свою немилость, так что редко кто осмеливался попадаться ему на глаза. Даже старые испытанные слуги приближались к нему с опаской.

Его терзали непереносимые боли. Случилось то, чего он больше всего боялся: невидимый, незнаемый враг отнимал у него жизнь.

И несмотря на муки, от которых одна смерть могла его избавить, день и ночь его мучил страх смерти. Особенно ночи сделались для него пыткой. Он с ужасом ждал приближения сумерек.

Болезнь и страх смерти не мешали ему, как и прежде, любоваться собой, своим величием и славой. И его возмущало, что такой человек, как он, обречен простой, низменной смерти, смерти мерзкой и оскорбительной. Ему бы умереть, как умирают боги. Но нет, какое уж там.

Какая болезнь мучила его — неизвестно. Говорили, что его заживо едят черви и что послано ему это за великие грехи. Что за черви, мы не знаем, но народ с радостью в них поверил.

Он жил теперь в своем замке почти совсем один, ибо при виде людей его томило отвращенье, как их томило отвращенье при виде царя. С ним оставались лишь немногие слуги. А перед замком по-прежнему стояли вооруженные воины, охраняя жизнь Ирода. Жизнь Ирода охраняли и берегли, хоть все только и ждали его конца.

В это самое время зажглась на востоке звезда и затмила светом другие звезды. И трое мудрецов из дальних пустынных земель увидели звезду и узнали. И пошли за нею следом. И остановилась она над Иудеяй. И придя в Иерусалим, те трое пошли во дворец и сказали привратнику:

— Царское дитя родилось, и будет это дитя господствовать над всей землею. Раз тут царский дворец, стало быть, здесь и родилось дитя.

Привратник встревожился и попросил их обождать, а сам пошел доложить о них царю. Дрожа от страха, передал он Ироду их странные речи, ибо никто не мог предсказать заранее, что вызовет гнев царя.

Но Ирод не разгневался. С изумленьем увидел слуга, что он, кажется, испугался. Никогда прежде не видел он такого лица у своего господина. По знаку Ирода он вернулся за тремя мудрецами, и они предстали перед царем.

Ирод и вправду сперва испугался. Но, увидав тех троих, он сразу успокоился. По нищенской их одежде он понял, что не следует придавать значенья их словам. И он принялся расспрашивать их, откуда они пожаловали и за какой надобностью. И они сказали ему так же, как слуге, что вот родилось дитя, и станет это дитя царить над Иудеяй и над всем миром.

Ирод спросил, откуда им это известно.

Они отвечали, что увидели звезду, которая зажглась на востоке, яркую звезду, означающую рождение царя. И они пошли за нею. И она стала над Иерусалимом, значит здесь и родился царь.

Ирод в душе усмехнулся простоте их речей, а потом сказал им, что никто во дворце не родился, никакого тут нет новорожденного царя.

Три пришельца с удивленьем переглядывались, не зная, что ему ответить.

Ирод, однако, пожелал видеть звезду, и они пообещали вернуться вечером, когда она взойдет снова.

Вечером они поднялись на крышу дворца, чтоб получше разглядеть звезду и весь небесный свод. И показали ту звезду Ироду.

Обратив к ночному небу старое, морщинистое лицо, он разглядывал звезду. Да, светила она ярко. Но высокое ночное небо, раскинувшееся над ним, над царским замком, над Иудеяй и над миром, показалось ему куда примечательней. Звезда лишь часть необозримого целого. Она погорит-погорит и загаснет. А звездное небо в бесконечном своем одиночестве не загаснет вовек.

Так размышлял царь.

Мудрецы же увидели, как звезда дрогнула и двинулась даль-

ше, она вовсе не остановилась тут, как они думали. И они поспешили следом за нею под прикрытием темноты.

А Ирод все смотрел в высокое небо, подставляя звездным копьям свою душу.

Долго брели мудрецы по ночной Иудее и наконец пришли к маленькому городу, неизвестному им по имени. Над этим городом и стала звезда. Она стала над пещерой, в эту пещеру пастухи загоняли свои стада, но теперь там жили муж и жена и младенец, и над этим-то младенцем стала звезда. И тотчас начала бледнеть и погасла, потому что занялось утро.

И поняли три мудреца, что младенец и есть тот царь, которого они искали, что к нему и вела их звезда.

И почтительно ступили они в пещеру и у входа преклонили колени и замерли, словно молясь, три мудреца в ветхих, обесцвеченных солнцем одеждах замерли, молясь без слов.

А ребенка только что разбудил солнечный луч, и он смотрел на них ясными глазами.

И они протянули ему дары, которые принесли с собою.

Они были бедны и родом из пустынной земли, и оттого дары были скромны, но они принесли их от сердца и предлагали в душевном смиренье.

Первый принес ребенку камешек, прекрасный камешек, ровно и гладко отбоченный морем на его родном берегу, на пустынном родном берегу.

Второй принес репейник, видом похожий на скипетр, на царский скипетр, и выросший на бесплодной песчаной земле, на его далекой родине.

Третий припас для мальчика кувшин с водой из источника, который бил у него на родине, и не иначе как тот источник был чудесный, потому что он бил прямо из песка.

Вот какие дары предложили они младенцу.

И родители, тоже люди простые и не привыкшие к дорогим приношениям, благодарили их от души.

И еще раз поклонившись мальчику, отцу и матери, трое вышли из пещеры и иным путем отошли в свою дальнюю страну.

Когда же Ирод прознал, что младенец, о котором говорили три мудреца с востока, родился в том маленьком городе, он приказал убить всех мальчиков в том городе и во всех его пределах, чтоб не было среди них царя.

Конечно, Ирод не верил в эти бредни, не мог царь так родиться, но на всякий случай он приказал вырезать всех мальчиков.

Казалось бы, больному, почти умирающему старику — как не устать от злодейств? И не все ли ему равно, кто будет царем по

его смерти? Ио Ироду было не все равно. Только ему пристало царить! Равному не бывать в целом свете! И он отдал этот приказ, самый страшный из всех своих приказов.

Это было последнее его злодейство. Ибо к нему приближалась смерть.

Но когда в маленьком городе исполнялась страшная воля царя, младенец, отец его и мать были уже далеко.

* * *

И остался Ирод во дворце совсем один. Все слуги его покинули. Они знали, что он скоро умрет, и больше его не боялись; и они бросили его, разбрелись кто куда.

В одинокие дни он стал думать о Мариамне. Часто думал он о ней, очень часто. Он не забыл ее, единственно любимую. Странно, как он пронес эту любовь через всю свою долгую, скверную жизнь. И как сохранялась она рядом с его злобой? Но она сохранялась.

Хоть не влияла на него, не могла его изменить.

Не изменила его и смерть Мариамны. И он не понял, что сам он ей причиной, что сам убил, хоть нанял другого, похожего, чтобы не делать этого своими руками.

Ничто не меняло его. Ничто никогда не могло его изменить.

Ибо он был сын пустыни. А там, в пустыне, не бьют чудесные источники чистой воды, и нечем там наполнить кувшин, и освежиться, и стать иным и новым.

Там нет чудесной воды.

И он непохож был на Мариамну. Которая могла жить без храма. Потому что была как дерево, слушающее тайны ветра.

Он был иной.

Он был Ирод. Он был царь. Великий царь Ирод.

И вот он обречен смерти.

Одинокий, всеми покинутый, он умирал, как будем умирать и мы. Ибо перед лицом смерти все мы одиноки, все покинуты. И вот он умирал, как умрем и мы.

И настала ночь, пора, которой он больше всего боялся.

Болезнь так истерзала его, что он не мог держаться на ногах. Но он не хотел встретить смерть лежа. Нет, не так пристало умереть ему, Ироду.

Почувяв близость смертного часа, поняв, что ему не уйти от неотвратимого, он поднялся и пошел, держась за стены. Умирая, он тяжело прошел по покоям дворца, по пустым и унылым залам.

Последняя мысль его была о ней, только о ней, единственно любимой. В свой смертный час он томился по ней.

— Мариамна! Мариамна! — кричал он громко.

И пустые залы гулко отзывались на его крик.

Спотыкаясь, держась за стены, он кричал и кричал:

— Мариамна! Мариамна!

Эхо глухо и пусто повторяло имя его мертвой возлюбленной.

С трудом в темноте он делал последние шаги по своей страшной жизни.

И вот он рухнул. Хотел подняться и не смог. Он распростер в темноте руки и еще раз, последний раз, выкрикнул любимое имя:

— Мариамна! Мариамна!

Потом руки бессильно упали, и он умер.

* * *

Так прожил царь Ирод свою жизнь на земле, отпущенный ему срок. Прожил одним из тех, кто населяет землю и чей род преидет, не оставя следа, не оставя по себе и воспоминания. Так прожил он свою жизнь.

Мариамна, Мариамна.



В тот день, когда началась война, отряды неприятельской кавалерии двинулись через границу, грабя и поджигая деревни. Неподалеку от границы лежала одна деревушка, и жили там шестеро братьев, шестеро старых, но еще крепких людей. Головы их были серебристо-седы, и волнистые бороды спускались на грудь. Жили там и другие крестьяне, но земли у них было немного. Деревушка затерялась в пышной зелени полей. Дворы шестерых братьев стояли рядом и были они точно любящие сердца, что бьются в лад и прислушиваются друг к другу. Здесь устремления людей не сталкивались в противоборстве, здесь всех объединяла одна общая воля. Если рождалось чувство, оно не увядало в тоскливом одиночестве, оно встречало ответные чувства, которые поднимались из таких же глубин; если являлась мысль, она недолго блуждала без толку, она пускала корни среди других мыслей, таких же зримых и весомых, и прочно при-

живалась там. Поэтому удивительное ощущение покоя и силы охватывало каждого, кто входил в эту деревню. Все здесь было не так, как в других деревнях. Здесь по-особенному шумели деревья, здесь по-особенному пахли, встречая путника, сады. И те, кто жил по соседству, часто называли ее деревней Шестерых Братьев.

Этот край славился отличными племенными лошадьми, холеными, здоровыми, выносливыми. Поэтому-то отряды неприятельской кавалерии сразу же после начала войны ринулись сюда. И добыча у них была неплохая. Они возвращались домой, таща за собой на привязи жалобно ржущих тварей.

Но до деревни Шестерых Братьев враги добрались не сразу, не в самый первый день. В тот день из дому ушли сыновья, чтобы сразиться с врагом. Двадцать человек их было — все в расцвете сил. Они уходили плотной толпой, плечо к плечу. Старики немного проводили их. Седоволосые и согбенные, шли они среди молодых, рослых мужчин. Они видели, как потеплели взоры сыновей, когда те обернулись на деревню. Когда расстались, глаза у всех были полны слез.

В сумерках возвратились братья домой. Потом они пошли в конюшни и вывели оттуда всех коней. Это были великолепные животные. От хорошего ухода тела глянцево блестели, от упругих движений блики света играли на спинах. Братья очень гордились своими конями. Печально и озабоченно похлопали они их по гривкам и повели за деревню. Табун пересекал поле. Старики шли молча; их головы сияли серебристо-белым светом среди мощных крупов, над которыми все плотней и плотней сгущался мрак. Впереди шел старший брат, он был выше всех, годы пощадили его. За ним в темноте двигалась вся пышущая жаром лавина коней. Резво бежали за матерями жеребята, тычась влажными мордами в их бедра. Животные ни разу не заржали, не захрапели. Словно чувствовали, что происходит что-то неладное, иногда они поворачивали головы и блестящими глазами смотрели назад, в сторону деревни.

Вышли на заболоченный, кочковатый луг, за которым открывалась полоска гнилой воды. Через нее вели деревянные мостки. На другой стороне земля поднималась, и там уже могли расти деревья. Это был всего лишь узенький перелесок, со всех сторон окруженный болотами и водой. Туда и пустили лошадей. А на опушке братья поставили изгородь — какая вышла из наспех поваленных стволов. Управились они только под утро. Потом пошли домой. Мостки за собой сломали. И увидели, как вдалеке поднимаются два столба дыма.

Под вечер, когда они сидели перед домом старшего брата и беседовали о сыновьях, в деревню ворвался отряд неприятельской кавалерии. Братьям приказали вывести коней. Братья ответили, что никаких коней у них нет. Враги сказали — нет, есть,

двадцать или тридцать, всех вывести из конюшен. Старики показали им, что конюшни пусты. Тогда вражеские конники стали кричать и требовать, чтобы те признались, где они их спрятали. Братья ответили, что они никого никуда не прятали. Тогда их стали бить. Но они молчали. Напрасно шарили враги в скотных дворах, а потом и по домам.

Почти стемнело. Снова накинулись враги на братьев и снова жестоко избили их, и снова старики вынесли молча побои. Тогда конники пустились искать лошадей за деревней, по ложбинам и лесам. Но перебраться через болота вдруг рощицы, где братья спрятали табун, они не смогли, там была непролазная топь, а на луговине перед лесом, в самом подходящем для выпаса месте никаких коней не было.

Уже среди ночи разъяренные неудачей вернулись в деревню. Они подожгли ее со всех сторон. Жителям едва удалось спастись.

В гневе и глубокой печали смотрели старики, как пламя вгрызается в бревна и вот-вот превратит их дома в обугленные обломки. За этими стенами хранилось все, что составляло их жизнь, сквозь плотную завесу огня они словно различали каждый предмет. В этих стенах они любили и желали, мечтали и думали. В комнаты, когда-то открытые их спокойным взорам, теперь рвалось дикое пламя. Все рушится — пол, принимавший тяжесть их шагов, стол, принимавший их хлеб, — все, что помогало им жить, все, что давало им опору, как посох дает страннику опору и силу в долгой дороге. Поникнув, в отчаянии смотрели старики на огонь, и чувствовали, как смертельно они устали.

Дул свежий ветер. Дворы стояли рядом, и пламя перекидывалось с одного на другой. Странно было видеть, как эти дома шестерых братьев, эти сердца, которые бились в лад среди цветов и деревьев, теперь, умирая, вместе истекают кровью. Эта деревня горела совсем не так, как другие. Наконец языки пламени слились в один огромный костер, и ширились, ширились на ветру его могучие объятия. Все вокруг окрашивалось кровью огня, когда он, корчась, устремлялся к небу и побеждал мрак.

И старики увидели, как их жизнь вспыхнула в последний раз и пеплом легла на землю. Они стояли, сбившись в кучку. Их окружали неприятельские конники.

Потом вдруг все услышали отдаленный глухой гул. Обернулись и взгляделись во тьму. И ничего не увидели. Но гул приближался. В недоумении все выжидающе уставились на стену мрака, которую ночь воздвигла за дальними отсветами пожара. Наконец показалось более двадцати лошадиных морд, вытянутые шеи, залитые отблеском пожара лоснящиеся тела. Кони мчались во весь опор, плотной массой. Это были кони шестерых братьев. Враги все поняли и крикнули старикам: «Остановите их! Ступайте, остановите их!» Но братья не тронулись с места, ничего не ответили, они только неотрывно следили за грозным бегом коней. Табун при-

ближался с бешеной скоростью. Кони были в крови, словно продирались сквозь заросли, с животов капала болотная жижа. Было слышно их тяжелое дыхание. Они так неистово вытягивали шеи, что отчетливо обозначились все жилы, глаза их горели, они пристально смотрели на огненное море, они видели только огонь, ничего, кроме огня. И грохотали копыта.

Несколько человек спешили и бросились наперерез, пытаясь остановить коней. Но их растоптали. И тяжело дыша, взбесившийся табун ринулся в огонь, откуда через минуту раздался короткий пронзительный вопль.

Когда неприятельские конники оправились от изумления, они пришли в ярость из-за того, что их обманули, и из-за гибели товарищей. Они налетели на братьев и стали рубить куда попало. Один за другим падали братья на землю. Потом отряд ускакал. Рыдая и причитая, склонились над стариками женщины. Вот старший брат с трудом поднялся с земли. Тела остальных были безжизненны и холодны, и на нем было много ран, и из них текла кровь. И женщины разорвали свои одежды и перевязали его.

Прямо под открытым небом уснули измученные люди. Но старик остался с братьями. Сидя с ними, как столько раз сживал Прежде, он смотрел в их лица, которые после смерти становились все спокойнее. На этих лицах лежал отсвет пожара — так же, как и на его лице. Он не проронил ни слезы. Он только сидел и смотрел на снежно-белые головы старых людей, скошенных смертью.

На рассвете он ушел из деревни, никого не разбудив. Он направлялся на северо-восток. Он брел до позднего вечера. Когда силы оставляли его, он находил пристанище под сенью деревьев, но рано утром снова пускался в путь.

Так шел он день за днем. Люди жалели его, кормили и давали все, что нужно; удивительно, как он держался на ногах после всего пережитого. Его спрашивали, почему он, дряхлый старик, бросил дом и куда он держит путь. Мрачно глядя прямо перед собой, он поднимался и уходил и шел дальше.

Наконец старик добрался до расположения воинских частей, в которых сражались его сыновья и сыновья остальных братьев. И разыскал их в окопе.

Был мягкий и теплый вечер, когда он пришел к ним, и они собрались вокруг него. Он показал им свои раны. Он говорил тихо, и голос его словно доносился издали. Он почти не отрывал глаз от земли, не смотрел на сыновей, но знал, что они стоят друг против друга, и знал, как сжимаются у них сердца. Он рассказал обо всем, что произошло. Он говорил — и опять ревуший ветер перекидывал огонь со двора на двор, и вся деревня превращалась в сплошное огненное море, и в этом море ничего нельзя было различить. Примчались кони, глаза их горели, тяжело дыша, они ри-

нулись в объятия пламени. Конники налетели на стариков и рубили и кололи их до тех пор, пока все они не упали замертво.

Сыновья слушали, с трудом переводя дыханье, и на их лицах была беспредельная боль и печаль. Кончив, старик поднял голову и увидел, что взоры их пылают ненавистью, что тот огонь, который уничтожил их дома, отражается в их глазах.

Странно было видеть старика в окружении этих молодых мужчин, таких похожих, мучающихся одной болью; солдаты, расположившиеся неподалеку, тоже слышали его рассказ и тоже были потрясены. Весть быстро распространилась по войску. Сыновья были так схожи меж собой, что нередко их не отличали друг от друга. Увидя одного из них, люди шептались: «Вот сын шестерых братьев». И с участием смотрели на него, и каждый заражался его ненавистью.

Плотней сгущались сумерки. К ночи загрохотали неприятельские пушки. И так как все были исполнены жадной битвы, решили пойти в контратаку и взять позиции противника.

Выбежав из окопного полумрака, солдаты увидели, как раскаленные газы, вместе с железными ядрами вылетавшие из зевов вражеских орудий, слились в огромное облако, которое светилось во тьме огненно-красным заревом. Старик видел, как сыновья ринулись на это зарево, сжав кулаки и горя ненавистью, вспыхнувшей с новой силой.

Он шел, шатаясь, за ними. Он знал, что глаза у них горят. Он знал, что их лики и груди озарены отсветом того далекого огненного моря. Он видел, как неудержимо рвутся они вперед, в огонь. И он старался идти быстрее. Он смотрел и смотрел, покуда все богатыри не пали один за другим.

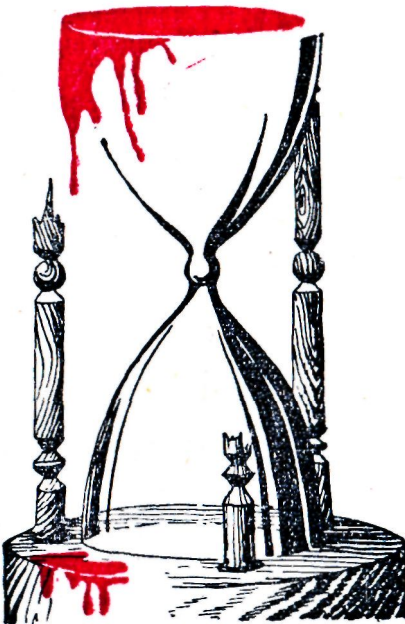
Тогда он опустился на землю, отяжелев от железа, которое настигло и его.

(Из сборника «Железо и люди»)



Пребывание здесь будет совсем коротким. И я испытываю досаду, оттого что застаю все в таком анафемском беспорядке.

Я попадаю из вечной тьмы в эту гостиницу для заезжих туристов, я тороплюсь, мне нужно столько успеть, мне хочется покоя и уюта, чтобы вкусить всю прелесть этого места, удостовериться, что оно превосходно, о чем я так много слышал. И вот все здесь перевернуто вверх дном. Мебель горами навалена в холле, маляры перекрашивают стены и потолки, столяры перебирают полы и ставят новые панели, стучат, прибивают, заколачивают. Свирепого вида субъекты месят цемент в огромных корытах. Черномазые сомнительные личности взламывают лестничные марши. Странные, подозрительные типы полируют перила, шлифуют рамы, перемещают осветительную арматуру. Повсюду краска, стружки, известь, гвозди, козлы, чурбаки. Запах олифы, замазки, цемента и свежераспиленного дерева. И шум и гвалт, как в преисподней.



Все разрушить напрочь! Все построить наново! Разрушить и построить, рушить и строить, строить и рушить!

На меня сыплются окрики, пинки, ругань этих грубых людей, я становлюсь помехой, едва переступив порог гостиницы, и чуть не падаю, скользя на их грязных плевках, под град оскорблений и издевок.

Наконец я наталкиваюсь на обслуживающий персонал. Он вежлив, он еще не успел в суматохе забыть, в чем его долг по отношению к гостю. Вам готовы всячески служить; но ничего нельзя поделывать, ничего. Ужасно неудачное время для приезда, сплошной кавардак, у самих просто руки опускаются.

Меня отводят в номер с наполовину содранными обоями, с разваленной изразцовой печью, загромождающей почти весь пол, с железной кроватью без матраца. И тотчас поспешно удаляются, ведь есть тысяча дел, которые надо постараться хоть как-то уладить.

Это ужасно, мне же так мало отпущено времени. Мне не дожидаться порядка, придется жить в этой сумятице, в этой грохочущей преисподней. А я-то мечтал в тишине и покое многое себе уяснить, обрести некую собранность и цельность, дать отстояться и вызреть мыслям, стать хоть на что-то годным, прежде чем пущусь в обратный путь. Но в этой неразберихе мне ничего себе не уяснить, в этом разладе мне не добиться ладу, и стройной цельности и собранности мне здесь не обрести.

И однако же я вынужден смириться. С утра до вечера брожу я среди жбанов с краской, стружек, цемента, протискиваюсь между перевёрнутой мебелью, перебираюсь через груды свежих, пахучих досок. День за днем брожу я среди грубых работников с их бранью и харканьем. А по ночам я лежу в своей кровати, железные перекладины которой глубоко врезаются мне в спину; без сна, больной, изнуренный, разбитый. Год за годом. Год за годом. Ибо время мчится здесь с бешеной скоростью! Не успеешь оглянуться, как уж промелькнула чуть не половина.

Я в отчаянии. Я слоняюсь взад-вперед, как полоумный, с лицом, бледным и огупелым от ночных бдений, тоски и бесполезных раздумий над своей судьбой. Я и сам чувствую, что у меня тупой и растерянный вид, а забудь я — окружающая чернь не замедлит напомнить мне об этом. Но это меня не трогает. Я всецело предаюсь своему отчаянию, своему горькому разочарованию. Я не стыжусь, с мокрыми от слез глазами брожу я среди этих грубых людей, раздраемый страхом и болью. Год за годом. Все тяжелее гнетет меня этот кавардак, шум, эта жуткая неразбериха вокруг, все глубже погружаюсь я в раздумья и в неизвестность, пытаюсь постичь, в чем же смысл этого всего.

Наконец я не в силах дольше терпеть. Неизвестность переполняет меня ужаснейшей мукой. Меня гложет и терзает одна мысль, ни на минуту не оставляя в покое, ибо, в сущности, это одна-един-

ственная мысль. Я должен попробовать выяснить, должен спросить, быть может, я смогу узнать. Ведь если бы мне *это* узнать, все бы, в сущности, было прекрасно, и я, пожалуй, мог бы подумать о том, чтобы что-либо предпринять и стать как все другие люди.

Я окликаю кого-то из персонала, кто пронесится мимо:

— Извините, пожалуйста... Вы бы не могли мне сказать...

— Что именно! — кричит он вежливо, но уже издалека.

И тут я понимаю, что я просто смешон. Боже ты мой, нельзя же спрашивать об этом у человека, который так спешит. С этим можно разве что к другу обратиться, да и то после того, как не один час просидели вместе и обо всем на свете поговорили. Я конфужусь. Я смахиваю с брюк пылинку и внимательно разглядываю свои еще почти элегантные штиблеты.

— Да нет, ничего, — говорю я, достаю часы и нервно перевожу их на полдня назад. А он скрывается из виду.

И опять проходит год за годом. Я седею, белеют виски, я устал, устал. Вокруг стучат и гремят, ломают и чинят. Шум и гам, груды досок, кирпичи, вымазанные глиной подмости. Грубые парни, брань, плевки, на которых скользишь.

Я несу свой крест. Я стараюсь справиться с ним сам. Но мне все тяжелее. Мне не выдержать. Я изнемогаю под его бременем, совсем выбиваюсь из сил.

Я должен на кого-то опереться, обратиться к кому-то за помощью. Я должен спросить, должен выяснить, я должен попытаться узнать. Меня губит эта полнейшая неизвестность, эти бесплодные раздумья, эта невозможность доискаться смысла, смысла.

И вот однажды я снова окликаю кого-то из персонала. Я должен набраться смелости, нельзя позволить ему опять уйти от меня, я должен его расспросить.

— Извините... Вы бы не...

— Чем могу служить? — спрашивает он весьма учтиво.

Я снова смущаюсь. При этих корректных словах мне становится ясно, что сам я приготовился изъясняться чересчур высокопарно, что я пребываю в каком-то до пошлости взволнованном душевном состоянии. Меня восхищают эти банальные, но столь легко и непринужденно сказанные слова, я стараюсь схватить их тон, я и сам бы не прочь усвоить этот тон. И, с напускной беспечностью помахивая тростью, я делаю попытку выложить ему все этак полунебрежно:

— Да знаете, я вот тут думал...

Но, продолжая, я вдруг чувствую, как весь мой страх вновь прорывается наружу, я слышу, как дрожит от волнения мой голос, словно у человека, взывающего о помощи в тяжелой беде.

— Скажите мне... скажите мне... *для чего мы живем?*

Он не смеется надо мной; он не находит ничего смешного в

моем поведении или, во всяком случае, не показывает этого. Он долго стоит, серьезно обдумывая ответ. Потом говорит:

— Будьте так любезны, обратитесь в дирекцию. Это вверх по лестнице и налево. Пожалуйста!

И он исчезает, наскоро притронувшись рукой к фуражке.

Я сиротливо стою, одинокий, подавленный. Он прав. Именно в дирекцию мне следовало обратиться. Это же очевидно. Простой служащий не обязан, бедняга, этого знать. И нелепо задавать такой вопрос человеку в форменной фуражке, подневольному, заганному бедняге, которому и думать-то некогда.

Если б только мне решиться зайти в дирекцию! Если б только решиться. Но я с робостью взираю на невысокую дверь с медной табличкой и матовым стеклом наверху, когда приходится мимо нее проходить, я нервозно проскальзываю мимо. Ведь я еще не уплатил за свое пребывание здесь. Я жду присылки денег. А они не приходят. У меня нет никакого состояния, но я все жду денег откуда-то из определенного места, сам не знаю, из какого; их нет и нет! А тем временем долг мой все растет.

Я не решаюсь туда войти. Нет, ни за что на свете не решиться мне туда войти. О боже, это ужасно, я не имею права здесь находиться, даже здесь, даже в этой преисподней!

Я прокрадываюсь к себе в комнату. Я перебираюсь через кучу пыльных изразцов, я бросаюсь к себе на кровать, перекладчины которой врезаются мне в спину. И предаюсь раздумьям — до тех пор, пока не засыпаю, забывшись в изнеможении.

Так я лежу, больной, одинокий. Год за годом. Я уже не в состоянии подняться. Время с бешеной скоростью несется вперед! Вокруг идет шумная возня, я слышу, как что-то рушится, строится. Я все думаю и думаю. Для чего же, для чего? Для чего же, для чего? Я пришел сюда с твердым намерением понять, какой смысл заложен в этом всем, а также понять, для чего нужен я сам. Я все думаю и думаю. Вокруг стучат и гремят, рушат, строят. Я *смысла* ищу! Я *смысла* ищу! Боже мой, если только я когда-нибудь узнаю, какой во всем этом смысл и для чего я нужен, так уж я напрягу все свои силы. Я *смысла* ищу!

Год за годом. Год за годом. Я старею, я делаюсь дряхлым стариком с седыми всклокоченными волосами, у меня морщинистые руки, у меня трясущиеся челюсти. Вокруг заколачивают и прибивают, орут и вопят. Дьявольщина, да разве не ясно: чтобы мыслить четко и глубоко, чтобы действительно до чего-то додуматься, человеку требуется хоть немного тишины и покоя! Разве не ясно: чтобы обозреть всю картину в целом, требуется, чтобы не было такого анафемского беспорядка! Дьявол их заberi!

Я старею, старею. Я умру, ведь я же умру!

И тут мое отчаяние становится безграничным, неистовым. Я в горячке мечусь по кровати, железные прутья до крови вон-

заются мне в тело, и кровь капает на пол. Я стенаю и плачу, я громко кричу от боли.

Смысл! Смысл!

Нет, самому мне его не найти! Самому не найти!

Может быть, мне позвонить, вызвать людей? Может быть, попросить кого-либо из персонала спуститься в контору и навести справку? То есть, может быть, они бы написали мне ответ на бумажке?

Нет, нет! Вместо этого они просто пришлют мне счет. А мне нечем уплатить, я жду письма, много, много денег в письме, я жду письма, которое так и не приходит. Я жду его с определенностью, я жду его из определенного места, я знаю, что оно придет, оно может быть здесь с минуты на минуту. Но оно так и не приходит, оно не приходит, нет, оно так и не придет никогда в этой жизни! Я не имею права здесь находиться, я не имею права лежать в этой кровати, которая врезается мне в спину.

Все другие трудятся, не зная устали. А я — я жду письма. Все другие стучат, прибивают, клеят, шпукатурят, полируют. А я — я думаю, я ишу смысла, смысла, заложенного в этом всем.

Может быть, мне позвонить? Может быть, они бы написали ответ на бумажке? Нет, нет! Ничего абсолютно нельзя вот так взять и узнать! Ничего абсолютно нельзя написать на бумажке.

О боже правый!

Я уже чувствую приближение смерти! Да, да! Я скоро умру! Я уже вот-вот умру!

О боже, о боже!..

И тут я встаю. Шатаюсь, я иду по комнате. Я хватаю свою одежду. Это заплесневелые лохмотья, сваленные в углу. Дрожа от холода, я натягиваю их на себя. И я выхожу и, шатаюсь, спускаюсь по лестнице.

У меня нет воротника. Мне приходится держать руку у шеи. Надо мной смеются, надо мной издеваются, мне вслед плюют. Это едва доходит до моего сознания.

Наконец я стою перед дверью в дирекцию. Смутно различаю я медную табличку и матовое стекло наверху, в котором шевелится большая тень. Я дрожу.

Я делаю несколько глубоких вдохов. Я стараюсь хоть чуточку прибодриться. Я кутаюсь плотнее в свою заплесневелую одежду. Потом, наконец, открываю дверь и вхожу.

Позади блестящей стойки полированного ореха стоит господин в прекрасно шитом сюртуке и полосатых брюках, с синим перстнем на указательном пальце, в пенсне, верхний край которого образует ровную прямую черту. Верховный сатана собственной персоной. Он окидывает меня быстрым взглядом.

Я держу руку у шеи. Я пробегаю пальцами по всклокоченным волосам. Я стараюсь быть спокойным, совершенно спокойным. Я стараюсь быть совершенно спокойным.

И я придвигаюсь к стойке, опираюсь о нее обеими руками и слегка наклоняюсь к нему.

— Извините, — говорю я. — ...Извините, не будете ли вы так добры сказать мне... для чего я жил?

Я выговариваю это с запинкой, лязгая зубами, содрогаясь всем телом.

Он тоже подходит к стойке. Он опирается о нее руками, совершенно как я, и однако же, чудится мне, по-иному. Он наклоняется ко мне, у него синий галстук с булавкой и приятный запах изо рта. Он говорит:

— Вы, сударь мой? Вы лично?

Я утвердительно киваю.

Тогда он раскрывает большую книгу и смотрит в нее. Он находит меня. И вот он водит указательным пальцем сверху вниз, листая страницу за страницей, чистые страницы с тремя красными столбцами с правой стороны.

Мне тягостно. Мне жутко.

Потом он резко захлопывает книгу и впивается в меня острым взглядом.

— *Это одному черту известно! Одному черту известно!*

Он больше ничего не говорит. Он ни в чем меня не упрекает. Он уже даже не смотрит на меня и спокойно возвращается к своей работе.

Этот случай его явно более не интересует. *Это даже не интересует его.*

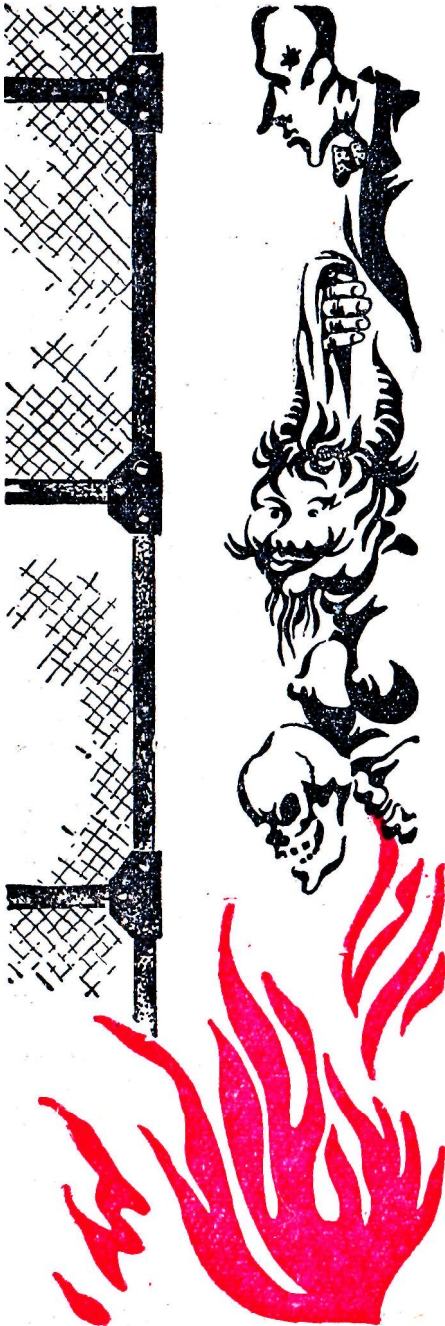
Я весь сжимаюсь, уничтоженный. Я бормочу какие-то слова, он их не слышит. Я пробегаю пальцами по своим волосам, влажным, как у ребенка. И нетвердым шагом иду к двери.

Я спускаюсь по лестнице, я прохожу по громадному холлу. Я пробираюсь между грудями досок, строительными подмостями, бородатыми работниками. Но никто больше не бросает мне вслед гнусных оскорблений, никто не осыпает меня бранью, никто не пинает меня, никто на меня не орет. Я больше никого не интересую. *Я даже не интересую их.*

Я мертв.

Я выхожу незамеченным через огромные, растворенные настежь двери.

И устремляюсь прочь, в бездонную тьму, из которой я пришел.



Заместитель директора банка Йенссон открыл снаружи дверь роскошного лифта и нежно подтолкнул вперед грациозное создание, от которого пахло пудрой и мехами. В лифте они опустились на мягкое сиденье, тесно прижавшись друг к другу, и лифт пошел вниз. Маленькая женщина потянулась к Йенссону полуоткрытыми губами, источавшими запах вина, и они поцеловались. Они только что поужинали на открытой террасе отеля, под звездами, и теперь собрались развлечься.

— Как чудесно было наверху, любимый, — прошептала она. — Так поэтично сидеть там с тобой, будто мы парим высоко-высоко, среди звезд. Только там начинаешь понимать, что такое любовь. Ты ведь любишь меня, правда?

Заместитель директора банка ответил поцелуем еще более долгим, чем первый. Лифт опускался.

— Как хорошо, что ты пришла, моя маленькая, — сказал он, — я уже места себе не находил.

— Да, но если бы ты знал, какой он был несносный! Как только я начала приводить себя в порядок, он спросил меня, куда я иду. «Туда, куда считаю нужным», — ответила я. Ведь как-никак я не арестантка. Тогда он сел и вытаращился на меня, и таращился все время, пока я одевалась, надевала мое новое бежевое платье, как, по-твоему, оно мне идет? Что вообще идет мне больше, может, все-таки розовое?

— Тебе все идет, любимая, — восторженно ответил заместитель директора банка, — но такой ослепительной, как сегодня, я еще не видел тебя никогда.

Благодарно улыбнувшись ему, она расстегнула шубку, и губы их слились в долгом поцелуе. Лифт опускался.

— Потом, когда я была уже совсем готова и собралась уходить, он схватил меня за руку и сжал ее так, что до сих пор болит, и хоть бы слово сказал! Такой грубый, ты себе представить не можешь! «Ну, до свиданья», — говорю я ему. Он, разумеется, на это ни слова. Упрямый до такой степени, что просто сил нет.

— Бедная моя малютка, — сказал заместитель директора банка Йенссон.

— Будто я не имею права пойти немного развлечься! Но, знаешь, таких серьезных, как он, наверно, больше на свете нет. Не может смотреть на вещи просто и естественно, для него все вопрос жизни и смерти.

— Бедная крошка, сколько тебе пришлось перенести.

— О, страдала ужасно, ужасно. Таких страданий не испытал никто. Только встретив тебя, узнала я, что такое любовь.

— Дорогая! — сказал Йенссон, обнимая ее. Лифт опускался.

— Какое блаженство, — заговорила она, придя в себя после его объятий, — сидеть с тобой там, наверху, и смотреть на звезды, и мечтать — о, я никогда этого не забуду. Ведь Арвид такой невозможный, всегда серьезный, в нем нет ни капли поэзии, для него она просто недоступна.

— Могу представить себе, любимая, как это ужасно.

— Правда, ужасно? Нет, — сказала она с улыбкой и протягивая ему руку, — к чему сидеть и говорить о таких вещах? Давай лучше выйдем отсюда и повеселимся хорошенько. Ты ведь любишь меня, правда?

— Ты еще спрашиваешь, — сказал заместитель директора банка и впился в нее долгим поцелуем так, что у нее перехватило дыхание. Лифт опускался, Йенссон склонился над ней и стал ласкать ее; она покраснела.

— Мы будем любить друг друга сегодня ночью как никогда прежде, да?.. — прошептал он. Она притянула его к себе и закрыла глаза. Лифт продолжал опускаться.

Он опускался и опускался.

Наконец Йенссон встал, лицо его было красным.

— Но что такое с лифтом? — воскликнул он. — Почему он не

останавливается? По-моему, мы сидим и болтаем здесь невероятно долго — разве не так?

— Да, милый, время летит так быстро.

— Мы здесь уже бог знает сколько времени! Что это значит?

Он посмотрел сквозь решетку двери. Кромешная тьма — и ничего больше. А лифт между тем все опускался и опускался с хорошей, ровной скоростью, все глубже и глубже вниз.

— Но бог мой, что это значит? Мы будто падаем в какую-то бездонную яму, и это длится уже целую вечность!

Они пытались разглядеть что-нибудь в этой бездне. Кромешная тьма — и они погружались в нее все глубже и глубже.

— Спускаемся в преисподнюю, — сказал Йенссон.

— Мне страшно, любимый, — жалобно проговорила женщина, повисая на его руке. — Прошу тебя, потяни скорее аварийный тормоз!

Йенссон потянул изо всех сил. Не помогло: лифт все так же спешил вниз и вниз, в бесконечность.

— Это какой-то ужас, — воскликнула она, — что нам делать?

— А какого черта тут можно сделать? — отозвался Йенссон. — Это похоже на бред.

Маленькую женщину охватило отчаяние, она зарыдала.

— Перестань, дорогая, не плачь, нам надо отнестись к этому разумно. Тут все равно ничего не поделаешь. Так, а теперь присядем. Ну вот, посидим спокойно, прижавшись друг к другу, и посмотрим, что будет дальше. Должен же он когда-нибудь остановиться, хотя бы перед самим сатаной.

Так они сидели и ждали.

— И подумать только, — сказала женщина, — чтобы такое случилось с нами именно тогда, когда мы собрались пойти развлечься!

— Да, черт знает до чего глупо, — согласился Йенссон.

— Ты ведь любишь меня, правда?

— Дорогая малютка, — сказал Йенссон и крепко прижал ее к груди. Лифт опускался.

Внезапно он стал. Вокруг было так светло, что слепило глаза. Они были в аду. Черт предупредительно открыл решетчатую дверь лифта и, отвесив глубокий поклон, сказал:

— Добрый вечер.

Одет он был с шиком, во фрак, висевший на волосатом спинном позвонке как на ржавом гвозде. Испытывая головокружение, Йенссон и женщина кос-как выбрались из кабины наружу.

— Где мы, о боже? — закричали они, цепеня от ужаса при виде этого жуткого существа. Черт, немного смутившись, объяснил им, где они.

— Но это не так страшно, как принято думать, — поспешил он добавить, — надеюсь, господа даже получат удовольствие. Только на одну ночь, насколько я понимаю?

— Да-да! — поспешил подтвердить обрадованный Йенссон. — Только на одну ночь! Остаться дольше мы не собираемся, ни в коем случае!

Маленькая женщина, дрожа, повисла на его руке. Желто-зеленый свет был так резок, что почти невозможно было что-либо разглядеть. Было несказанно жарко. Когда глаза их немного привыкли, они увидели, что стоят на площади, вокруг которой высятся во мраке дома с докрасна раскаленными входами; гардины были задернуты, но было видно сквозь щели, что внутри полыхает огонь.

— Господа, кажется, любят друг друга? — услышали они голос черта.

— Да, бесконечно, — ответила женщина, и ее прекрасные глаза засияли.

— Тогда вот этой дорогой, — сказал черт и любезно предложил проводить их. Пройдя несколько шагов, они свернули с площади в темный переулок. Перед замызганным парадным висел старый разбитый фонарь. — Сюда, пожалуйста. — Он открыл входную дверь и отступил назад, пропуская их.

Они вошли. Их встретила толстая, льстиво улыбающаяся чертовка с большими грудями и катышами фиолетовой пудры в бороде и усах. Она громко дышала, ее глаза, похожие на горошинки перца, смотрели дружелюбно и понимающе, рога на лбу были обвиты прядями волос и перевязаны каждый голубой шелковой ленточкой.

— Ах, так это господин Йенссон с дамой, — сказала она, — пожалуйста, восьмой номер.

И она протянула им большой ключ. Они двинулись вверх по засаленной лестнице. Ступени блестели от жира, на них было трудно не поскользнуться; подниматься пришлось на два марша. Йенссон отыскал восьмой номер, и они вошли. Комната была небольшая, воздух в ней был спертый. Посередине стоял стол, покрытый грязной скатертью, у стены — кровать с выглаженными простынями. Комната показалась им уютной. Они сняли пальто, и губы их слились в долгом поцелуе.

Незаметно в другую дверь вошел человек, на нем была одежда официанта, но смокинг был опрятный, а манишка такая чистая, что, казалось, светится в полутьме собственным светом. Ступал он бесшумно, шагов его слышно не было, а движения были какие-то механические — бессознательные. Выражение лица было строгим, неподвижные глаза смотрели прямо перед собой. Он был мертвенно бледен, а на виске зияло пробитое пулей отверстие. Он привел комнату в порядок, вытер туалетный столик, поставил ночной горшок и помойное ведро.

Они не обращали на него особенного внимания, но когда он собрался уходить, Йенссон сказал:

— Пожалуй, мы возьмем немного вина, принесите нам полбутылки мадеры.

Человек поклонился и исчез.

Йенссон снял пиджак. Женщина колебалась:

— Ведь он еще вернется.

— Ну, детка, в таком месте, как это, стесняться нечего, раздевайся — и все.

Она сняла платье, кокетливо подтянула штанишки и села к нему на колени. Это было восхитительно.

— Подумай только, — прошептала она, — мы с тобой одни, в таком необыкновенном, романтическом месте! Как поэтично! Я не забуду этого никогда...

— Прелесть моя, — сказал он, и губы их слились в долгом поцелуе.

Человек вошел снова, совсем бесшумно. Неторопливыми механическими движениями он поставил стаканы, налил в них вино. На его лицо упал свет ночника. В этом лице не было ничего особенного, если не считать того, что оно было мертвенно бледно, а на виске зияло пробитое пулей отверстие.

Вскрикнув, женщина соскочила с колен Йенссона.

— Боже мой! Арвид! Так это ты! Это ты! О бог мой, он умер! Он застрелился!

Человек стоял неподвижно, он смотрел только вперед, на то, что было перед ним. Его лицо не выражало страдания, а было только строгим, очень серьезным.

— Но, Арвид, что ты сделал, что ты сделал! Как мог ты?.. О любимый, если бы хоть что-либо подобное пришло мне в голову, можешь быть уверен, я осталась бы дома, с тобой. Но ведь ты никогда ничего такого мне не говорил. Ты не сказал мне об этом ни единого слова! Откуда же мне было знать, если ты не сказал! О боже!..

Ее била дрожь. Человек смотрел на нее как на чужого, незнакомого, взгляд был ледяной и бесцветный, он, не останавливаясь, проходил сквозь все, что оказывалось перед ним. Изжелта-белое лицо блестело, никакой крови из раны не шло, там просто было отверстие.

— О, это страшно, страшно! — закричала она. — Я не хочу здесь оставаться! Уйдем сейчас же, я этого не вынесу!

Она подхватила платье, шубу и шляпку и выскочила из комнаты. Йенссон последовал за ней. Они бросились вниз по лестнице, она поскользнулась и села в плевки и сигарный пепел. Внизу стояла та же рогатая старуха, она дружелюбно и понимающе ухмылялась в бороду, кивала головой.

На улице они немного успокоились. Она оделась, привела в порядок свой туалет, попудрила нос. Йенссон, словно защищая, обнял ее за талию, поцелуями остановил слезы, готовые брызнуть из ее глаз, он был такой хороший. Они зашагали к площади.

Оберчерт по-прежнему там прогуливался, они снова на него наткнулись.

— Как, уже все? — сказал он. — Надеюсь, господа остались довольны?

— О, это было ужасно! — воскликнула женщина.

— Не говорите так, не может быть, чтобы вы на самом деле так думали. Посмотрели бы вы, сударыня, как было в прежние времена — совсем иначе. А теперь на преисподнюю просто грех жаловаться. Мы делаем все, чтобы человек не только не почувствовал боли, но и получил удовольствие.

— Что правда, то правда, — согласился господин Йенссон, — приходится признать, что стало гуманнее.

— О да, — сказал черт, — модернизировано все сверху до низу, как полагается.

— Конечно, ведь надо идти в ногу с веком.

— Да, теперь остались только душевные муки.

— И слава богу! — воскликнула женщина.

Черт любезно проводил их к лифту.

— До свиданья, — сказал он, отвешивая низкий поклон, — и добро пожаловать снова.

Он захлопнул за ними дверь. Лифт пошел вверх.

— Как все же хорошо, что это кончилось, — с облегчением сказали оба, когда, тесно прижавшись друг к другу, опустились на мягкое сиденье.

— Без тебя я бы никогда не перенесла этого, — прошептала она. Он притянул ее к себе, и губы их слились в долгом поцелуе.

— Подумай только, — сказала она, придя в себя после его объятий, — чтобы он мог сделать такое! Но он всегда был со странностями. Никогда не мог смотреть на вещи просто и естественно, для него все было вопросом жизни и смерти.

— Ну и глупо.

— Ведь мог же он сказать мне об этом? Я бы осталась дома. Мы могли бы встретиться в другой вечер.

— Ну конечно, — сказал Йенссон, — конечно, встретились бы в другой раз.

— Но, любимый мой, что мы сидим и говорим об этом? — прошептала она, обвивая руками его шею. — Ведь все уже позади.

— Да, моя девочка, все уже позади.

Он заключил ее в объятия. Лифт шел вверх.

(Из сборника «Злые сказки»)



По безлюдным улицам ночью города шел злой ангел. Ветер выл среди домов, бушевал над крышами; на улицах не было никого, кроме ангела. Он был жилист и мускулист, он шел, наклоняясь против ветра и плотно сжав губы, кроваво-красный плащ скрывал его огромные крылья. Он сбежал из кафедрального собора, где долго простоял в затхлости и духоте. Веками дышал он свечным перегаром и ладаном, веками слушал он хвалебные гимны и молитвы, возносимые к мертвому богу, который висел у него над головой. Веками смотрел он на людей, коленопреклоненных, распростертых на церковном полу, устремляющих взоры к небу, бубнящих разную чепуху, в которую они верили. Трусливый сброд, провонявший верой во всякое вранье! Тошнотворная смесь из страха, путаных мыслей, убогой надежды ускользнуть от судьбы, выкарабкаться! Наконец-то он сбежал!

Он освободился от своих оков и ступил жилистой ногой на ал-

тарь, опрокинув чашу со святыми дарами. В гневе спустился он на пол и пинками расшвырял скамеечки молящихся. Вокруг висели святые с благочестивыми восторженными лицами, реликвии за решетками пахли гнилью, в апсиде горел свет, там на затхлои соломѣ лежал младенец, и восковая мать стояла перед ним на коленях — лживый, бессмысленный хлам! Ударом ноги он распахнул двери и вышел в ветреную ночь.

Он скажет правду!

Выйдя за ворота, он остановился и огляделся. Вот, значит, как у них тут устроено, у людей. Здесь они и живут.

Он остановился у ворот одного дома и окинул их горящим взглядом. Потом мечом, который носил при себе, вырезал на воротах крест. Ты умрешь! — сказал он.

Потом он пошел к другому дому. Глядя на ангела сбоку, можно было подумать, что он горбат, так были сложены крылья у него за широкими плечами. У этого дома он тоже остановился и тоже вырезал крест. Ты умрешь! — сказал он.

Так шел он от дома к дому и вырезал кресты коротким и тяжелым, как нож мясника, мечом.

Ты умрешь. Ты умрешь. И ты умрешь. И ты!

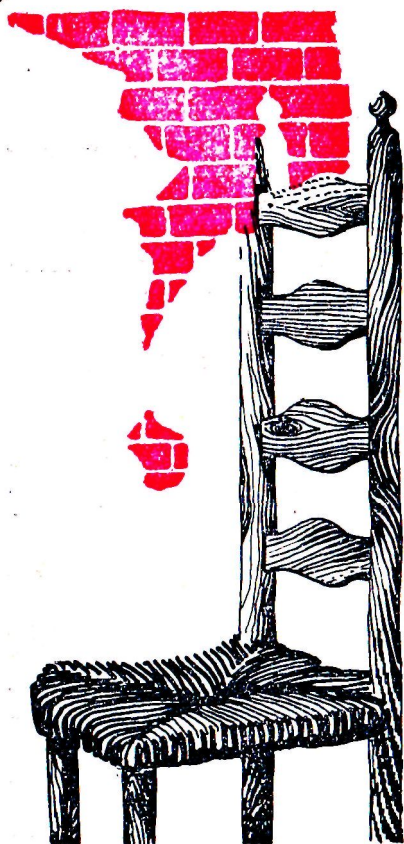
Он обошел весь город, борясь с ветром, и не пропустил ни одного дома.

Сделав свое дело, он вышел за городской вал, в ночь, где уже не было никакого человеческого жилья. Там он сбросил плащ и остался нагим. И развернув крылья, ангел поднялся в широко распахнутую тьму.

Проснувшись утром, люди удивились, обнаружив на каждом доме крест. Но они вовсе не испугались. Интересно, говорили они, как это произошло и почему. Они потолковали об этом, как обычно, прежде чем разойтись по делам. С чего вдруг везде вырезали знак, и без того всем хорошо известный? Будто нельзя напомнить о вещах более важных.

— Мы и сами знаем, что умрем, — говорили они.

(Из сборника «Злые сказки»)



Все мы видели его и видим почти каждый день. Мы не обращаем на него внимания, снова и снова проходим мимо того места, где он лежит, и не задумываемся о нем, словно он и должен там лежать, словно он — неотъемлемая принадлежность нашей жизни. Я говорю о безномом Линдгрене, который ползает по улицам и бульварам, отталкиваясь от земли руками в кожаных перчатках: ноги его тоже обшиты кожей. Лицо с короткой бородкой отмечено страданием, которого не в силах выразить маленькие, покорные глаза. Все мы встречали его и встречаем его постоянно, мы привыкли к нему и не замечаем его, будто он — неотъемлемая принадлежность нашей жизни. Мимоходом суем мы монету в его высохшую руку — ему ведь тоже надо жить.

Но все почти знают об этом старике только то, что он существует на свете. Поэтому я расскажу все, что мне известно о нем.

Я часто останавливался поболтать со стариком, в нем было что-то доброе и успокаивающее, и мне нравилось разговаривать с ним. Я так часто возле него останавливался, что прохожие могли подумать, будто это мой несчастный родственник. Но это не так. В нашем роду нет убогих, а то горе, которое выпало нам на долю, мы несем с достоинством, и миру оно неведомо. Однако я иной раз останавливался поболтать с ним, просто чтобы он не чувствовал себя отверженным, да к тому же ему и было что порассказать.

Я вовсе не ощущал, что между нами такая уж пропасть; и я частенько думал, что, если бы у меня вдруг отсохли ноги и мне пришлось бы вот так же ползать по земле, я бы ничуть не удивлялся и не возмущался, что именно мне выпала на долю такая судьба. Значит, между нами словно было что-то общее.

Однажды осенним вечером я натолкнулся на него в парке, где обычно назначают свиданья влюбленные. Он лежал под фонарем, на освещенном месте, с протянутой рукой, хотя вокруг никого не было; может, он надеялся, что от любви люди становятся щедрее, а скорее, просто не разбирался в делах этого мира и лежал с протянутой рукой где придется; или, может, он жил где-то поблизости. Недавно прошел дождь, всюду стояли лужи. Линдгрэн весь перепачкался, и вид у него был усталый и больной.

— Не пора ли вам домой, Линдгрэн? — спросил я. — Уже поздно.

— Да, — ответил он, — пожалуй, пора.

— Я немного провожу вас. Где вы живете?

Он сказал мне свой адрес, и оказалось, что мы живем совсем рядом и нам по пути.

Мы наискосок пересекли улицу.

— А не страшно вам переходить дорогу? — спросил я.

— Нет, что вы, — ответил он. — Ко мне все очень внимательно. Вчера полицейский специально ради меня остановил движение. Правда, он велел мне поторапливаться, но что же тут удивительного. Нет-нет! Меня здесь все знают, и все привыкли ко мне.

Мы медленно продолжали путь. Мне приходилось останавливаться на каждом шагу, иначе он не послевал за мной. Начало моросить. Он полз рядом со мной, цепляясь грязными руками за камни и подтягивая свое тело, словно усталое животное, пробирающееся домой, в свою нору.

Но это был такой же человек, как я, он разговаривал, вздыхал и хотя видел я его плохо, потому что вечер был пасмурный и горели лишь редкие фонари, я все время слышал его, чувствовал, как он изо всех сил старается не отстать, и мучился невыразимой жалостью.

— А не сетуете ли вы на свою судьбу, Линдгрэн? — спросил я. — Наверно, часто она кажется вам горькой?

— Нет, — ответил он. — Вот вы удивитесь, наверное, а ведь

я считаю, что судьба моя вовсе не такая тяжелая, как думают другие. Ко всему привыкаешь. Я же такой родился. Вот когда человек здоров, а потом с ним вдруг ни с того ни с сего случается такое, это куда хуже. Нет, мне не на что жаловаться, если подумать хорошенько. Бывает, людям еще труднее живется. Каких только не бывает напастей, а я живу тихо — судьба ко мне милосердна. Если разобраться, так я вижу в жизни одно хорошее.

— Как это? — удивился я.

— Ну да, я встречаюсь только с хорошими людьми, только они останавливаются подать мне монету. А про остальных я ничего не знаю, они ведь проходят мимо.

— Вы, Линдгрэн, я вижу, умеете все повернуть к лучшему! — сказал я с невольной улыбкой.

— Почему? Так и есть, — возразил он строго. — И это нужно ценить.

На самом-то деле я отнесся к его словам серьезно. Я понял, что он прав, — блажен, кто видит в жизни только хорошее.

Мы все шли и шли. Неподалеку, в подвальной лавчонке, горел свет.

— Я куплю хлеба, — сказал он, подполз к окошку и постучал. Вышла девушка с аккуратным пакетиком.

— Добрый вечер, Линдгрэн, — сказала она. — Ух, ну и погода! Пора, пора домой.

— Да, пора, — ответил старик, они кивнули друг другу на прощанье, и девушка закрыла дверь.

— Я все покупаю только в подвалах, — сказал он, когда мы двинулись дальше.

— Да, понятно, — отозвался я.

— Там люди всегда приветливее.

— Угу, возможно.

— Нет, это правда так, — сказал он настойчиво.

Мы пробирались теперь какими-то темными ухабистыми закоулками.

— Я тоже живу в подвале; вы, наверное, так и думали? — продолжал он. — И мне там очень нравится. Хозяин нашего дома устроил меня там. Он замечательный человек.

Так продвигались мы по улицам.

Я никогда не замечал, что до моего дома так далеко. Я устал, измучился, мне казалось, будто сам я не иду, как ходят все люди. А ползу с огромным трудом. Когда мы приближались к фонарю, я видел Линдгрэна у своих ног, потом он снова исчезал в темноте, и я слышал лишь его прерывистое дыхание.

Наконец мы добрались до его улицы, а потом и до того дома, где он жил. Дом был большой и красивый, почти во всех окнах горел свет, во втором этаже был, наверное, званный вечер, сверкали люстры, оттуда в осеннюю слякоть вырывалась музыка; мелькали танцующие пары. Линдгрэн добрался до своей лестницы —

три-четыре ступеньки вели вниз, в его жилище. Тут же было окно, украшенное обрывком занавески, на подоконнике, в банке из-под анчоусов, стоял цветок.

— Милости прошу вас загляните ко мне, посмотрите, как я живу, — сказал он.

Я не собирался к нему заходить. Я не понимал, для чего это нужно. Мне стало не по себе. Зачем мне туда идти? Не такие уж мы с ним друзья, я проводил его немного, потому что нам было по пути, а заходить к нему мне незачем.

Я замешкался, там, во втором этаже, где был вечер, жили мои знакомые; странно, что меня не пригласили, — забыли, наверно.

— Вы ведь не в обиде, что я приглашаю вас к себе? — спросил старик, смущенный моим молчанием.

— Нет, — ответил я.

Нет, он, наверно, меня понял, мне хочется, да, да, хочется зайти посмотреть, как он живет.

Он спустился по ступенькам, вынул из кармана ключ и вставил его в замочную скважину. Я заметил, что она была прорезана низко, чтобы Линдгрэн мог до нее доставать.

— Это наш хозяин сделал, — сказал он. — Всегда обо всем позаботится.

Дверь отворилась, мы вошли. Он зажег лампу, и я огляделся. Комната была маленькая и убогая, на холодном каменном полу лежал рваный коврик. Посредине был стол с подпиленными ножками и два низких стула. В углу был камин, где старик, вероятно, готовил себе еду; на полке, служившей кладовкой, стояли в ряд банки, прикрытые доскутками, и были аккуратно разложены черствые кусочки хлеба, которые он, по-видимому, макал в кофе; полку украшали белые бумажные кружева. У стены стояла кровать, вернее, нары, низкие, почти у самого пола, застеленные чистым и опрятным одеялом.

Несмотря на крайнюю бедность, всюду был порядок и уют.

Не знаю почему, но, оглядывая комнату, я испытывал мучительную тоску. Зачем ему это? На его месте я предпочел бы неряшливость и грязь, предпочел бы дыру, куда можно залезть и спрятаться, как прячется зверь в нору, — так мне было бы легче. Но здесь повсюду порядок и чистота. Он начал ползать по комнате, хозяйничая в своем уютном домике; дотянулся до вазы с цветами, налил воды, снова сполз на пол, достал скатерть из ящика, выкрашенного голубой краской, расстелил, поставил на стол чашки и блюда.

У меня сердце разрывалось, когда я смотрел, как он привычно возится со всем этим. Перчатки он снял, ладони у него были плоские и грубые. Он развел огонь, лег у камина и раздувал пламя, пока в трубе не зашумело, подложил угля, потом поставил на огонь кофейник. Помочь ему мне не удалось бы: только он один знал, где у него что лежит. Он делал все привычно и

споро, и видно было, как ему это приятно, как милы ему эти мелкие заботы. Время от времени он добродушно поглядывал на меня. Здесь, у себя дома, он стал приветливым и спокойным, совсем другим. Скоро закипел кофейник, и по комнате распространился запах кофе. Когда все было готово, он с трудом взобрался на стул и уселся с довольной улыбкой. Он разлил кофе по чашкам, и мы стали пить. Кофе приятно согревал. Он хотел, чтобы я съел и кусочек хлеба, но этого я не мог от него принять. Сам он ел с какой-то странной торжественностью, медленно отламывая по кусочку и тщательно подбирая крошки. Он ел, словно совершал священный обряд. Глаза у него сияли. Никогда еще не видел я, чтобы человеческое лицо так сияло, так тихо светилось.

Я был тронут и в то же время подавлен. Откуда у него силы так мужественно сносить свое несчастье? Я, здоровый человек, случайно заглянувший сюда, чтобы посмотреть, как он живет в своей норе, — я не мог прийти в себя.

«Да, — думал я, — у него, наверное, есть какие-то тайные надежды, может, он верующий, а тогда все можно снести, тогда ничего не страшно». И я вспомнил, что хотел спросить его именно об этом — о том, что томило меня самого, никогда не оставляло в покое, влекло к глубинам, которым противилось мое существо. Потому я и пошел с ним — я хотел спросить его об этом. Мне нечего было здесь делать. Просто я хотел его спросить.

— Скажите, Линдгрэн, — начал я, — когда у человека такая жизнь, как у вас, когда приходится выносить столько страданий, не испытывает ли он больше других потребности верить в какие-то нездешние силы, верить в то, что есть бог, всемогущий бог, который, налагая на него столь тяжкую судьбу, преследует какие-то высшие цели?

Старик подумал немного.

— Нет, — ответил он, запнувшись, — верно, это бывает не с такими, как я.

Как странно, как неловко было услышать его ответ. Неужели он не чувствует убожества своего существования, не подозревает, как богата и прекрасна жизнь!

— Нет, — повторил он, погруженный в свои мысли, — нам бог нужен меньше, чем другим. Если бы он существовал, он мог бы открыть нам только то, до чего мы сами дошли, только то, за что сами благодарны. Я часто говорю про это с нашим хозяином, — продолжал Линдгрэн, — он меня многому научил. Вы, господин, наверное, не знаете нашего хозяина, а жалко — это замечательный человек.

— Нет, я с ним не знаком.

— Да, конечно, конечно. Очень жалко.

«Ну еще бы, — думал я, — откуда мне знать, что это за удивительный хозяин, — возможно, он и впрямь редкостный чело-

век, — но я-то живу в другом доме». Все это я только подумал, а вслух ничего не сказал.

— Странно, — сказал старик, — у него так много домов, чуть ли не все дома здесь — его, наверно, и вы, господин, живете в одном из его домов. Да, — продолжал он, — конечно, ему трудно со всем управиться! Когда я пришел к нему и спросил, не приютит ли он меня — потому что мне ведь тоже нужно где-то жить, — он сперва долго меня рассматривал. «Помещу-ка я тебя в подвале, — сказал он потом, — наверху тебе жить нельзя». — «Ну конечно, — говорю, — я понимаю». — «По-моему, подвал тебе подойдет, — говорит, — надеюсь, я не ошибся? Ты-то сам как считаешь?» — «По-моему, — говорю, — это для меня самое подходящее место». — «То-то, — говорит. — Я не могу пускать в подвал кого попало. Не хочу, чтобы люди ругались и ссорились, не хочу подозрительных жильцов. Наверх я еще пускаю тех, о ком почти ничего не знаю, а в подвале у меня всегда живут хорошие и надежные люди, мои друзья. Ну, как ты считаешь; подойдет это тебе?» — «Да, конечно», — говорю; я очень обрадовался. «Стало быть, все в порядке». А платить-то ты сможешь? — спрашивает; человек он строгий, ничего не скажешь. — Платить должны все, ничего не поделаешь, беден — не беден, платить надо. Ты будешь платить недорого, много-то с тебя не возьмешь. Но хоть сколько-нибудь, а платить надо. Где ты берешь деньги?» — «Мне приходится жить за счет добрых людей». — «И есть такие на свете?» — удивился он и поглядел на меня. «Конечно, есть, и много, а как же иначе?» — «Да, верно, — говорит. — Это уж как посмотреть. Ну ладно, ты неглупый старик, оставайся у меня». Да, он замечательный человек, хоть с виду такой простой. Он мне очень помог. Без него худо бы мне пришлось. Он часто сюда заглядывает — посидим, поболтаем. Мне ведь это такая поддержка. Как важно знать, что кто-то тебя понимает. «Линдгрэн — положительный человек», — вот как он говорит. Такое приятно слышать.

Счастливый и довольный, глядел он на меня.

— А вы, господин, тоже положительный человек? — спросил он.

Я не ответил и опустил глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом.

Мы сидели в его тихой и убогой комнате. Свет лампы падал на низкий стол с подпиленными ножками, на скатерть, на черствые куски хлеба, на кровать, где он спал. Мое молчание не тревожило его. Я заметил, что он думает о своем.

Потом он сполз со стула, взглянул на камин, вымыл чашки и аккуратно поставил их на полку. Подполз к кровати, что-то поправил там, снял одеяло. Но, положив его на стул и разгладив рукой складки, он остался лежать на полу.

— Хорошо, когда день кончается, — сказал он. Он и вправду устал, это было видно.

— И это говорите вы, Линдгрэн, хотя считаете жизнь такой богатой и значительной.

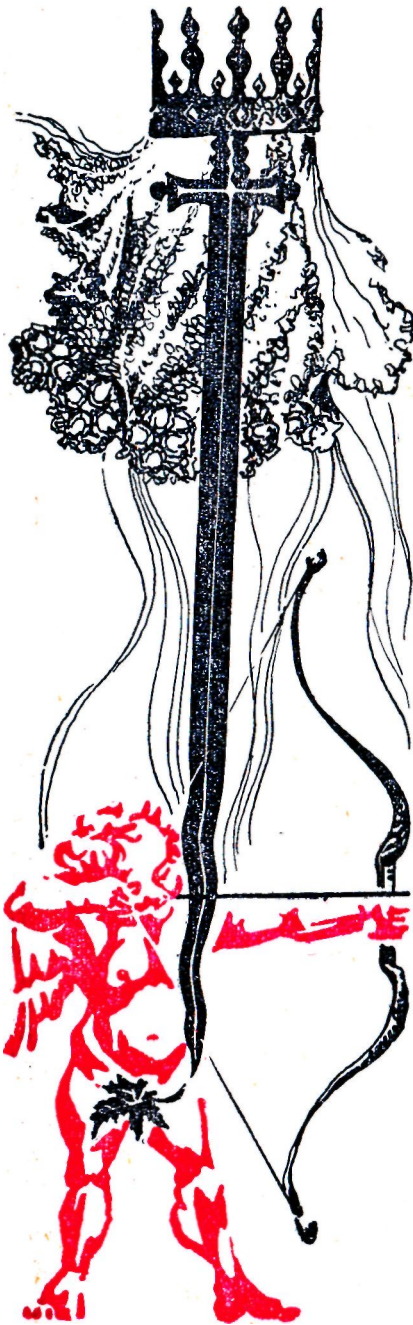
— Да, — ответил он, спокойно глядя прямо перед собой, — жизнь богата. Я так хорошо понимаю, так ясно чувствую это. А вот день всегда трудно прожить до конца. Но это уж я сам виноват.

Он глубоко вздохнул. Глядя, как он стоит, скорчившись, на коленях, можно было бы подумать, что он молится, но таким вот сотворила его природа.

Я тихо встал, собираясь уйти. Подошел к нему, поблагодарил, пожелал доброй ночи. Он пригласил меня заходить, когда мне захочется, и я сказал, что с удовольствием зайду. Потом он пополз, провожая меня до дверей, и я вышел на улицу.

Теперь во всем доме было темно. Темно было и во втором этаже, где недавно сверкали люстры. Наверное, у них и не было званого вечера, раз все так рано кончилось. Только внизу у старика горел свет, он освещал мне дорогу почти до самого дома.

(Из сборника «Злые сказки»)



Жил-был принц, и отправился он однажды на войну, чтобы завоевать принцессу несравненной красоты, которую любил больше всего на свете. Рискую жизнью, отвоевывал он пядь за пядью и, сокрушая все на своем пути, продвигался по стране. Ничто не могло остановить его. Принц истекал кровью, но не шадил себя и все снова и снова бросался в бой. Даже среди самых доблестных рыцарей не было ему равных. Воинский пыл его был так же благороден, как и черты его молодого лица.

Наконец он достиг стен города, где в роскошном дворце жила принцесса. Город не смог оказать принцу сопротивления и был вынужден просить пощады. Ворота распахнулись, и принц въехал в город как победитель.

И когда принцесса увидела, какой он гордый и прекрасный, когда она подумала, сколько раз он рисковал из-за нее жизнью, она не смогла устоять и подала

ему свою руку. Принц преклонил колени и покрыл ее руку горячими поцелуями.

— Невеста моя, вот я и завоевал тебя! — воскликнул он, сияя от счастья. — Я сражался только за тебя, и ты наконец моя!

И он предложил ей в тот же день обвенчаться. Весь город принял праздничный вид, и свадьбу справили со всей торжественностью и великолепием.

А когда вечером принц пожелал войти в опочивальню принцессы, его встретил у дверей высокочтимый старец, управляющий королевским дворцом. Вручая молодому победителю ключи от королевства и золотую, усыпанную драгоценными камнями корону, он склонил свою белоснежную голову и сказал:

— Властелин, вот ключи от государства, вернее, от его казны, все сокровища которой отныне принадлежат тебе.

Принц нахмурил лоб.

— Что ты говоришь, старик! Мне не нужны твои ключи! Я сражался не ради презренной выгоды, а чтобы завоевать любимую, ибо она — единственная для меня ценность на земле.

Старик ответил:

— Но ты завоевал и ключи, мой повелитель. Ты не можешь от них отказаться. Отныне ты должен также властвовать и оберегать сокровища своего королевства.

— Ты, видно, не понимаешь, что я говорю! Не понимаешь, что можно сражаться и победить, не требуя при этом никакой награды: ни славы, ни золота, ни королевства, ни даже могущества, а только счастья? Верно, я победил, но я не требую ничего, кроме возможности счастливо жить с той, которая для меня единственная ценность в жизни.

— Да, властелин, ты победил. Ты воевал как храбрейший из храбрых, не шадя ничего на своем пути, оставляя за собой опустошенную землю. Ты добился своего счастья. Но, повелитель, другие лишились его. Ты победил, и поэтому все теперь принадлежит тебе. Перед тобой великая страна — плодородная, но истощенная войной, могущественная, но разоренная, богатства ее несметны, а нищета беспредельна, и с радостью соседствует печаль. Отныне все это — твое. Ибо тому, кто завоевал принцессу и счастье, принадлежит также страна, где она родилась, — он должен управлять страной и оберегать ее.

Принц слушал, мрачно потупясь и беспокойно играя рукоятью меча.

— Я принц счастья, и только! — вспыхнул он. — И не желаю быть ничем иным! Если ты станешь на моем пути, я призову на помощь мой добрый меч.

Но старец поднял руку, призывая принца не горячиться, и ис-

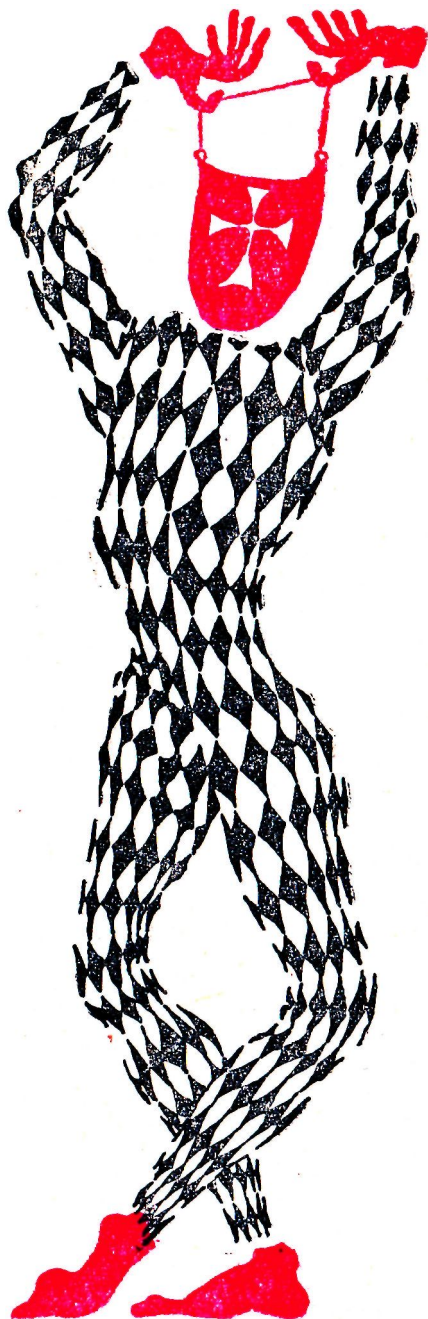
пытующе, с мудрым спокойствием посмотрел на юношу. Принц отступил.

— Повелитель, ты больше не принц, — смиренно сказал старик. — Ты — король.

И он возложил своими старческими руками корону на голову принца.

Молодой властитель стоял безмолвный и взволнованный. С короной на голове он выглядел еще более мужественным... Исполненный сознания своей власти на земле, в глубокой задумчивости вошел он к своей любимой, чтобы разделить с нею ложе.

(Из сборника «Злые сказки»)



В одном городе, где люди жаждали все новых и новых развлечений, консорциум пригласил акробата на следующих условиях: сначала он будет балансировать на верхушке церковного шпиля, стоять там на голове, а потом упадет и разобьется. За это он получит 500 000. Затея вызвала живейший интерес у граждан всех классов и сословий. Билеты были распроданы за несколько дней, и все только и говорили, что о предстоящем событии. Вот это смелость — ничего не скажешь! Но ведь сумма какая. Конечно, не очень приятно упасть и разбиться, да еще с такой высоты. Однако и плата назначена щедрая, с этим нельзя не согласиться.

Консорциум, выступавший как устроитель, действительно не поскупился, и граждане по праву гордились, что в их родном городе состоится подобное представление. Естественно, необычайный интерес вызвала личность того, кто взялся осуществить задуманное. Корреспонденты газет бук-

важно преследовали смельчака, не отпускали его ни на шаг — ведь до спектакля оставалось всего несколько дней. Он любезно принимал журналистов в своем номере лучшей гостиницы города.

— Гм, для меня это всего лишь сделка. Мне предложили известную вам сумму, и я согласился. Вот, собственно, и все.

— Но не смущает ли вас то обстоятельство, что вам придется поплатиться жизнью? Разумеется, другой финал невозможен, иначе не получилось бы сенсации и консорциум не смог бы выплатить такое вознаграждение. Но все же для вас лично в этом мало радости.

— Да, вы правы, я и сам об этом думал. Но чего не сделаешь ради денег.

На основании этих высказываний пресса публиковала длинные статьи о до сих пор никому не известном человеке, о его прошлом, взглядах, о его отношении к различным проблемам современности. Много места уделялось его характеру и личной жизни.

Ни одна газета не выходила без портрета героя. С газетных полос на вас смотрел молодой, крепко скроенный человек, ничем особенно не примечательный, с энергичным, открытым лицом, живой и жизнерадостный, волевой и здравомыслящий — короче, типичный представитель лучшей части современной молодежи. Портрет его обсуждали и изучали в каждом кафе — люди готовились к предстоящей сенсации. Все находили, что он недурен и даже, пожалуй, симпатичен, а женщины считали, что он просто обворожителен. Некоторые — те, у кого ума было побольше, пожимали плечами и говорили: «Ловко сработано!» Все, однако, соглашались с тем, что это странная, фантастическая идея, какая может родиться только в наш необычайный век с его бешеным темпом жизни и стремлением к самопожертвованию. Все сходились и на том, что консорциум заслуживает всяческих похвал, так как не посчитался ни с какими затратами, чтобы осуществить задуманное и дать городу возможность насладиться подобным зрелищем. По всей вероятности, консорциум рассчитывал покрыть расходы за счет сбора — билеты стоили очень дорого, но риск все же был.

Наконец великий день настал. Весь квартал вокруг церкви был забит народом. Напряжение достигло предела. Затаив дыхание все ждали того, что должно было свершиться.

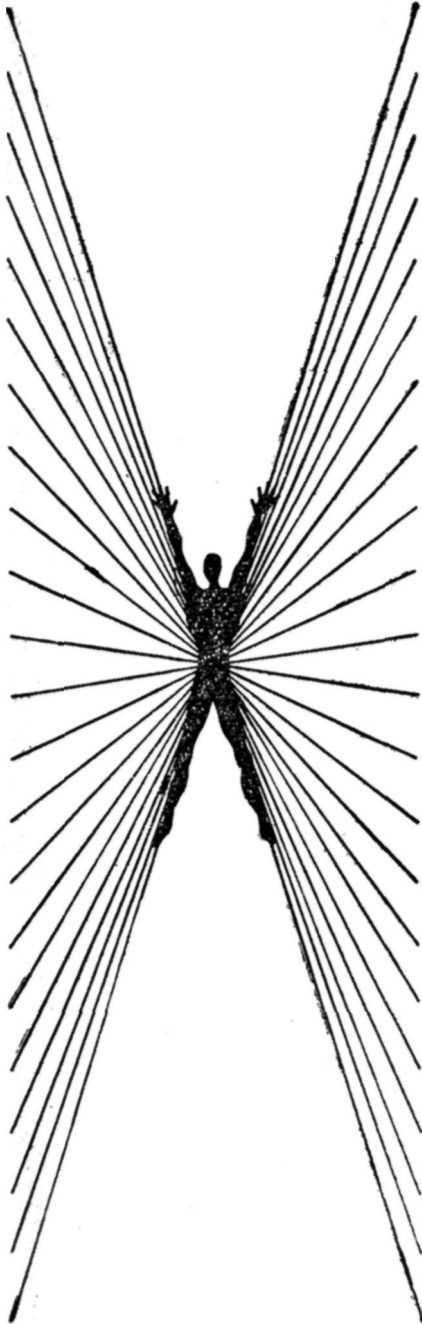
И человек действительно упал. Все произошло очень быстро. Зрители содрогнулись, а потом стали расходиться по домам, испытывая, однако, некоторое разочарование.

Это было, конечно, великолепно, но все же... Он всего-навсего упал и разбился. Пожалуй, слишком дорого заплатили они за то,

что оказалось в конечном счете так просто. Разумеется, он ужасно разбился, но какая в этом радость? Загублена молодость, полная надежд.

Недовольные граждане понуро шли домой, дамы раскрыли зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Нет, следовало бы запретить демонстрацию подобных ужасов. Кому они могут доставить удовольствие? Если хорошенько подумать, то все это просто возмутительно.

(Из сборника «Злые сказки»)



Мое имя — Юхан, но все называют меня Спасителем, потому что я спасу людей на земле. В этом мое предназначение, и потому меня так называют. Я не такой, как другие, и никто здесь в городе не похож на меня. В моей груди господь зажег огонь, который никогда не гаснет, я чувствую, как он горит во мне, горит день и ночь. Я знаю, что должен спасти людей, что ради них я буду принесен в жертву. Моя вера, вера, которую я им проповедую, принесет им освобождение.

Да, я знаю, как сильно я должен верить, верить, за них, за всех, кто алчет и жаждет и не может насытиться. Я вдохну в них жизнь. В тоске и нужде они взывают ко мне, и я, будто мановением доброй и ласковой руки, освобожу их от всех бед — и не будет больше ни забот, ни тревог.

Да, я спасу людей на земле. В четырнадцать лет я понял, что в этом мое предназначение. С тех пор я не такой, как другие.

Я даже одет не так, как все. На куртке у меня два ряда серебряных пуговиц, вокруг пояса — зеленая лента, а на рукаве — красная. На шее у меня висит на шнурочке крышка от коробки из-под сигар, на которой нарисована молодая и красивая женщина — что это такое, я уже не помню. Вот как я одет. А на лбу у меня звезда, которую я сам вырезал из жести, звезда сияет на солнце, ее видно издали, она сверкает так, что все обращают на нее внимание.

Когда я иду по улице, люди смотрят мне вслед. Они удивляются. «Смотрите, Спаситель», — говорят они. Они знают, что это я. Знают, что я пришел, чтобы спасти их.

Но они меня не понимают. Они верят не так, как нужно верить. Не так, как верю я. В них не пылает огонь, как во мне. Поэтому я должен говорить с ними, учить их верить, поэтому я должен пока быть среди них.

По-моему, это очень странно — они видят своего Спасителя, слышат его, он живет среди них, и все-таки они его не понимают. Но когда-нибудь глаза у них раскроются, и они увидят его таким, каков он есть.

Сегодня базарный день. Я был на площади и проповедовал, как обычно. Там были крестьяне со своими телегами. Все собралось вокруг меня. Я говорил им обо всем том, что ношу в себе, о слове божьем, которое я должен возвестить миру, и о том, что я пришел освободить их, что я помогу им обрести покой. Они слушали внимательно, я думаю, их утешили мои слова.

Я не знаю, почему они смеялись. Я не смеюсь никогда. Для меня все серьезно. И когда я стоял, глядя на всех этих людей, и думал, что у каждого из них есть душа, которую нужно спасти от гибели, я чувствовал, сколь велика и серьезна моя задача. Как это чудесно — говорить и видеть, что тебя слушают. Мне даже показалось на миг, что передо мной неисчислимые толпы людей, среди них и те, кто не пришел сегодня меня послушать (ведь когда базар небольшой, народу бывает не так много), показалось, что я вижу всех людей земли, всех алчущих и жаждущих покоя, и я несу им спасение. Это был миг блаженства, я никогда его не забуду.

Мне кажется, сегодня я говорил вдохновенно, и они понимали меня.

Когда я кончил, один из них выступил вперед и от имени всего собрания вручил мне кочан капусты. Я взял его с собой и дома сварил удивительно вкусный и сытный суп. Уже давно я не ел горячего. Боже, благослови этого доброго человека.

Как жаль людей! Все они несчастны, все страдают, все в отчаянии. Булочник Юханссон несчастен оттого, что лишился по-

купателей с тех пор, как рядом открылась другая булочная. Хлеб у него все такой же хороший, он мне часто дает кусочек. Хлеб всегда хорош. Полицейский Экстрем, с которым я часто разговариваю, несчастен потому, что жена у него плохая хозяйка и совсем перестала заботиться о нем. Даже городской судья, и тот несчастен, потому что потерял своего единственного сына.

Только я счастлив. Во мне ведь горит огонь веры, который никогда не гаснет, который будет гореть и гореть, пока не сожжет меня. Я не знаю ни забот, ни тревог, я не такой, как они. Таким мне быть нельзя.

Нет, мне нельзя отчаиваться. Ведь я должен верить за них.

Они взяли меня на казенный кошт, чтобы я мог посвятить себя своему делу, ни о чем больше не заботясь. Мне здесь хорошо, нас кормят два раза каждый день. Все здесь — бедные и несчастные люди, мне их очень жаль. Они добрые и тихие, кажется, еще никто не понимал меня так хорошо, как они. Они тоже называют меня Спасителем и очень уважают.

По вечерам я им проповедую. Они слушают меня с благоговением, каждое слово западает им в душу. Как сияют их глаза, когда я говорю! Они хватаются за меня, за мои слова, как за свою единственную надежду. Да, они понимают, что я пришел их спасти.

После ужина я всегда собираю их вокруг себя и говорю о той вере, которая может преодолеть все, которая превратит этот мир в счастливую обитель, дарованную нам господом. Начальник говорит, что это можно, что это разрешается. Он мной доволен. Потом мы идем отдыхать. В комнате нас четверо. Над моей постелью висит звезда, она сияет надо мной всю ночь, она бросает свет на мое лицо, когда я сплю. Я не такой, как другие.

О, страшное отчаяние в моей душе! Отчаяние и тоска душат нас всех! Исчезла звезда, звезда Спасителя, которая одна только может указать нам путь! Утром, когда я проснулся, гвоздь, на который я ее повесил, был пуст. Никто не знает, куда она пропала. Тьма поглотила нас, я ищу луч света, но не нахожу ничего, не нахожу пути из этой ужасной тьмы. Все убиты горем, весь город погружен в печаль. Из окна нашего дома мы видим, каким серым и мрачным стало небо, кажется, что дома и улицы посыпаны пеплом, нигде ни огонька.

Как же нам быть? Как избавиться от отчаяния, охватившего нас?

Все с надеждой смотрят на меня. Но что я такое, раз над моей головой не сияет звезда и небесный свет не ведет меня? Теперь я — ничто, такой же бедняк, как все.

Кто же тогда спасет нас?

Все уладилось, все хорошо. Старый Энук спрятал ее. Мы нашли ее у него под матрацем. Теперь все счастливы и спокойны. После этого испытания моя вера окрепла еще больше.

Это была только шутка, я не сержусь.

Иногда я чувствую такое одиночество и пустоту вокруг. Мне кажется, что люди не понимают, зачем я послан к ним. Я сомневаюсь в своей власти над их душами. Сумею ли я освободить их?

Они всегда так хорошо улыбаются, когда я проповедую, их лица светлеют, лишь они завидят меня. Но верят ли они в меня по-настоящему?

По-моему, очень странно, что они, зная, кто я такой, не чувствуют огня, пылающего во мне, неземного вдохновения, сжигающего мою душу. Ведь сам-то я хорошо это чувствую.

Иногда во время проповеди мне вдруг кажется, будто я совсем один, хотя вокруг толпятся люди, много людей, слушающих меня. Я — как пламя, которое вздымается все выше и выше к небу, становясь все чище и ярче. Но никто не греется возле него.

О сомнение, которое хочет сломить меня! Это ты, только ты и повинно в том, что мы так несчастны и унижены.

Сегодня я был в гостях у птиц и цветов. Они были рады, что я пришел. Жаворонки пели, фиалки и одуванчики выглядывали из травы. Я проповедовал им в полной тишине. Все слушало. Жаворонки повисли над моей головой, чтобы послушать. Какой душевный покой чувствовался в природе, здесь все так хорошо понимают меня.

Если бы люди были цветами и деревьями, они бы тоже поняли меня. Да, они были бы тогда куда счастливее!

Но они привязаны к земле, хотя и не принадлежат ей. Они как растения, вырванные с корнем, и солнце палит их, и земля ждет, когда они сами станут землею. Ничто не может сделать их счастливыми, ничто не может их спасти, кроме слова божьего, которое я им несу. И тогда все станет на свои места, и земля станет пахнуть лилиями, и люди обретут покой.

Когда я вечером возвращался домой, возле пивных было много народу, и все звали своего Спасителя и хотели, чтобы я проповедовал. Но я отвечал, что говорил с моим богом и теперь должен идти домой, чтобы обдумать то, что он мне сказал. Может быть, я поступил неправильно, но я чувствовал себя чужим среди них и с печалью в сердце пошел домой.

О сердце, как мне тяжело жить! Как тяжко бремя, которое я несу!

Сегодня, когда я, погруженный в свои мысли, шел по улице,

я попал вдруг в толпу детей, выходявших из школы. Они окружили меня. — «Смотрите, Спаситель идет, — кричали они, — Спаситель идет!» Их было много, и мне пришлось остановиться. И тогда один из них раскинул руки и закричал: — «Распятый! Распятый! — Я думаю, кто-нибудь научил их этому, потому что остальные тоже раскинули руки, и вокруг меня зазвенели детские голоса: — Распятый! Распятый!»

Мне показалось, что меня ударили ножом. Я почувствовал, как остановилось сердце, холодный пот выступил на лбу. Под их крики и шум я кое-как выбрался из толпы. Я вошел во двор столяра Лундгрена, сел и заплакал.

Я люблю детей. Никто их так не любит, как я. Когда я смотрю в их чистые глаза, я чувствую радость, которую не может дать ничто другое на свете. Я хотел бы, чтобы они ко мне приходили. Я сжал бы их на колени, гладил бы по голове, и они прижимались бы щекой к моей щеке...

Я часто видел, что так делает маленький сын булочника Юхансона, когда сидит по вечерам на пороге со своим отцом; он гладит отца по щеке и обнимает за шею, и так они сидят долго-долго, не тревожась ни о чем на свете. Как часто мне хотелось, чтобы детская рука вот так же ласкала и меня...

Но тот, кто послан на землю, чтобы спасти людей, бредет в одиночестве, он как чужой среди них. У него нет очага, нет земных радостей, нет и печалей. Он — изгой, ибо в нем горит огонь, который испепелит их. Кто он, непохожий на остальных?

Распятый! Распятый!

Только верить и верить! Верить за них всех! Каждый вечер я прихожу такой усталый, будто прожил тысячи чужих жизней. Я свертываюсь клубочком, как зверь, и засыпаю. Лишь звезда горит надо мной, смертельно усталым, горит, чтобы я снова проснулся и верил еще сильнее.

Почему такое предназначение выпало именно мне? Часто, когда я сижу у окна и смотрю сверху на город, мне кажется странным, что именно я призван спасти их. Ведь я такой ничтожный, многие в мире обладают большей силой и большей властью, чем я. Призвание давит меня, как ноша, для которой я слишком слаб, и я падаю на колени. В такие мгновения мою душу наполняют отчаяние и страх...

Но разве властителю дозволено упасть? Разве дозволено ему чувствовать страх?

О, почему я, самый слабый из всех, должен верить за них!

Сегодня, когда я шел по площади, я встретил судью. Он кивнул мне.

— Здравствуй, Юхан, — сказал он.

Я даже остановился.

Он не назвал меня Спасителем!

Здравствуй, Юхан, сказал он только... Только Юхан, больше ничего.

С той поры, когда я был еще ребенком, меня никто так не называл. Теперь я вспомнил, что так звала меня мать. Она сажала меня на колени и гладила по голове... Теперь я вспомнил, я только подумал немножко и вспомнил...

Здравствуй, Юхан...

Она была такая добрая. По вечерам она приходила домой, зажигала лампу и готовила ужин, а потом я забирался к ней на колени. Волосы у нее были совсем золотые, а руки красивые и белые-белые, потому что целыми днями она мыла полы... Теперь я это вспомнил. Я обнимал ее за шею... Я помню...

Здравствуй, Юхан...

Как хорошо мне стало, когда судья сказал это. Тепло и хорошо. И в душе сразу как будто все успокоилось — ни тревоги, ни тоски.

Только Юхан, больше ничего.

О, если бы я мог быть таким, как все! Если бы мог снять с себя бремя своего предназначения, стать одним из них, таким, как они. Жить спокойно и безмятежно своими земными заботами, как все, день за днем, и вечерами приходиться усталым от будничных дел, которые сделал как нужно, усталым от них, а не от веры, одной только веры...

Может быть, я сумел бы помогать столяру Лундгрону. Или, если бы это оказалось трудным, подметать двор.

И я бы стал таким, как они. И огонь не жег бы меня больше. И не терзало отчаяние.

Только Юхан, больше ничего... Они бы все знали, кто я, видели бы каждый день, что я занят своим делом. А, Юхан, это который подметает двор у столяра!

О, зачем я избран спасти их, я, самый жалкий и слабый из всех. Я, который хотел бы только тишины и покоя, благодарный за то, что мне позволено жить на земле. Как прищелец, опустившийся на колени перед богатым столом, как едва заметный росток.

О господи, отец мой, если можно — пусть минет меня чаша сия!

Нет, нет. Мне нельзя сомневаться. Нельзя покинуть их.

Что же смущает мою душу? И толкает меня низвергнуть их в пропасть, во тьму, покинуть их?

Это ужасно? Неужели я не верю больше? Нет, нет! Я верю, верю, как никогда раньше! Я спасу их. Я, только я, должен спасти их!

Я иду и иду в ночи, иду не останавливаясь. По улицам, потом по дороге, далеко в лес и обратно... Дует ветер, несутся облака... Где я... Голова горит... Я так устал...

Нет, я верю. Я верю. Я спасу их, я буду принесен в жертву ради них. Скоро, скоро...

Но почему тогда я чувствую такую тоску? Разве можно Спасителя так тосковать и отчаиваться?

Нет, нет...

Я, кажется, снова в лесу. Слышится шум деревьев... Зачем брожу я здесь? Почему я не там, не с людьми, которые ждут и ждут...

Но ведь они меня не понимают.

А как им понять меня, который весь — отчаянье и тоска? Как им поверить мне, который бродит во тьме, не зная покоя?

Нет, не могу я спасти их. Не могу.

Да, их Спаситель в тоске и страхе. Он как птица, что кричит высоко в небе над их головами. Они слышат ее крик там, в поднебесье, но не знают, что она кричит им, потому что птица так высоко. И пока она, истекая кровью, замертво не упадет на землю, они не поймут. Только после этого они поймут его, потом они смогут верить.

Распятый, Распятый!

Да, меня принесут в жертву.

Они освободятся ценой моей крови, моей бедной крови.

Скоро, скоро случится это...

Спите спокойно в ночной тиши все цветы, все луга, все деревья, все люди на свете! Обрети покой, милая сердцу земля. Я освобожу тебя. Я ночью не сплю над тобой. Вся твоя тоска — моя. Ты не будешь страдать, не будешь. Ведь я отдам за тебя жизнь.

Как тихо в лесу... Я иду по опавшей листве. Моих шагов не слышно. Много цветов и листьев гниет осенью и под деревьями так мягко идти. Пахнет гнилью.

Колокол бьет в городе... Раз... Два...

О, я так устал, так устал... Мне нужно домой.

Я пойду и прилягу, я не могу больше. Они ведь ждут, удивляются, куда это я пропал.

Вот я, кажется, на дороге. Какая вязкая глина... Наверное, дождь вчера шел... А какой ветер!

Нет, колокола бьют и бьют. Воздух дрожит. Кажется, произошло что-то ужасное... Много колоколов, они звенят, они стонут, как в день Страшного суда. Что это? Нужно бежать.

Это пожар! Пожар! Бушует пламя, небо стало кроваво-красным. Это горит город! Это горит мир, все гибнет!

О боже, я должен спасти их. Я должен. Они ждут меня — он не идет, почему он не идет?

Но я бегу, я бегу! Я спасу вас! Это только глина мешает, но я ведь бегу!

Горит земля, горит небо, целое море огня! Я должен спасти их, я должен спасти их!

Сердце, не бейся так сильно, не надо, сердце, родное мое, не надо! Ведь я не смогу бежать, а я должен спасти их! Ты же знаешь, я должен спасти их!

Сплошное море огня. И грохочет шторм. Пылающее небо обрушивается на землю и поджигает ее.

Я встречаю людей — все бегут туда же.

— Мир гибнет! — кричу я им.

— Э, — отвечают они, — это всего-навсего богадельня.

Да, это всего-навсего богадельня. Все эти несчастные, алчущие и жаждущие, потому что они не в силах верить, — они в огне.

Они гибнут! Только я могу их спасти.

Сердце, не бейся так, не делай мне больно, я скоро добегу, уже скоро, скоро...

Бьются языки пламени, дым застилает улицу, я чувствую жар...

И вот я у цели. Начальник здесь, и много народа собралось.

— Я спасу их! — кричу я.

— Там некого спасать! — кричат они, пытаюсь меня задержать.

Они не понимают.

Дым душит меня. Нет, я не упаду, нет, их Спаситель не может упасть. Я проберусь — вот прихожая... Коридор... Комната. Здесь пусто. Их нет. Они наверху.

Дым на лестнице душит меня, огонь слепит.

Нет, я не упаду. Я спасу их... Всех... Всех...

Где они?

Я ошупью двигаюсь вперед, как во сне. Плотная стена дыма. Языки пламени. Очень трудно устоять на ногах.

Где они?

Старый Энук, который сам уже не ходит... И Антон — он хромой, и старуха Кристина — она ничего не понимает, совсем как ребенок, и Самульсон, и Манфред... Я не вижу их — их нет.

Я ползу по полу — пламя ползет за мной... Кругом шумит, ревет...

Где они?

Тут нет ни столов, ни кроватей — ничего, пусто и холодно, будто никто не живет здесь, и не жил. Где они? Здесь их нет. Здесь только я, только я.

Кругом горит, горит! Рушатся балки, бушует пламя. Я мечусь в огне. Где они? Где они? Все несчастные люди... Я не нашел их, их нет — только огонь, только пламя, только я, только я...

О мое сердце, это ты горишь? Может быть, это только ты? Я чувствую, как ты сжигаешь мое тело, мою грудь, скоро не останется ничего, кроме тебя!

Сердце, поглотит все! Я хочу быть только тобою, только тобою,

сердце, алчущее и жаждущее, только тобою, огонь, сжигающий меня!

Ничем другим, ничем другим, только тобою.

Нет, я не могу больше, не могу, это — конец... Да, я падаю. Падаю... Это конец.

О господи, прости, что я не нашел людей, которых должен был спасти! Я не нашел их... Прости, сердце, которое горит... горит, пылая жаждою принести себя в жертву... умереть... умереть...

Я знаю, ты простишь меня. Ты простишь, сердце, которое сгорело ради тебя... Во имя тебя. Это ты любишь... Да, это ты любишь. Ты позволишь ему сгореть... Сгореть... Позволишь обрести покой... Покой...

Распятый! Распятый!

(Из сборника «Злые сказки»)



Венчание Юнаса и Фриды назначено на четыре часа, и гости уже прибывают в домик на краю станционного поселка, где готовится торжество. Подкатили повозки с хутора, у Фриды остались там кое-какие дальние родственники, у Юнаса-то нет родни. И из поселка немало народу пришло, всего, пожалуй, человек пятнадцать наберется.

Погода прекрасная, и мужчины остаются на дворе, прогуливаются по садику, здороваются друг с другом, стоят, разговаривают. Обходят вокруг дома, будто осмотр производят. На восточном фронтоне над неприметной дверью потускневшая вывеска: «Фрида Юханссон. Рукоделие». — Ну да. Стало быть, сегодня Фриду выдаем. Ну что ж. — Больше они об этом ничего не говорят, но про себя, уж верно, что-нибудь думают.

Правду сказать, чудная история с этой свадьбой, да ведь выпить-закусить дадут, как заведено, отчего ж и не прийти, раз пригласили. Ну, пора, видно, в дом заходить.

Жених стоит на крыльце. Он приземистый, невзрачный, со светлыми висячими усами и не сходящей с лица счастливой улыбкой, улыбается он не переставая. Глаза ясные и добрые, какие-то будто благодарные, и он то и дело моргает, словно желая хоть ненадолго от всех спрятаться. Голову он почти все время держит чуть набок, как бы прислушиваясь. Человек по виду приятный, тут ничего не скажешь. Юнас Шлагбаум, зовут его здесь, хотя настоящее его имя Юнас Самуэльссон, а повелось это еще с той поры, когда он в молодые годы часами простаивал у переезда через железную дорогу, поджидая, не высадится ли кто у них на станции, кому надо помочь с багажом, и так продолжалось довольно долго, пока он не взялся за приличную работу. Но теперь он давно уж состоит носильщиком при гостинице, так что ему по чину положено стоять у этого самого шлагбаума. Такое его ремесло. Хотя сегодня он ведь женится на Фриде, так что мудрено теперь сказать, кто он есть или кем собирается быть, в лавке ли подсоблять станет, когда нужна случится, или, может, вообще ничего больше делать не будет. Кто ее знает, Фриду, какие у нее планы, и опять-таки, сколько у нее деньжонок прикоплено. Никому о том неизвестно, ни одной душе. Может, и немало. А в лавку его вполне можно поставить, это для него подходящее дело. Он ведь не сказать чтобы очень расторопный.

Родственникам не особенно по нраву, что Фрида ни с того ни с сего выходит замуж, да и чему ж тут удивляться. Их не то беспокоит, как теперь сложится ее жизнь, это уж не их забота. Но что за надобность замуж выходить в ее-то годы. Ни к чему это, по их разумению. И сколько-то нибудь она, верно, сумела подкоптить. Им об этом, правда, ничего не известно. Они в это мешаться не хотят. Еще ладно бы другого кого взяла, коли уж прищичило, а то этого Юнаса. Хотя выбор-то, поди, невелик. Ну, может, и так, а все же Фрида им родней приходится, из приличной семьи. Вот и чудно, что она на такого польстилась. Да пусть, конечно, дело ее. Она же сама захотела, стало быть, все хорошо. Так-то он добрый, душевный человек, и смиренный. Это всякий подтвердит. Тут уж ничего не скажешь.

Юнас, стоя на крыльце, встречает гостей, заботливо поглядывает по сторонам, будто справляясь, не надо ли чего поднести. И если у кого оказывается взятая в дорогу куртка или другая вещь, все равно какая, он совершенно счастлив, что может принять ее и отнести в дом. Уж это-то он умеет, а в такой день человеку ведь хочется показать, на что он способен. Хуже становится, когда перестают появляться новые гости — никто с ним не разговаривает, и он просто стоит и, однако, все так же улыбается, свесив руки по сторонам, в своем новом черном костюме, заказанном для него Фридой по случаю этого дня. Заняться ему особенно нечем, но вид у него, уж во всяком случае, довольный, как всегда. А немного погодя он опять при деле оказывается, теперь

им подают кофе, надо каждому подставить стул и улыбкой просить присаживаться, говорить он ничего не говорит, потому что не любит без нужды разговаривать. Подумал было предложить им, чтобы угощались без стеснения, да решил, что не станет, это же все-таки Фридино. А они и так угощаются, выпили по второй чашке, разговорились и совсем освоились. Юнас совершенно счастлив, приступившись у печного выступа, он тоже, как и они, пьет кофе, с искренним доброжелательством слушает все, что они говорят, выбегает на кухню за новым кофейником, обносит сахаром женскую половину, расположившуюся за столом у окна, старается быть полезным, где может. Конечно, не принято, чтобы жених вот так всем услуживал, но он, видно, этого не знает. Они ему усмеваются на свой манер, а он в ответ по-своему улыбается, добро и душевно. Им, может, кажется, что у него дурашливый вид с этой его улыбкой. Да вряд ли можно так сказать, она у него умная и славная. Только вот что он улыбается, не переставая? Что ж, видно, есть на то причины. Радует, что все у них идет хорошо. И ведь правда. Все честь честью, не придерешься.

Наверху, в чердачной комнате, Фрида обряжается невестой. Агнеса Карлссон, ее лучшая подруга, как это принято называть, закручивает ей шипсами жиденькие волосы, так что запах палевого разносится по двору. Впервые в жизни ей делают завивку, сегодня без этого нельзя. Она с трудом узнает себя, глядясь в принесенное с комода зеркало. Старушка Фрида, не очень-то она на себя похожа. Да и не может быть похожа в такой торжественный день.

Да, подумать только, что это уже сегодня! Сегодня она и Юнас предстанут пред алтарем и обвенчаются, навсегда, навеки соединятся пред господом своим. Подумать, что этот день действительно настал, что это будет скоро, уже вот-вот. — Только бы они там цветы куда надо поставили, как она велела, возле скамеечек. А, Агнеса? Думаешь, сделают? — Уж не беспокойся, управятся как-нибудь. — И потом торт, точно ли его принесли, ну, который с их вензелем? — Принесли, куда он денется, я же видела, Клас пришел с большой коробкой, ясно, это торт. — А все-таки, может, на всякий случай спустишься, узнаешь? — Да что ты, некогда же, господи, надо сперва с этим покончить. — Да, да, верно, это тоже важно. Все важно в такой особенный день. Обо всем надо позаботиться.

Только бы теперь все прошло хорошо, только бы получилось такое торжество, какого она ждала, о каком мечтала все это время. Такое, какого требуют значительность и серьезность момента.

Есть ли в нашей земной жизни что-либо более значительное, чем когда два человека соединяются в одно, когда двое встречаются пред господом, чтобы скрепить свой союз у престола всевышнего. Ах, многие, вероятно, не задумываются над тем, что это за торжество, относятся к нему, как к веселому празднику, где

можно потанцевать и посмеяться. И это, конечно, тоже правильно, она сама так рада, что все у нее внутри прыгает. Нет невесты, которая бы радовалась больше нее, и нет такой, у которой больше причин быть счастливой, чем у нее. Право, нет.

И однако же, несмотря ни на что... Несмотря на всю свою радость... Все же сильнее всего ощущает она значительность и серьезность, которыми отмечен этот их день. Ведь она и Юнас стоят на пороге самого важного, что только могло с ними произойти. Их жизни сольются вместе, они станут как одно целое. Их души соединятся навек. Они не будут больше одиноки, ни Юнас, ни она. До чего же удивительно. Никогда больше не будут одиноки. Ей ли не знать, что это такое, она еще ребенком осталась одна после смерти родителей. Она была одинока всю жизнь, чувствовала это каждый день. Да, несладко человеку быть одному.

Так что ж за диво, если ей хочется, чтобы все в этот чудесный миг было исполнено особенной красоты и достоинства.

— Поглядишь-ка теперь в зеркало, как тебе понравится, — говорит Агнеса.

И Фрида наклоняется вперед и всматривается в свое отражение, проводит рукою по лбу и дотрагивается до непривычных завитков.

Лицо у нее маленькое и узкое, она похожа на девочку, страдающую малокровием. Но черты уже стершиеся, и щеки ввалились. Годы оставили на ней свой след, много появилось морщинок. Но они какие-то тоненькие и нежные. Будто прочерчены с особой осторожностью. Даже шрам на шее кажется тонким и нежным, как и все у нее. Лишь глаза — большие и бесконечно крутые и доверчивые. И так странно широко раскрыты. А рот у нее — как узкая черточка, можно подумать, она весьма решительная и предприимчивая женщина. В самом же деле это оттого, что губы у нее тонкие и бледные, как и все остальное. Стоит ей улыбнуться — и рот преобразается, просто поразительно. Все лицо разом начинает светиться. И у нее ведь самые красивые вставные зубы во всей округе, так многие считают, хоть и не придают этому значения. Они так хорошо подогнаны.

Она, конечно, не красавица. Никогда не была красивой, а теперь и подавно нельзя этого требовать. Но есть в ее облике что-то необыкновенно чистое, такое, как бывает у белошвеек или гладильщиц. Она и шила белье много лет, прежде чем открыть собственную торговлю. Да и в лавке ей приходится иметь дело лишь с тонкими и чистыми вещами, как раз подходящее для нее занятие, оттого она, верно, за него и взялась. Руки у нее совершенно белые, ей ведь никогда не приходилось делать грубую работу. Но поработала она ими немало, это всякому заметно.

— Может, нам и венец заодно примерить, — говорит Агнеса, — посмотреть, как он пойдет к прическе. Ты ведь говоришь, наденешь его.

— Конечно, Агнесочка, давай примерим.

И Агнеса прикалывает его шпильками ей на макушку, небольшой миртовый венец, так изящно сплетенный Фридой из веточек мирта, доставшегося ей в наследство еще от матери, которая в свое время тоже пользовалась им, когда была невестой. Трижды деревце чуть не погибло, но Фрида отсаживала отростки, так что это был все-таки тот же самый мирт. Внутри венца она прикрепила белый тюль, и получилась чудесная фата.

Фрида поднимается, чтобы получше рассмотреть себя в зеркале. Нижнюю сорочку и платье она еще не надела, чтобы ничего не измять, но на ней белоснежные панталоны, украшенные тончайшими кружевами, какие были у нее в рукодельной лавочке, а фата, легкая и воздушная, ниспадает вдоль спины до самых подколенок. Она прелестна в эту минуту, углубленная в созерцание самой себя, задумчивая и счастливая. С мечтательным видом глядит она на свое отражение, в первый раз видит себя невестой.

— Ой, да ты же в одних панталонах! — восклицает Агнеса и раздражается смехом. И в самом деле. Фрида тоже вспоминает об этом, и на лице ее появляется кроткая улыбка. Потом она отводит рукой фату и тихонько садится.

Агнесе кажется, что венец слишком плоско сидит на голове. — Правда? А я и не подумала об этом. Может, действительно не совсем как нужно. — Подзавить тебя, что ли, еще, чтобы он повыше сидел? Только это, знаешь ли, не просто, из твоих волос высокую прическу сделать. — Да, они такие жидкие. — То-то и оно. Ну да ладно, попробую. — И Агнеса так добра, что начинает все сначала, подтягивает волосы с боков к макушке, хотя они с трудом дотуда достают, и пучок тоже хочет поднять вверх, потому что неважно ведь, где он будет, все равно фата опустится и закроет его. Агнеса славная, она так старается.

А Фрида сидит и по временам погружается в задумчивость. И не удивительно...

Она думает о том, как они с Юнасом встретились, как сплелись их судьбы, как они ступили на путь, приведший их к этому великому и чудесному мигу. Они давно питают друг к другу нежные чувства, очень давно, много, много лет. Это было тайное влечение сердец, молчаливое, неосознанное. В настоящую любовь оно вылилось позднее. Но все же оно как бы сближало их. Она вспоминает, как он однажды взял у нее сумку, когда она приехала поездом из города. Они шли по улице. — Должно быть, из города, с покупками, — сказал он ей. — Из города, — ответила она. Но так получилось, что, отвечая, она заглянула ему в глаза. Четыре года прошло, а она так живо это помнит, будто это случилось вчера. С тех пор у них и началось всерьез.

Да, до чего же все удивительно с человеческими судьбами. Что нами управляет? Что связало ее и Юнаса этим святым чувством так прочно, что они теперь никогда не расстанутся?

Но прежде чем что-то между ними приоткрылось, прошло еще немало времени. Так уж ведется. Ох, эти проказы любви, эта сладостная игра двух любящих в прятки. Оба чувствуют одинаково, но никто не хочет первым выдать себя. Души тянутся друг к другу, томятся и тоскуют друг о друге, зовут друг друга, словно поющие птицы, словно животные ночью в хлеву.

И тут же, несмотря ни на что, постоянные тревожные сомнения. Любит ли он меня? Вдруг не любит? А я сама люблю ли его по-настоящему? Всем сердцем, глубоко и искренне, так, как надобно? Как должно любить. И действительно ли нашим двум душам в их земном странствии богом назначено было встретиться? Вступить в светлую обитель любви. Правда ли нам это от бога заповедано? Да, да, это так, я верю, это так!

Да, она верит. Она знает. Она сидит и смотрит прямо перед собой в безмолвном восторге, в какой-то счастливой отрешенности.

Невозможно и представить себе, чтобы встреча двух людей на земле была красивее и возвышеннее, чем их встреча с Юнасом. От этой мысли глаза ее увлажняются, ее взгляд уносится куда-то вдаль, в иные, далекие края.

Верно ли она думает? Да. Все так и есть. Их чувство друг к другу — это любовь. Она выбрала его потому, что он ей мил. Она любит лишь ради самой любви. А Юнас? Он согласился, увидев в том, что она его пожелала, проявление бесконечной доброты. Он об этом и не помышлял. Но как только это стало дозволено, он полюбил ее несказанно. До той поры он никогда никого не любил, ведь никто его не спрашивал, а самому ему такое не могло прийти в голову. Но когда это стало дозволено — да, именно так, — он сделался самым восторженным из всех любовников. Он преклоняется перед ней, как перед высшим существом, непостижимо добрым и прекрасным. Он видит в ней непревзойденное совершенство. Она для него само провидение.

Что у нее есть деньги, это его не занимает, он слишком мало мыслит в подобных вещах. Ему ведь немало нужно. Но оно, понятно, хорошо, раз все о том говорят. Сам он, когда думает об этом, испытывает нечто вроде благоговения. От этого все кажется, если возможно, еще более необыкновенным.

Только бы не получилось, что ему никогда больше нельзя будет пойти постоять у переезда, об этом он все-таки, будет скучать. Уж очень привык, а ежели к чему привыкаешь, всегда жалко бывает расставаться. Для него ведь это вроде ремесла. Но коли Фрида посчитает, что такая работа теперь не по нем, то он, ясное дело, покорится. Ничего, все будет хорошо. Он не хотел об этом прямо спрашивать. Успеется еще. Он ее любит, и это главное, любит ее несказанно и ради нее готов на все. Он любит Фриду за то, что она такая, как есть. И еще за то, что она к нему так добра и одна из всех его приветила.

Вот как все обстоит. Любовь и только любовь владеет ими обоими.

Да, Юнас... Она сидит и думает о нем, какой он человек. Нет, как он тогда в лесу, прошлой весной, притянул ее к себе и сказал, что она — самый прекрасный в мире цветок. О, он умеет так замечательно сказать, что другим таких слов и не выдумать. Он умница, у него светлая голова, и никто не знает этого лучше нее.

Агнеса кончила укладывать волосы. — Ну все, Фрида, краше ты уж не будешь, — говорит она. — Дорогая ты моя, но так, по-моему, очень хорошо. — Спасибо тебе! — Они еще раз придирчиво оглядывают ее и находят, что теперь гораздо лучше, наряднее и быть не может.

— Я думаю, нам надо поторапливаться, давай-ка платью надевать. — Да, пора уж, наверно. Ах, Агнесочка, ты не представляешь себе, какое у меня удивительное чувство. — Да что ты. — Подумай — обряжаться невестой... Прямо как во сне. Даже не верится, что это наяву.

— Знаешь, если бы ты хотела послушать моего совета, надела бы ты лучше свое черное платье, оно тебе так к лицу. — Ну что ты говоришь, Агнеса, дорогая. Как же можно!.. — Фрида взирает на нее в величайшем изумлении, готовая огорчиться из-за ее столь бездумно сказанных слов. — Невеста же должна быть в белом, ведь это радостный праздник. — Да знаю я, но только... ну, такое мое мнение. А там делай, как тебе угодно.

Они делают, как ей угодно. Да и странно, если бы было иначе, ведь она его и справила только для этого дня, сидела, шила много ночей подряд. И о чем она только не перемечтала, пока над ним трудилась. Агнеса помогает ей надеть его. Оно такое красивое и наглаженное, надо ничего не измять. И чтоб кружева нигде не подогнулись. Вот только сорочка сзади из-под низу выглядывает. Что же делать, придется ее прикрепить.

Агнеса прислушивается. — Никак пастор пришел. — Что ты, не может быть, — тихо говорит Фрида, чувствуя, как кровь отливает от лица. — Да ты послушай, как там все примолкли-то. — Тогда нам надо поскорее кончать, — еле слышно говорит Фрида.

Юнас осторожно стучит в полуоткрытую дверь. — Пастор пришел, — благоговейно шепчет он. — Юнас, миленький, это ты? Нет, не смотри на меня, еще нельзя. Но мы сейчас, сейчас, вот только прикрепим в одном месте, и все. Пастор уже здесь, говоришь. Значит, подошел наш час... Странно, и чего это она высовывается? Агнесочка, ты уж поторопись, ладно? — Да ты стой так, чтоб мне подобраться можно! — Да, да, конечно... Юнас, что пастор-то сказал? — Пастор что сказал? Он ничего не сказал. — А ты-то с ним поздоровался? — Нет, я сразу ушел, как его завидел. — Ушел? — Да, сразу к вам наверх пошел. — А, ну да, ну да, чтобы нам сказать, это ты хорошо сделал. Сейчас вот еще венец надем — и я готова. Юнас, миленький мой, все ли там как следует,

внизу-то? — Да вроде все, Фридошка, очень даже красиво, — Горшки-то с цветами там ли стоят, где надо? — Как будто там, да. — А кружевные салфетки на скамеечках, Хульда про них не забыла? — Не забыла, нет, лежат. — Да, а торт-то? Торт, Юнас! Точно ли его принесли? — Этого не скажу, а только я видел, как Клас принес большущую коробку, так я думаю, не с тортом ли она. — Да, наверно, с тортом. Хоть бы все прошло благополучно. Чтобы все у нас было как надо. В такой большой и торжественный день в нашей жизни. Они кофе-то пили, Юнас? — Как же, пили, пили. — Ты приглашал ли их угощаться? — А без надобности было, Фридошка.

— Ну все, теперь ты, можно считать, готова, — говорит Агнеса и в последний раз окидывает ее критическим взглядом. — Готова!

— Ну спасибо тебе, Агнеса, хорошая моя. Теперь входи, Юнас, иди же, иди, теперь тебе незачем за дверью стоять.

И Юнас входит. Он останавливается, пораженный восхитительным видением, сияющим ему оттуда, из середины комнаты, ослепительно белым и прекрасным. Это Фрида, его любимая Фрида, и у него даже голова начинает кружиться от счастья. Он смотрит на нее блестящим взором и не может насмотреться, не может поверить, что это правда.

— Ну что, мой друг, нравлюсь ли я тебе? — Да, — отвечает он охрипшим голосом, и слезы застилают бедняге глаза. Он ничего больше не может выговорить, только все сжимает ей руку, словно в избытке благодарности, снова и снова. — Тогда все хорошо, — шепчет Фрида и всхлипывает. — Тогда пойдем с тобою вниз. — И она вытирает глаза, прикладывает к ним носовой платок, чтобы не показать охватившего ее волнения.

— А букет-то венчальный! — восклицает Агнеса и идет за ним к вазе, обжимает стебли полотенцем — это яркие гвоздики с зеленью.

— О, спасибо тебе, Агнесочка. И как это я забыла!.. Ах, в такую минуту все можно забыть.

И они идут вниз. Рядом, тесно прижавшись друг к другу. Венеч съезжает немного набок, пока они спускаются по лестнице, но в остальном все хорошо. С блестящими глазами они вступают в свадебную залу, небольшую комнатку, где солнце светит сквозь гардины. Они шествуют среди гостей, мимо женщин, уставившихся на них во все глаза, мимо откашливающихся мужчин. Впереди они видят пастора, преисполненного строгости и достоинства. Они останавливаются перед ним, доверчивые, как дети, в благоговейном ожидании. Он бросает на них пристальный взгляд поверх пенсне, раскрывает книгу и начинает читать.

— Во имя отца, и сына, и святого духа.

Их взоры прикованы к его губам. И не может быть слушатель внимательнее, так боятся они упустить хоть одно слово, так захвачены они серьезностью минуты. Юнас улыбается, как всегда,

но это лишь от несказанного благоговения. Он держит голову слегка набок, чтобы получше все расслышать, и с искренним упованием, сложив руки у груди, внимает обращенным к нему словам. Фрида тоже крепко стиснула ладони с зажатым между ними букетом, и взгляд ее полон веры и смиренной благодарности.

Когда затем им надлежит опуститься на колени, нет для них ничего отраднее. Солнце светит на них, на Фриду в белом платье с ниспадающей на него фатой, будто сотканной из света, и на Юнаса в его новой, ненадеванной одежде. Они стоят на коленях прямо перед окном, и от этого глаза их сияют каким-то сверхъестественным блеском. А вокруг них множество горшков с цветами. Миг, исполненный света и красоты.

Другие, конечно, не могут испытывать тех же чувств. Они ведь присутствуют просто как приглашенные. Но все же пастор возвещает слово божие, что и говорить, торжественный обряд. Женщины чуточку прослезились, как и положено на свадьбе. И теперь все влущиваются, как те двое дрожащими голосами отвечают на установленные вопросы. Что ж, довольно-таки интересно попристутствовать, когда так близко знаешь и того, и другого. Юнаса-то они ведь тоже, как-никак, знают.

Пастор не произносит в их честь никакой особой речи, да и к чему это. Но он им читает Отче наш и Благословение, и никогда еще эти две молитвы не звучали так красиво, они словно совершенно новые, с новыми, необычными словами, будто нарочно для них написанными. Затем он закрывает книгу — и волнующая церемония окончена. Фрида и Юнас обвенчаны друг с другом навсегда.

Гостей обносят вином. И все подходят и пьют с ними двоими, сначала пастор, который желает им счастья, а потом и все остальные согласно старшинству и положению или же родству. Солнце светится в рюмках, их звон и сверканье наполняют праздничным весельем всю комнату. В центре, окруженная со всех сторон гостями, стоит сияющая от счастья невеста. А рядом с ней Юнас, улыбающийся каждой морщинкой своего доброго лица. Они и за него тоже пьют, а он держит свою рюмку кончиками пальцев, будто протягивает им редкостный цветок. Повсюду множество приветливых глаз, и в знак благодарности он кланяется и кланяется непрерывно. На него льется такой поток теплоты и сердечности, о каком он никогда и мечтать не мог. Потом понемногу все утихает, гости рассаживаются за столом и на диване и принимаются болтать друг с другом, а его оставляют в покое, совсем в покое, одного посреди комнаты.

Фридой же завладевают женщины, чтобы похлопать ее ласково по руке да сказать от себя несколько сердечных слов сверх обычных поздравлений. — Ну, Фридочка, вот и исполнилось твое желание. Теперь-то уж ты счастлива. Так ведь? — О да, дорогая

фру Лундгрэн, очень! Так счастлива, как только может быть счастлив человек! — Ну еще бы, Фридочка, конечно.

Родственникам тоже нужно подойти, перекинуться с ней словечком. — Вот ты и вышла замуж, Фридочка. — Да, Эммочка. — Ну что ж, видно, никому того не миновать. — Да, и кто бы мог подумать? Но разве заранее знаешь, что тебе на роду написано. — Ну что вы, — встречается фрекен Свенссон из табачной лавки, — конечно же, Фрида должна была выйти замуж. Я сколько раз говорила, довольно странно, что Фрида Юханссон замуж не выходит. Уж она-то может. — Вишь ты, и я так думала. Старик-то мой, как зайдет у нас, бывало, про родных разговор, знай, свое твердит: мол, Фрида, она замуж не выйдет. А я думаю, погоди, это еще надо посмотреть, тут наперед не угадаешь. Ну, поздравляю, Фридочка, это очень даже интересно, что ты замуж вышла. — Спасибо, спасибо, дорогая Матильда.

Такой идет разговор. И Фрида улыбается, она счастлива. У нее же есть Юнас. Они кивают друг другу, таинственно, с затуманенным взором, все еще под впечатлением священных слов, звучащих у них в душе. Сейчас они стоят порознь, но это ничего не значит, это ведь ненадолго. И все у них идет хорошо — она видит, он тоже так думает. Ах, и в самом деле, все такие милые. Многие проделали долгий путь для того лишь, чтобы побыть с ними в этот большой для них день. Не удивительно ли, что столько народу собралось ради них. Все о чем-то рассуждают, и не уследишь за их речами, не знаешь, кого и слушать. А когда они по очереди подходили и пили за их здоровье, господи, до чего это было торжественно.

Из кухни доносится запах съестного, и женщины начинают гадать, какое будет угощение, верней всего, жаркое, как уж заведено. Да, Фрида — она такая, ей чтоб было все не хуже, чем у людей, недостатки-то, видно, немалые. Сколько у нее доходу с этой лавчонки, поди узнай. А Хульда, стало быть, подавать будет, ну-ну. Передничек-то на ней кружевной, скажи пожалуйста.

Пастор выступает вперед и объявляет, что ему пора домой. Стоит ли задерживаться дольше на такой свадьбе. Дома столько работы, служебные, как говорится, дела. Да, не знает он, что Фрида за человек, чего от нее можно ждать. И откуда ему знать-то.

Фрида надеялась, что он останется. Непременно останется, вот увидите, думала она. С ним бы так торжественно было. Но он вынужден уйти. Что ж, раз у него такая уйма дел. Это и понятно, духовный пастырь, он в ответе за все самое важное в жизни, за человеческие души. Сколько же должно у него быть работы, которая другим и не видна. Она благодарит его за то, что он сделал этот день таким торжественным для них, за все прекрасные слова, которые он им прочитал. Вместе с Юнасом она провожает его до двери, а Юнас подает ему пальто, отворяет калитку на улицу,

стоит и кланяется до тех пор, пока пастор не скрывается за деревьями.

Тем временем еда поспела, и все садятся за стол. Новобрачные — на почетном месте, посредине длинной стороны стола, а остальные располагаются вокруг них на этом пиршестве в честь молодоженов. Мужчины толкуют о стоке для нечистот, выходящем в море слишком близко от поселка, затеяли этот разговор, так надо его докончить, а то хуторяне, оказывается, не знают, какой был шум во время обсуждения. Но закуски и рюмки их уж дожидаются, пора и за еду приниматься. Угоститься есть чем, стол ломится от всякой снеди. Ну а водочка — тоже без обману, не грех и еще по одной пропустить. Мало-помалу все веселеют и оживляются, как и должно быть на свадьбе. Раз уж ей понадобилось выйти замуж, старушке Фриде, они, так и быть, позаботятся, чтоб все прошло как полагается. И наедятся и упыются вельста, благо потчуют щедро.

— Эй, Юнас, промочи-ка горло-то. Это не во вред. — Он что, не пьет? — рывкает через стол Эмиль из Эстрагорда, Фридин троюродный брат. — Да ему только впрок! А ну, хлебни, может, хоть язык развяжется. — И Юнас с улыбкой повинуется, хотя в обычное время он бы больше не притронулся. Что ж поделаешь, раз им хочется, чтобы он с ними выпил. — Вдруг взять и на свадьбе очутиться, неожиданно-негаданно, а? — Ну уж и неожиданно, бывает хуже. Иной раз, глядишь, такая спешка, что и призадумаешься, с чего бы. А тут ничего такого и в помине нет! — Чего нет, того нет, верно, брат Юлиус. Твое здоровье! Тебе бы все шуточки шутить. — Нет уж, черт их дери, хотят у меня волов выменять — пусть самую что ни на есть лучшую скотину пригоняют, да еще в придачу чего дают. Я им так и сказал. Ей-богу, сроду не видывал ярмарки захудалей нынешней. — Неужто и водки не было? — Да нет же, закрыто было. — Ну тогда, ясное дело, много не наторгуешь, — Эй, вы там, Эмиль, подкиньте-ка и нам! Ишь какие, все на свой конец загребли!

Принесли жаркое, к нему и подавно надо выпить. И Юнасу приходится со всеми пригубить, хоть он и предпочел бы воздержаться. — Да что ты, черт возьми, за мужик такой, коль до выпивки не охоч! — Раз все пьют — значит, и он должен. И Юнас пьет, хоть и старается поменьше. Он не из тех, кто умеет отказывать. И ведь они ему добра желают, хотят, чтобы и на его долю перепало. — Пей давай, силушки прибавится. Ты небось этой работенки-то, что тебя сегодня ждет, ни разу в жизни не пробовал. — Хочешь, чтоб Фрида довольна осталась, беспременно надо, чтоб разило от тебя покрепче. — Эх, брат Юнас, и заживешь же ты теперь припеваючи. Уж теперь тебе можно не надсаживаться. — Из гостиницы-то уйдешь или как? Ах, не знаешь? Она еще тебе не сказала. — Чего доброго, вышивки начнешь продавать на старости лет. Плохо ли, красота, а не работа. Опять же с цветочками будешь ковы-

ряться, она вон какую пропасть цветов-то развела, Фрида. — Так как же, в лавке он у тебя будет или куда ты его приспособишь?

Фрида может не отвечать, все говорят разом, сплошной галдеж стоит. Она сидит, устремив в пространство взгляд своих больших кротких глаз, с венцом, слегка стехавшим набок, но полная спокойного достоинства, в своем белом венчалном платье, которое, если подумать, очень ей к лицу. Время от времени она сжимает Юнасу руку под столом, и тогда лицо ее освещается счастливой улыбкой, и они с затаенной радостью взглядывают друг на друга. А потом она снова делается серьезной, чуть печальной.

Начинает смеркаться, и Хульда приносит лампу. На столе появляется сладкое. Оно удалось на славу, но Фрида не может много есть, только пробует, чтобы убедиться, что получилось хорошо. Еще бы не хорошо, столько с ним было возни. А потом очередь доходит до торта. Он и в самом деле замечательно хорош. Посредине розовым вареньем выведено Ю и Ф, но никто не замечает, они такие перевитые, буквы-то. Зато Юнас и она сразу их видят и обмениваются нежными, счастливыми взглядами, держась за руки под столом. К тарту подают вино. Да, если бы пастор остался, он бы, наверное, сказал сейчас речь в их честь. Непременно сказал бы. Он умеет при случае очень красиво говорить. Но ведь и так все идет хорошо. Торт съедают без остатка.

На этом трапеза кончается, теперь будет кофе. Оторвавшись от стола, они разбредаются по комнате, мужчины переговариваются, шумят, слегка пошатываются. Им подают сигары, разливают по чашкам кофе.

— А коньячку-то не найдется у тебя, Фрида? — интересуется Эмиль. Нет, об этом она не подумала. Не ожидала, верно, что будут столько пить в такой день. — Это ж срамота, в такой торжественный день, — изрекает Эмиль. — Где свадьба, там и коньяк должен быть, неужто не ясно! У меня в повозке есть бутылочка, по дороге в товариществе прихватил. Так и быть, уступлю. — И он с грохотом выходит из комнаты и в скором времени возвращается с коньяком. — Вот теперь гульнем!

Они принимают снова пить. Все не говорят, а орут так, будто находятся у себя в усадьбах и перекликаются через дворы, и при этом сыплют бранными словами, будто готовы при первой же возможности отправить друг друга на тот свет, хотя в самом деле стоят тесной кучей и, полные самых дружеских чувств, болтают все наперебой. Время идет, и они все больше хмелеют, приваливаются друг к другу, с размаху садятся, так что стулья трещат. Которые из станционного поселка, те попристойней держатся, не какая-нибудь деревенщина, а уж хуторяне так прямо до безобразия дошли. Дым повисает клубами, и алкогольные испарения разливаются по комнате, наполняя ее своим жарким духом.

Женщины тоже не скупают, сбившись в своем углу, болтают

про тех, кого здесь нет, да про разные происшествия в округе, давненько уж вместе-то не собирались, это время редко кто гостей созывал. Потом, слово за слово, выкладывают не таясь, что думают, покачивают головой и поджимают губы, шепчут что-то, прислушиваются, и снова говорят, кто уж их разберет о чем. Фрида сидит некоторое время с ними, потом на минутку заглядывает в кухню, потом ставит на место цветы, убранные не туда, куда нужно, потом подправляет лампу. А под конец просто стоит посреди комнаты, сцепив руки и глядя прямо перед собой, и вслушивается в окружающий шум.

— Экая дуреха, в белое платье вырядилась, — вдруг доносятся до нее сзади. Тогда она идет и садится рядом с Юнасом. И, едва сев, не может удержать слез.

Но это не настоящий плач, а совсем тихий, беззвучный, просто слезы катятся из глаз. Никто ничего и не замечает, кроме Юнаса. А он в совершенном испуге гладит ее, нежно сжимает ей руку своими ладонями и все спрашивает, спрашивает, что же такое случилось, отчего она плачет. И тогда она поднимает на него глаза и улыбается ему своей кроткой и доброй улыбкой, как всегда, когда они друг с другом разговаривают.

— Ничего, Юнас, — говорит она, — это просто от радости.

И он успокаивается, потому что видит, что это правда.

— Юнас, миленький, — говорит она, — пошли теперь к себе наверх.

Так они и делают. Они прощаются со всеми, весело и приветливо, как счастливые новобрачные, и идут к себе наверх.

Там красиво прибрано, постель приготовлена, все сделано, как Фрида определила. На кровати простыня с кружевной прошивкой, самой широкой, какая только нашлась у нее в лавке, на столе свежие цветы, белая скатерть с мережкой, на комодке тоже. Окно отворено настежь, а на дворе тихий вечер бабьего лета с яркими звездами, свет которых падает в комнату.

Какой здесь мир и покой. Охваченные блаженством, они падают друг другу в объятия. Они стоят долго, так долго, что перестают замечать время, переполненные своим счастьем. Внизу по-прежнему шумят, но удивительно, им не слышно ни звука. Просто удивительно, что можно вот так ничего не слышать, совсем-совсем ничего.

Затем они раздеваются, идут и ложатся, ласкаясь и перешептываясь. Они принимают друг к другу и ощущают нечто дивное, прежде никогда не изведенное, подобного которому нет ничего.

Никогда она не предполагала, что любовь может быть настолько огромной. Уж как она много об этом думала, и все же до сих пор не представляла себе этого по-настоящему. словно всю свою жизнь она прожила ради этого мгновения, когда они с Юнасом

слились в одно. Он обнимает ее своей рукой — сильной рукой, он ведь столько тяжестей перетаскал на своем веку. И она отдается возлюбленному, это такое несказанное наслаждение, отдать ему все, что у нее есть, это божественно. Она даже укусила его своими вставными зубами, отчего он уж совсем голову потерял. Она и сама в первый момент пришла в замешательство. Но такова любовь, у нее свой язык. Великая, божественная любовь, не подвластное разуму диво, которое все собою освящает.

Потом они лежат рядом, усталые и блаженные. Лежат, держась за руки, будто в этом еще больше нежности, чем в любовных ласках. Они словно оцепенели, потрясенные совершенной полнотой своего счастья.

Юнас забывается сном после долгого дня. Он лежит возле нее, такой красивый и милый, она ласково гладит его волосы, поправляет их. Она тоже чувствует себя немного утомленной. Но лежит в полутьме с открытыми глазами, прислушиваясь.

Как все тихо. Поразительно, до чего тихо. Там ли они или уже уехали? Она ничего не слышит. Только эта огромная, непостижимая ночь — да любимый рядом с нею спит, спокойно похрапывая. И больше ничего.

Она пододвигается к нему поближе и тоже засыпает, крепко сжимая его руку в своей. Так они вместе лежат среди тьмы, прильнув друг к другу, с горящими щеками, с полуоткрытым для поцелуя ртом. И как величальное песнопение небес, как светозарная осанна единственно сущему, звезды несчетными хороводами плывут над их ложем, все умножаясь в числе по мере сгущения тьмы.

(Из сборника «Борющийся дух»)

СОДЕРЖАНИЕ

Встреча с требовательным гостем. <i>С. Белокриницкая</i>	5
В мире гость. <i>Перевод Е. Суриц</i>	11
Палач. <i>Перевод Т. Величко</i>	59
Карлик. <i>Перевод В. Мамоновой</i>	98
Мариамна. <i>Перевод Е. Суриц</i>	213
Красный отсвет. <i>Перевод Э. Бочкаревой</i>	247
Требовательный гость. <i>Перевод Т. Величко</i>	252
А лифт спускался в преисподнюю. <i>Перевод Р. Рыбкина</i>	258
Злой ангел. <i>Перевод Э. Бочкаревой</i>	264
В подвале. <i>Перевод Е. Суриц</i>	266
Принцесса и королевство в придачу. <i>Перевод Н. Кон- дюриной</i>	273
Смерть героя. <i>Перевод Н. Кондюриной</i>	276
Юхан-Спаситель. <i>Перевод Ю. Поспелова</i>	279
Свадьба. <i>Перевод Т. Величко</i>	288

Лагерквист П.

Л14 **В мире гость.** Пер. со шведского. М., «Молодая гвардия», 1972.

На обороте тит. листа предисловие С. Белокриницкой. Художник Ю. Селиверстов.

304 с., 65 000 экз. 1 р. 23 к.

«В мире гость» — сборник самых значительных произведений крупнейшего шведского писателя. В сборник вошли повести «В мире гость», «Палач», «Карлик», «Мариамна», а также лучшие рассказы Лагерквиста, написанные в разные периоды его жизни.

7-3-4

И (Швед)

343-72

Лазерквист Пер

В МИРЕ ГОСТЬ

Редактор *Л. Беспалова*
Художественный редактор *А. Степанова*
Художник *Ю. Селиверстов*
Технический редактор *Н. Михайловская*
Корректоры *Г. Трибунская, А. Дolidзе,*
К. Пшикова

Сдано в набор 27/VI 1972 г. Подписано к печати 11/XII 1972 г. Формат 60x90^{1/16}. Бумага № 2. Печ. л. 19 (усл. 19). Уч.-изд. л. 203. Тираж 65 000 экз. Цена 1 р. 23 к. Т. П. 1972 г. № 343. Заказ 1189.
Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографий! Москва, А-30, Сущевская, 21.